АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
VIII

1

~~ЯНВАРЬ~~ — ФЕВ~~РАЛЬ~~

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1959

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

ВОПРОСЫ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

1

IV Международный съезд славистов, проходивший в Москве с 1 по 10 сентября 1958 г., был, по всеобщему признанию, крупнейшим событием в области славяноведения за последние полвека. Все предыдущие славистические съезды и международные конференции по количеству участников и докладчиков, по разработанности тематики и по объему научных изданий во многом уступали этому съезду. IV Международный съезд славистов продемонстрировал значительные достижения в области *славянской филологии*, в том числе и славянского языкознания, за послевоенный период во всех европейских странах и в первую очередь — в славянских, ставших на путь социалистического развития. Новые общественные условия и новые принципы коллективной организации научного труда сделали возможным реализацию таких крупных исследований и изданий, как лингвистические атласы отдельных славянских языков, многотомные современные и исторические словари, словарь старославянского языка, богатые материалами и обобщениями грамматические разыскания и др. В наше время, как показал съезд, стали гораздо более реальными планы и возможности выполнения той широкой научной программы по славянскому языкознанию, которая была выдвинута еще Российской Академией наук в начале текущего столетия на первом предварительном съезде славянских филологов[1] и потом значительно дополнена на I, II и III славяноведческих съездах. Программа В. Ягича, в соответствии с господствовавшей в начале XX в. общей филологической методологией, предусматривала описание в традиционном младограмматическом плане[2] истории, диалектологии и современного грамматического строя славянских языков и очерк праславянской грамматики. Эта задача была в значительной степени выполнена в первой трети XX в. рядом капитальных, богатых фактическим материалом трудов, вышедших из-под пера виднейших ученых славистов в серии «Энциклопедия славянской филологии» (ЭСФ), а также в других изданиях (см. работы А. Мейе, Г. А. Ильинского по праславянскому языку, исторические грамматики славянских языков А. А. Шахматова, Ф. Травничка, Л. Милетича, Я. Лося и др.[3]). Остались нерешенными, отчасти и по сей день, такие вопросы, как организация славянской библиографии, создание словаря церковнославянского языка и др.

I съезд славянских филологов в Праге в 1929 г. выдвинул ряд новых задач перед славянским языковедением. Наиболее важным для дальней-

---

[1] См. «Предварительный съезд русских филологов [10—15 апреля 1903 г.]. Бюллетени», СПб., 1903.

[2] Отметим интересные предложения И. А. Бодуэна де Куртенэ, пытавшегося направить издание «Энциклопедии славянской филологии» в несколько ином плане. Например, наряду с описанием физиологии славянских звуков, он указывал на необходимость «психологического обоснования явлений, встречающихся в языке» (см. «Предварительный съезд русских филологов», стр. 68).

[3] Любопытно отметить, что круг намеченных в проекте издания ЭСФ авторов в общем выполнил первоначальную программу, хотя большей частью их труды были опубликованы в других изданиях.

шего развития было рассмотрение проблем, связанных с географией слов, древнейшими славянскими изоглоссами (И. А. Бодуэн де Куртенэ, Т. Лер-Сплавинский, Я. Чекановский), со славянским лингвистическим атласом (А. Мейе, Л. Теньер), относительной хронологией различных явлений праславянского языка[1]. Постановка вопроса о системном характере языка, о функциональности его элементов, разработка основных положений фонологии, произведенная Пражским лингвистическим кружком[2] на материале славянских языков, оказали воздействие на судьбу не только славянского, но и общего языкознания.

II съезд и особенно подготавливавшийся в 1939 г. III съезд[3] отразили расширение проблематики исследования славянских языков. Помимо ряда «классических» вопросов, связанных со славянской прародиной, ее территориальным определением и характеристикой ее хронологических границ, были затронуты вопросы ареальной лингвистики, в первую очередь — балканистики. На фонологической секции были выдвинуты две основные проблемы: проблема фонологической системы языковых союзов и проблема консервативных и инновационных тенденций в развитии фонологических систем славянских языков. Особое внимание было уделено славянскому глагольному виду, принципам классификации предложений (главным образом в соответствии со специфическими особенностями глагольного вида), возможности применения формулы «syntagma — compositum — simplex» к славянскому словообразованию, наконец, общему вопросу об отношении функции, значения и формы слова в славянской грамматической системе. Ставился также вопрос о следах «доклассического» субстрата в южнославянской топонимике, об общих особенностях балканских языков как основе балканистики и связанная с этим проблема о роли пограничных языковых областей как источников инноваций. Вместе с тем и в период подготовки III съезда эти вопросы были только поставлены, многие из них стали детально изучаться лишь в послевоенное время (в 40—50-х гг.). Именно после второй мировой войны наметился более широкий и более четко определенный круг проблем по славянскому языкознанию, который в значительной мере нашел свое отражение на IV съезде.

2

IV Международный съезд славистов не только продолжил и обогатил традиции предшествующих славистических съездов (см. программу IV съезда славистов, его тематику и перечень спорных вопросов славянской филологии, поставленных на широкое международное обсуждение еще до этого съезда), но и значительно расширил научную проблематику славяноведения — в связи с новыми задачами и перспективами славяноведческой науки на современном этапе ее развития. Следует прежде всего отметить, что проблемы истории славянских литературных языков впервые оказались предметом живого обсуждения на славистическом съезде. Общие условия возникновения славянских литературных языков в период раннего средневековья, соотношение книжного и народного начал в истории их развития, роль старославянского языка как общего литературного языка южных, восточных и отчасти западных славян, условия латинско-славянского двуязычия — вызвали живой и широкий интерес на московском съезде. Выяснилось, что все эти проблемы по своему характеру отличаются большей сложностью и прежнее упрощенное понимание хотя

[1] См. «Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929», sv. II. Přednášky, Praha, 1932.

[2] См. «Mélanges linguistiques dédiés au Premier congrès des philologues slaves», TCLP, 1, 1929.

[3] См.: «II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Księga referatów», Sekcja 1 — Językoznawstwo, Warszawa, 1934; «III Међународни конгрес слависта (словенских филолога)», № 1 — 5, Београд, 1939.

бы вопроса о соотношении древнерусской и старославянской языковых стихий не может удовлетворить. Акад. В. В. Виноградов в своем докладе «Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка»[1] пришел к выводу, что с периода зарождения древнерусской письменности, т. е. с X—XI вв., и вплоть до конца XVI — середины XVII вв. существовали два основных типа русского литературного языка: книжнославянский, источником которого был старославянский язык, и народнолитературный (или «народнокультурный»), источником которого служила живая народная речь и язык фольклора. Эти две стихии, определявшие развитие двух типов древнерусского литературного языка, находились в сложном взаимодействии и обслуживали различные жанры литературы. В конечном итоге эти два типа, видоизменившись, послужили основой для возникновения трех стилей русского языка в XVII в. Каждому из двух указанных типов присущи свои схемы и закономерности периодизации, сходные между собой в самых общих чертах: 1) X—XIV вв. (X—XII; XII—XIV); 2) XIV—XVI вв.; 3) конец XVI—конец XVII— начало XVIII вв.[2].

Новая постановка вопроса о периодизации древнерусского литературного языка и выявление в нем различных типов (что не следует смешивать с двуязычием) имеет большое значение для разрешения проблемы о характере и периодизации целого ряда славянских литературных языков и в первую очередь литературных языков, входящих в ареал греко-славянского культурного мира (древнесербского, древнеболгарского и древнерумынскославянского), а также отчасти (имея в виду древнейший период) древнечешского, древнехорватского и древнесловенского. Естественно, что различия в отношении развития отдельных конкретных языков окажутся довольно существенными. Здесь скажется также влияние и различного объема материала, которым может оперировать исследователь (ср. минимальное число памятников древнейшего периода для словенского, отчасти чешского языков). Однако крайне важным при решении этого вопроса будет общее положение, требующее разграничения истории языка литературного и народноразговорного, изучение которого составляет также предмет исторической диалектологии[3], положение о том, что периодизация грамматического строя народноразговорного языка и его диалектов не всегда соответствует периодизации литературного языка, что, наконец, схема периодизации истории народа не может в виде трафарета переноситься и на периодизацию литературного языка. Нужно полагать, что даже у таких языков, как сербский и болгарский, у которых грамматический строй и словарный фонд ближе к старославянскому, чем русский, можно проследить наличие двух типов древнелитературных языков, довольно ярко проявляющихся в различных жанрах литературы. Эти наблюдения могут быть особенно показательны на материале болгарских и македонских письменных памятников, так как в этих языках сравнительно рано произошли значительные изменения в грамматическом строе.

С другой стороны, перед славистикой стоит важная задача определения истории книжных типов древних славянских литературных языков, которые, как следует полагать, окажутся в свою очередь типами единого книжнославянского или «церковнославянского» языка, обслуживающего в основном одни и те же жанры литературы. Крайне нужным было бы параллельное исследование различных изводов разных по жанрам

---

[1] «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958.

[2] Периодизация дана в упрощенной схеме. Подробную периодизацию см. на стр. 135—137 указанного доклада В. В. Виноградова.

[3] См., например, смешение этих двух моментов в интересном по материалу и замыслу докладе Р. Коларича «Этапы развития словенского языка» (R. Kolarič, Periodizacija razvoja slovenskega jezika, «Slavistična revija», letn. XI, 1—2, 1958, стр. 69—77.

памятников, общих для южно- и восточнославянских литератур. Создание единого церковнославянского словаря XII—XIV вв., а возможно, и XII—XVII вв. дало бы обильный материал для решения этой проблемы.

Не следовало бы оставлять без внимания и отдельные попытки создания искусственных общеславянских «взаимных» языков, подобные опытам Юрия Крижанича, позже Матии Маяра и Ярослава Цафэ[1]. К сожалению, им на съезде не было уделено внимания, а между тем они, видимо, указывали, хотя часто с опозданием, на известные кризисные моменты в истории единого книжнославянского или церковнославянского языка, а также и отдельных славянских языков. Большое значение для истории церковнославянского языка, выполняющего функцию межславянского литературного языка, так же как и для истории отдельных славянских литературных языков, имеют статистические исследования наподобие тех, которые положены в основу проекта словаря польского языка XVI в. В связи с этим большое значение имеют решения комиссий съезда о создании капитальных каталогов и описаний древнеславянских рукописей и инкунабул, которые бы явились важным этапом подготовительной работы в этой области.

Не менее значительный интерес представляют и поднятые на съезде вопросы, связанные с формированием и развитием современных славянских литературных языков. Здесь также в отношении восточнославянских (прежде всего русского) и южнославянских (сербского и болгарского) языков можно установить ряд аналогий и вместе с тем столкнуться с неравномерной изученностью материала. Явления, характерные для русского литературного языка во второй половине XVII и в XVIII в., были свойственны болгарскому литературному языку в первой половине XIX в., а сербскому — в XVIII— начале XIX в. Историко-культурный анализ этого периода сделан рядом исследователей довольно тщательно, однако лингвистическое исследование смены или сосуществования различных стилей, определения сферы их употребления и их функциональных особенностей все еще как следует не выполнено. За исключением монографии Б. Унбегауна о славяно-сербском языке XVIII в. и отдельных характеристик языка писателей в «Истории новой болгарской литературы» Б. Пенева, славистика почти не располагает другими материалами. А между тем, особенно в применении к болгарскому литературному языку (хотя это же в значительной мере можно сказать и о сербском), в отношении указанного периода его истории можно говорить о крайне ускоренном развитии литературного языка после довольно длительного застоя — развитии, прошедшем за полвека стадии, длящиеся в истории других славянских литературных языков (например, в русском) в течение нескольких веков[2]. Этот факт любопытен с точки зрения сравнения типологического и формально-генетического.

Съезд поставил перед славистами задачу выяснения основных закономерностей формирования и развития современных славянских литературных языков. Этой теме был посвящен ряд докладов, причем вновь поднимался важный вопрос о диалектной базе отдельных славянских литературных языков, о соотношении и взаимодействии славянских литературных языков, о роли церковнославянского языка при их формировании. Сложность изучения современных славянских литературных языков усугубляется еще тем, что до сих пор в славистике не уточнены понятия «литературный язык», «стиль языка», «язык письменности», «разговорный ли-

---

[1] См. предложение И. А. Бодуэна де Куртенэ на I съезде славянских филологов и историков (см. «I съезд славянских филологов. I — Материалы по организации съезда. 1 август 1903—май 1904», СПб., 1904, стр. 14).

[2] См. эту же мысль в применении к истории болгарской литературы начала XIX в. в интересной статье Г. Гачева «Отсинкретизма к художественности» («Вопросы литературы», 1958, № 4, стр. 121—128).

тературный язык» и др. Подсекция славянских литературных языков признала необходимым обсудить также вопрос о принципах нормализации современных литературных славянских языков и о церковнославянских и народных элементах в литературных славянских языках.

3

В области славянской сравнительной и исторической лексикологии на съезде рассматривался широкий круг вопросов, связанных с построением этимологических словарей, исторических словарей славянских языков, с исследованием исторической славянской, преимущественно русской лексикологии (юридическая и социальная терминология) и с практическими задачами составления двуязычных словарей.

В отношении этимологических исследований подчеркивалась необходимость углубления морфологическо-семантического анализа и расширения диалектного и исторического изучения лексики как материальной базы научно-исследовательской работы в области этимологии славянских языков. Весьма важной в методологическом отношении является также задача изучения отдельных корней и слов не изолированно, а в окружении и системе словообразовательных и семантических связей слова по разным языкам. Проф. А. Вайан повторил на съезде призыв, ставший уже довольно популярным,— отказаться от практики возведения слова к первоначальному «корню» вне исторической перспективы и характеристики истории данного слова в дописьменный и более поздний период. Этимологические исследования должны идти от словообразовательной модели к корню, а не наоборот. Предложение Я. С. Отрембского, выдвинутое во время дискуссии, о пристальном изучении способов и условий образования новых слов и установлении основных закономерностей такого образования важно не только для понимания процессов современного славянского словообразования, но и для методики этимологических исследований. Значительные успехи в области составления славянских этимологических словарей за последнее десятилетие (появление словарей М. Фасмера, В. Махка, Ф. Славского, И. Книежи, создание этимологического словаря сербскохорватского языка покойным акад. П. Скоком, подготовка русского этимологического словаря в Москве и болгарского в Софии) могут быть приумножены лишь при условии активизации работы в области создания исторических и диалектных словарей, а также лингвистической географии. К серьезным достижениям польской исторической лексикографии (словарь древнепольского языка, словарь польского языка XVI в.), к важным начинаниям чешских и советских славистов (словари древнечешского и древнерусского языков) должны присоединиться болгарские, словенские, сербские ученые (исторических словарей болгарского и словенского языков вообще не существует, исторический словарь сербского языка Дж. Даничича и полуисторический словарь Югославянской Академии во многом устарели).

Без достаточного числа областных славянских словарей, которые охватывали бы почти весь ареал славянских языков, едва ли возможно создание достаточно достоверного словаря праславянского языка, проект которого подготовлен сейчас польским коллективом в Кракове. Еще не полно изучены лексические соответствия отдельных славянских (также и неславянских) языков и диалектов. Можно указать хотя бы на оставшиеся до сих пор без должного внимания чакавско-русские или болгарско-литовские соответствия. Углубленные разыскания в этом направлении могут несколько изменить наши представления о диалектном членении праславянского языка и о путях миграции его носителей. Естественно, что и вопросник будущего общеславянского атласа в большей своей части должен быть посвящен лексике.

4

На съезде был поставлен также вопрос о сравнительной славянской лексикологии, включая фразеологию и словообразование в плане типологического сопоставления различных словообразовательных моделей, с учетом изучения их продуктивности и взаимообусловленности. Словообразовательный анализ современных славянских языков нуждается также в применении статистических методов; в этом отношении несомненный интерес представляет работа немецких славистов, издавших два словаря atergo современного русского языка (под руководством: один — проф. Г. Г. Бильфельдта, другой — проф. М. Фасмера). «Перевернутый» словник будет применен и к польскому словарю XVII в., подготовленному варшавским коллективом. Пражский коллектив подготовил частотный словарь современного чешского языка. Этому хорошему почину должны последовать ученые других славянских стран.

Нельзя не отметить, что наибольшего успеха в послевоенный период славянская лексикография достигла в области составления словарей современных языков и отчасти двуязычных. Здесь следует указать на большой академический (до буквы *Н*) и четырехтомный толковый словари русского языка, на академический (до буквы *С*) и толковый словари болгарского языка, на первый том словаря польского языка и первые три тетради словаря литературного чешского языка (до буквы *D*), на подготовку академического (в издании Сербской Академии наук) и толкового словарей сербскохорватского языка (в изд. «Матицы сербской» и «Матицы хорватской»). Однако в этой области у славянских лексикографов нет полного единства: различны принципы составления словника, разграничения омонимов, выделения фразеологизмов и отбора иллюстративного материала. Сопоставительное рассмотрение новых славянских словарей может дать интересный материал для общей истории развития славянкой лексикографии, а также для практики составления славянских двуязычных словарей.

5

В области фонетики и фонологии наибольшее внимание привлекала возможность применения теории фонем к описанию и исследованию фонетических систем отдельных славянских языков, взятых на различных этапах их развития. В связи с этим в качестве объекта фонологического исследования рассматривались не только современные славянские языки, но также и данные праславянского языка или древних периодов отдельных славянских языков. Интерес вызвала возможность типологической классификации славянских языков на основе того состояния, которое воспроизводят и отражают те или иные звенья соответствующих фонетических систем.

Вместе с тем выяснилось некоторое различие в подходе к конкретному материалу в вопросе о периодизации фонологических систем, т.е.в определении критериев для синхронных срезов, и существенные разногласия в отношении применения дихотомической теории фонем, заменяющей сложную систему фонологических корреляций системой бинарных противопоставлений. Дискуссия шла по вопросу о необходимости применения принципа инвариантности в диахроническом плане,а также по вопросу о типологической классификации фонологических систем современных славянских языков. С проблемой фонологической типологии славянских языков тесно связан вопрос о фонологической характеристике некоторых соседних со славянскими языков, например румынского и венгерского. Внимание к фактам славяно-инославянской языковой интерференции крайне важно также для исторической фонетики славянских и смежных с ними языков.

Следует указать, что методика фонологического анализа применяется при исследовании далеко не всех славянских языков и диалектов. Если в работах по чешской, польской и русской диалектологии она прочно вошла в практику исследователей, то в отношении сербскохорватской диалектологии можно говорить лишь о первых, хотя и серьезных опытах, а в болгарской диалектологии она почти не имеет своих последователей.

Вопросы экспериментальной фонетики, к сожалению, не нашли своего отражения в работе съезда. Между тем в этой области должна быть проведена серьезная работа по определению субстрата славянских фонем с применением новейшей лабораторной аппаратуры.

6

Проблемы локализации славянской прародины, диалектного членения праславянского языка и его соотношения с другими индоевропейскими языками были всегда традиционными для славистических съездов. Довоенные достижения славистики в этой области были умножены рядом капитальных исследований по археологии, лингвистике и истории, вышедших в последние годы. Немалая заслуга в этом отношении принадлежит польским ученым. В конечном результате четче определился круг задач и проблем, требующих дальнейшего разрешения. Определение территории славянской прародины в области к северу от Карпат между средним Приднепровьем и Эльбой или Вислой находит свое подтверждение в целом ряде новых фактов. Новейшие экспедиции советских археологов подтвердили довольно широкое распространение славян на восток до Поднепровья еще до середины I тысячелетия нашей эры. Археологические наблюдения подкрепляются лингвистическими исследованиями о соотношении праславянского языка с другими родственными индоевропейскими языками и языками другой системы (например, финскими).

В этой связи по-прежнему в центре внимания стоит вопрос о балто-славянских языковых отношениях. Если проблема локализации древнейших балтийских племен, находившихся к северу и северо-западу от славянских, нуждается в общем лишь в уточнении в деталях, то проблема языковых отношений балтийских и славянских племен вызывала и вызывает различные толкования. Еще в ходе предсъездовской дискуссии ученые, часто оперируя одними и теми же фактами, стояли на различных точках зрения, утверждая или отрицая языковое единство двух названных этнических групп[1]. Пути дальнейшего разрешения этой проблемы нужно было искать в изменении самой методологии исследования. Обсуждение на съезде показало, например, что плодотворным в этом отношении является выяснение отношений моделей древнейших состояний балтийских и славянских языков, выведение формальных показателей степени тождества этих систем и выяснение их взаимного отношения с целью определения их исходной системы (не праиндоевропейской). Отмечалось, что, вероятно, «модель, установленная для славянского языка, является результатом преобразования модели, установленной для древнейшего балтийского состояния»[2].

Однако дальнейшее исследование этой проблемы, так же как и проблемы праславянского языка, не может успешно развиваться без выяснения вопросов о том, каковы были диалектная основа «предпраславянского» языка и его отношение к другим индоевропейским диалектам, без углубленного анализа на основе широкого использования метода внутренней

[1] См. ВЯ, 1958, № 1, стр. 37—54.

[2] См. Вяч. В. Иванов, В. Н. Топоров, К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков, «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958, стр. 39.

реконструкции — при постоянном стремлении увеличить ее хронологическую глубину. Необходимо также внимание к лексическим данным (в первую очередь к словам, связанным с флорой, фауной, бытом и хозяйством) и к их соответствиям в отдельных славянских и неславянских языках.

Большое значение имеют для решения изложенных вопросов данные топонимики. В этой области польскими и некоторыми другими славянскими учеными достигнуты первые значительные результаты. Много ценного дают гидронимические исследования Я. Розвадовского, Т. Лера-Сплавинского, И. Безлая. Однако необходимо создание свода славянской гидронимики, который был бы частью проектируемого общеславянского топонимического словаря для территории от Рейна до Волги и от Балтийского до Эгейского моря и Адриатики. Широко развернувшийся сбор материала в ГДР и в Польше, отчасти в СССР, Болгарии и Чехословакии, подготовленный под руководством проф. М. Фасмера русский топонимический словарь смогут в скором времени послужить базой для этого капитального труда.

7

Вопросы, выдвинутые во время съезда на подсекции сравнительно-исторической и исторической грамматики славянских языков, были довольно разнообразны, а в некоторых случаях и разноплановы, что в значительной степени затрудняло организацию общих дискуссий в этой подсекции. Однако отдельные проблемы, как, например, проблема славянской аспектологии (учения о видах глагола), нашли свое достаточно полное освещение. В этой области имеются давние исследовательские традиции и накоплен большой материал. Итоги полувековым исследованиям славянского вида подвел А. Мазон, отметивший, что в настоящее время уже бесспорным является положение о том, что вид не может отождествляться с разновидностями глагольного действия (Aktionsarten). Однако в определении принципа видовой корреляции и роли отдельных времен в формировании категории вида, особенно применительно к древнейшему славянскому состоянию (т. е. к времени происхождения вида), до сих пор существует несколько точек зрения. Довольно широкое распространение в последнее время получила гипотеза Н. Ван-Вейка о происхождении вида из категории определенности-неопределенности (В. В. Бородич, И. Немец, Г. Кёльн); при этом само понятие определенности воспринимается различно. Данная гипотеза встречает возражение со стороны некоторых ученых, предлагающих схему: действие глагола, взятое в целом, — действие глагола, не взятое в целом (А. Достал и др.). Выдвигается также и более сложная система, примыкающая к гипотезе Н. Ван-Вейка, но ведущая к разделению на две отдельные корреляции: определенность-неопределенность и предельность-непредельность (Ю. С. Маслов).

Доклад И. Грицкат о двухвидовых глаголах в сербскохорватском языке показал, что, несмотря на солидность и весьма значительную полноту материала, которым оперируют аспектологи, еще остается немало ценных фактов, требующих внимательного коллекционирования и обобщения. Необходимо каталогизирование материала подобно тому, как это сделал для старославянского языка А. Достал, и более пристальное внимание к показаниям отдельных славянских диалектов.

Важной в теоретическом отношении является также проблема о способах определения значения глагольных времен. Теория синтаксического индикатива и релятива, выдвинутая акад. А. Беличем на материале сербскохорватского языка еще в конце 20-х годов, находит свою дальнейшую разработку при учете факторов реализованности и нереализованности

действия и значения времени. Эти проблемы следовало бы, видимо, решать также путем установления смысловых коррелятивных отношений внутри самой временной системы.

В области изучения падежно-предложной системы славянских языков безусловного внимания заслуживают наблюдения А. Белича относительно развития предлогов из наречий, получивших и значение зависимого падежа, и модификацию этого значения. По мысли А. Белича, первоначальные значения зависимых падежей выражали отношения, т. е. абстракции, значения же предлогов были реальнее («стварно»). Это положение должно учитываться при истории развития падежных окончаний в славянских языках. В историческом плане интересно поставить также проблему падежного синкретизма (т. е. вопрос об упразднимых различиях между падежными флексиями), выдвигаемую пока лишь в результате современного синхронного среза; она может пролить свет на процессы аналогии, играющие важную роль в развитии падежных систем.

В докладах и выступлениях на съезде были представлены разные концепции в определении падежных значений: морфологическая, утверждающая, что падежи, помимо контекстуальных частных употреблений и смыслов, обладают «общим» или морфологическим значением, не зависящим от контекста (доклад Р. Якобсона), и синтаксическая, отрицающая у падежей наличие какого-либо значения вне контекста словосочетания (например, доклад П. С. Кузнецова). Многое в этих концепциях оказывается спорным, как показала и оживленная дискуссия. Морфологическая точка зрения нуждается в строгом обосновании прежде всего на широком конкретном материале: до сих пор на практике нет четкого разграничения морфологического значения и синтаксических значений. Этот вопрос со времени его возникновения и обострения внимания к нему в 30-х годах текущего столетия оказался мало продвинутым вперед. Неясно еще также, всегда ли двучленные противопоставления можно толковать как противопоставление признакового и беспризнакового члена и насколько точно они отражают действительные языковые соотношения. Эти вопросы требуют своей дальнейшей разработки.

В области сравнительно-исторического изучения славянского синтаксиса остается до сих пор не разрешенным ряд кардинальных проблем. Не установлены твердые принципы и методы реконструкции синтаксических явлений. Весьма различна степень достоверности отдельных реконструкций. Если для глагольно-именных сочетаний, для синтаксиса падежей или для синтаксиса времен можно достигнуть большей степени вероятности, то в области синтаксиса предложения (паратаксиса и гипотаксиса), как и в области таких явлений, как порядок слов, пока еще реконструкция связана со значительным риском. До сих пор нет четкого представления о структурных особенностях синтаксической системы, как нет и единого понимания синтагмы, что в значительной степени затрудняет опыты реконструкции. Естественно, что на съезде были выдвинуты доклады, связанные с более конкретным материалом и более реальными задачами, как, например, группа докладов по проблеме синтаксических, преимущественно греческих, заимствований в старославянском и древнерусском языках, рассмотренная на широком материале, или доклад о системе предложных конструкций в современном сербскохорватском языке. Не случайным является и тот факт, что члены сравнительно-исторической подсекции единодушно подчеркнули необходимость активного и тщательного собирания диалектного синтаксического материала, которым до сих пор славянское языкознание располагает в очень незначительной степени. Этот материал дополнит, обогатит, а в отдельных случаях, видимо, и изменит ту довольно схематическую картину исторического развития славянского синтаксиса, которая воссоздается на основании письменных источников.

8

Значительные достижения в области лингвистической географии славянских языков за последние годы, появление первого тома «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», «Малого атласа польских говоров», «Атласа болгарских говоров на территории СССР», интенсивная работа по составлению русского, болгарского, белорусского, украинского, чешского и других славянских атласов вывели эту важную языковедческую дисциплину из подготовительной стадии и приблизили ее непосредственно к ряду проблем, вытекающих из повседневной практической работы и связанных с наличием большого конкретного материала. IV Международный съезд славистов подвел итоги этих важных трудов и содействовал их обобщению. Несмотря на некоторые методологические и технические различия, сказавшиеся на характере карт и изоглосс, атласы отдельных славянских языков не только в общем отразили основные диалектные различия и изоглоссы отдельных ограниченных территорий, но и дали известный материал для проектируемого общеславянского атласа. Вопрос о принципах, методах и конкретных возможностях его создания был основной темой докладов по лингвистической географии (доклады Р. И. Аванесова, С. Б. Бернштейна, З. Штибера, П. Ивича). Отмечалось, что подобный труд явится первым атласом целой семьи языков и станет важным средством для исследований в области славянской сравнительно-исторической грамматики и лексикологии, так как территориальное распределение различий между близко родственными славянскими языками и их группами представляет собой опосредствованное отражение процессов их дивергентного и конвергентного развития.

Благодаря своевременной инициативе польских диалектологов были составлены в сотрудничестве с русскими языковедами и продемонстрированы на съезде пробные карты общеславянского атласа, построенные на лексическом материале. Надо надеяться, что в вопроснике этого атласа внимание к лексике и к отдельному слову и его форме будет значительно больше, чем это мы видим в русском атласе. Основные фонетические (связанные с исторической фонетикой) и морфологические изоглоссы, важные в общеславянском масштабе, могут быть в общих чертах нанесены на карту уже сейчас по имеющимся материалам. Не следует оставлять без внимания предложение об отражении в общеславянском атласе области распространения румынского, венгерского, балтийских и финских языков, на территории которых могут продолжиться или соединиться некоторые фонетические и лексические изоглоссы. Переходные языковые зоны должны обследоваться особенно тщательно, видимо, с более частой сеткой. Нужно надеяться также, что проектируемый вопросник поставит перед диалектологами задачу фонологического анализа диалектных данных с целью выяснения различных структурных диалектных типов. Подсекция лингвистической географии славянских языков и славянской диалектологии выделила комиссию, принявшую решение о составлении вопросника общеславянского атласа, о разработке системы транскрипций, сети обследуемых пунктов, об определении количества пунктов в каждой стране и др.

9

Весьма полезным для работы съезда было создание отдельной литературно-лингвистической секции. Значительная часть проблем, выдвинутых на этой секции, отсутствовала в программе предыдущих съездов. Вопросы теории перевода, разрабатывающиеся до сих пор преимущественно на материале переводов с западноевропейских языков, приобретают свою специфику при переводах межславянских. Теоретические установки при переводах с близко родственных языков еще почти не разработаны.

В этом плане важно выяснение лингвистических и стилистических характеристик этих языков, а также определение путей обогащения языка-реципиента (т. е. того, на который делается перевод). М. Ф. Рыльский в своем докладе подчеркнул, что художественный перевод требует творческого подхода, передачи «духа» произведения, во имя чего, в особенности при стихотворной форме, можно пожертвовать иногда отдельными деталями. Большой практический опыт, накопленный советскими и зарубежными славянскими переводчиками, должен быть обобщен и теоретически обоснован. Это принесет несомненную пользу большому делу межславянского литературного сближения. Важно также продолжать разработку теории перевода со славянских языков на западноевропейские и восточные языки. Все возрастающая роль славянских народов в истории мировой культуры делает эту задачу особенно актуальной.

При обсуждении вопросов художественного перевода были охарактеризованы специфические трудности, возникающие при переводах с одних славянских языков на другие (т. е. с языков родственных). В связи с этим выступают задачи тщательного изучения соответствий и соотношений грамматических, лексико-семантических и стилистических систем родственных языков, в частности славянских, для создания прочной базы теории перевода. Поднимались также вопросы изучения истории образцовых художественных переводов в кругу славянских литератур. Проблемы специфики языка художественной литературы, индивидуального стиля писателя, речевой структуры и речевых приемов стиля писателя до сих пор входили в основном или в область литературоведческих, или в область лингвистических исследований, что далеко не всегда давало нужные результаты. Это объяснялось, как подчеркнул в своем докладе В. В. Виноградов[1], тем, что наука о языке художественной литературы не может быть слита вполне ни с литературоведением, ни с языковедением в полном смысле этого слова; она имеет свой метод, свои задачи и свой объект исследования — специфические категории системы языка художественной литературы. Современное развитие науки ведет к дроблению отдельных областей знания на большое число более или менее самостоятельных дисциплин и, с другой стороны, вызывает встречный процесс синкретического и синтетического объединения работы исследователей различных специальностей. При обсуждении докладов, посвященных определению задач науки о языке художественной литературы, особенно острая дискуссия возникла по вопросу о специфических понятиях и категориях системы языка художественной литературы, не укладывающейся в рамки тех привычных методов и понятий, с которыми имеют дело и которыми оперируют как классическое языкознание, так и современное литературоведение. Дискуссия на съезде подтвердила необходимость создания самостоятельной науки о языке художественной литературы и разработки ее основных методов.

Наука о стихе на съезде была представлена только двумя докладами польских славистов — М. Р. Майеновой и М. Длуски, которые определили место этой дисциплины по отношению к лингвистике и литературоведению. Особенно важны сравнительно-исторические исследования славянского народного стиха: здесь использован далеко не весь материал и далеко не все выводы достоверны. Остро встает проблема упорядочения и уточнения научной терминологии, относящейся к стилистике художественной речи и к стиховедению. Приходится выразить глубокое сожаление, что проблематика славянского стиховедения, сравнительно-исторической метрики в стихотворном творчестве разных славянских народов не получила на съезде всестороннего и дифференцированного обсуждения.

---

[1] См. В. В. Виноградов. Наука о языке художественной литературы и ее задачи, «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958.

При обсуждении общих проблем текстологии в связи с вопросом, что следует понимать под волей автора при подготовке правильной редакции текста, обнаружилось полное согласие в понимании этих проблем польскими и советскими текстологами. Во всяком случае, было единогласно признано мудрое текстологическое правило: лучше мириться с ошибками самого автора, чем подменять их своими собственными (это по отношению к покойным классикам является кощунством). Вместе с тем вызвали очень большой и острый интерес вопросы атрибуции, определения авторов анонимных и псевдонимных произведений.

В процессе обсуждения доклада «Отражение элементов стиля Маркса и Энгельса в языке Ленина» было признано желательным создать словари языка Маркса, Энгельса и Ленина.

Учитывая все возрастающее внимание к проблематике литературно-лингвистической секции и то оживление, которое наблюдалось на ее заседаниях, следует пожелать следующему, V Международному съезду славистов расширить программу литературно-лингвистической секции и увеличить как объем ее работ, так и круг относящихся к ней проблем.

10

Совершенным новшеством для славистических съездов была работа группы по машинному переводу. Было представлено три доклада, в которых излагались принципы перевода с русского языка на иностранный, в основном английский, и освещалось общее состояние этой новой дисциплины прикладной лингвистики. Дискуссия показала, что по целому ряду теоретических проблем советские языковеды опередили своих зарубежных коллег, главным образом американских, остающихся в основном на позициях практицизма. Заседания этой группы вызвали большой интерес.

11

IV Международный съезд славистов показал, что во всех странах с большей или меньшей интенсивностью происходит активизация славяноведческих исследований. В славянских странах, где начат ряд капитальных коллективных работ, в послевоенный период отчетливо наблюдается подъем славяноведения (имеется в виду не только сравнительное языкознание, но и изучение отдельных языков). С созданием Международного комитета славистов значительно укрепились международные связи ученых, работающих в области славянских языков и литератур. Это поставило перед славистами ряд новых задач в области научного сотрудничества. Задачи эти были рассмотрены на заседаниях комиссий съезда.

Было выражено пожелание о преобразовании информационно-библиографической, терминологической, транскрипционной, эдиционно-текстологической комиссий и комиссии по истории славяноведения в постоянно действующие комиссии при Международном комитете славистов с подкомиссиями при национальных комитетах. Члены комиссий до очередного заседания Международного комитета славистов в 1960 г. будут вести подготовительную работу. На комиссиях было высказано много пожеланий и предложений. Особого внимания заслуживают следующие:

По информационно-библиографической комиссии: 1) организовать текущую библиографию славяноведения в международном масштабе; 2) расширить ретроспективную общую международную библиографию славяноведческой литературы, прежде всего — литературоведческую (ретроспективная библиография по языкознанию выходит в Кракове в журн. «Rocznik slawistyczny»; 3) подготовить международный сводный каталог славянских инкунабул.

По терминологической комиссии: начать работу по унификации литературоведческой и лингвистической терминологии. В этих целях создать проект терминологического словника и библиографию терминологической литературы.

По транскрипционной комиссии: приступить к разработке единой фонетической и фонологической системы транскрипции для всех славянских диалектов с учетом таких явлений, как синтаксическая фонетика, транскрипция непереводимых слов и др.

По эдиционно-текстологической комиссии: 1) составить международный каталог древнейших славянских рукописей (до XII в. включительно); 2) разработать рекомендации по составлению научных описаний славянских рукописей (в том числе и певческих).

По комиссии истории славяноведения: установить общие принципы составления библиографических словарей отдельных стран, дать описание славяноведческих архивных материалов, издать переписку славяноведов, осуществить переиздание важнейших старых работ по славяноведению и издание еще не опубликованных трудов умерших славяноведов.

По комиссии по международным научным предприятиям: 1) уточнить характер и подготовить издание «Энциклопедии славянской филологии» (на русском языке); 2) разработать вопросник и инструкцию по сбору и обработке материалов для общеславянского лингвистического атласа и осуществить предварительный сбор материалов; 3) создать проект единого словаря церковнославянского языка разных изводов.

Международный комитет славистов единогласно решил провести очередной, V съезд славистов, по принятому на I. съезде положению, через пять лет, в 1963 г., и избрал местом его созыва столицу Болгарии — Софию.

Съезд проходил в деловой, научной и вместе с тем коллегиально-дружественной атмосфере. Успеху съезда во многом содействовала большая предварительная подготовка, предварительные заседания Международного комитета славистов, определившие и уточнившие его основную тематику, активное участие всех делегатов в его работе, оживленные дискуссии по основным проблемам славянской филологии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

О. Н. ТРУБАЧЕВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Плодотворные идеи теории волн И. Шмидта о генезисе и распространении языковых форм во многом предвосхитили содержание языкознания XX в., однако настоящий сдвиг начал осуществляться лишь в результате подготовки больших атласов европейских языков. В последней четверти XIX в. Г. Венкером были собраны и в незначительной части опубликованы материалы «Лингвистического атласа Германской империи», а в первые десятилетия XX в. один за другим последовали «Лингвистический атлас Франции» Ж. Жильерона и Э. Эдмона, «Немецкий лингвистический атлас» Ф. Вреде, «Атлас Италии и Южной Швейцарии» К. Яберга и И. Юда. Методологические различия между этими работами оказались при этом весьма значительными. В то время как Г. Венкер, бывший настоящим пионером в этом деле, был скорее озадачен многообразием и переплетением линий распространения различных форм в диалектах и тем более не предвидел этой сложности, приступая к осуществлению своего замысла, что выразилось в характере его вопросника, составитель французского атласа Ж. Жильерон с самого начала опирался на выдвинутые к тому времени французской лингвистикой положения о взаимопроникновении диалектных особенностей и относительности диалектных границ. Различие, которое носило сначала как будто внешний характер (вопросник Жильерона содержал в несколько раз больше слов, чем у Венкера), привело со временем к важным результатам. Современный немецкий лингвистический атлас, отражающий сплошное обследование ряда форм на всей территории языка, является по сути обработкой материалов Венкера или новых данных, собранных в соответствии с его программой. Поэтому различие между атласами обоих языков, обозначившееся вначале, сохранилось в течение всего времени. Оно оказалось принципиальным особенно на следующем этапе, в период научной обработки материалов, представленных в атласе. Лингвистическая география, создание которой является исключительной заслугой авторов первых лингвистических атласов, явилась для французских ученых в первую очередь географией слов, чего нельзя было сказать об этой отрасли языкознания в Германии. Немецкий лингвистический атлас обладал рядом ценных преимуществ в других отношениях, особенности обоих атласов неоднократно обсуждались в литературе, и здесь не место останавливаться на них подробно. Однако именно французским лингвистам мы обязаны созданием географии слов, именно им принадлежит честь разработки основных принципов и первых важных трудов в этой области. Естественно, что нас интересует именно этот аспект лингвистической географии, имеющий важнейшее значение для этимологических исследований.

Лингвистическая география сказала очень много нового и ценного для этимологии, выдвинула ряд положений, значение которых трудно переоценить: каждое слово представляет собой индивидуальный в известном смысле продукт истории развития и географического распределения форм; соотношение форм, которое застает в определенный момент лингвист-наблюдатель, как правило, чуждо какой бы то ни было случай-

ности, но объяснимо в свете данных истории, культурных влияний и взаимоотношений форм между собой; границы диалектов и вообще языковых территорий имеют относительное значение и не могут служить препятствием для распространения общих слов и форм, отсюда следует важный вывод о необходимости изучения внешней взаимозависимости лингвистических систем. В изучении значения слова нужно покончить с убеждением о его локальной изолированности, так как значение, равно как и само слово в целом, является отражением широких формальных, исторических и территориальных связей. Широкое географическое изучение слов, опирающееся на данные истории, способно правильно решить проблему стратиграфии, т. е. последовательных наслоений слов и форм, реконструируя подчас с большой степенью вероятности ареалы распространения древних, давно вымерших языков[1].

«Основная цель лингвистической географии заключается в том, чтобы восстановить историю слов, флексий, синтаксических сочетаний на основании распределения современных форм и типов. Это распределение не является делом случая; оно является отражением прошлого, а также географических условий и среды, воплощенной в человеке. Лексические и морфологические разновидности в любую эпоху рассеяны и сгруппированы отнюдь не произвольно... Нужно... вскрывать закономерности, обусловившие преобразования, возникновение, группировки, передвижения, жизнь и борьбу слов»[2]. Эти слова А. Доза, между прочим, ясно указывают, как зачинатели лингвистической географии понимали назначение своей науки. Кстати сказать, в некоторых работах последнего времени довольно часто можно встретить отождествление лингвистической географии с описанием диалектов, диалектографией. В наши задачи в данный момент не входит необходимость отстаивать ту или иную точку зрения, важно лишь отметить, что этимологическому исследованию приходится иметь дело с лингвистической географией как широко понятой исторической дисциплиной. Некоторые ученые склонны упрекать французскую лингвистическую географию в преувеличенном внимании к слову как лингвистическому индивидууму. Верно, однако, и то, что французских лингвистов интересовали вообще формы, флексии и синтаксические сочетания в плане лингвистической географии. Сама языковая действительность побуждала их придавать особое значение реальному осуществлению форм и флексий и наиболее характерной единице речи — слову. С полным основанием говорит Доза о жизни и борьбе слов, применительно к чему Жильерон употреблял, например, такие термины, как «патология и терапевтика слов»[3]. Само собой разумеется, что слова — не живые организмы, а символы человеческих отношений в общественно-историческом плане. Но за этими более или менее неудачными терминами стоят реальные отношения форм языка, которых никто не станет отрицать: аналогическое развитие форм, явления народной этимологии. Радикальное преобразование различных форм, сблизившихся на определенном этапе своей истории и на определенной языковой территории, забвение той или другой формы с целью обеспечить лучшее понимание — таков, упрощенно, смысл понятия словесной «патологии и терапевтики», как это хорошо продемонстрировал Жильерон на примере ряда французских слов.

Факты позволяли Жильерону говорить о крахе чисто фонетической этимологии. Одновременно им и другими представителями лингвистической географии выдвигались качественно новые методы этимологического исследования, обогащенные опытом работы над лингвистическим атласом. Не случайно все лингвисты этого направления проявляли по-

[1] A. Dauzat, La géographie linguistique, Paris, 1922, стр. 27, 28, 43, 162—163; K. Jaberg, Aspects géographiques du langage, Paris, 1936, стр. 14, 44, 107—108.

[2] A. Dauzat, указ. соч., стр. 27.

[3] Ср. J. Gilliéron, Pathologie et thérapeutique verbales. Études de géographie linguistique, I—II — Neuveville, 1915, III — Paris, 1921.

стоянный и глубокий интерес к этимологии как таковой (ср., кроме работ Жильерона, разнообразные труды Доза, которому принадлежит также этимологический словарь французского языка).

В то время как французская и вообще романская лингвистическая география в полном смысле слова вышла из «Лингвистического атласа Франции», немецкая лингвистическая география, насчитывающая ряд крупных лингвистов и представленная главным образом школой замечательного ученого Т. Фрингса, выросла скорее из больших комплексных исследований языка важнейших исторических областей Германии — Рейнских провинций с их сложной политической историей, междиалектными отношениями и влиянием со стороны других языков и так называемого средненемецкого Востока, колонизованного позднее. Общее, что объединяет немецкую науку с французской,— это понимание лингвистической географии как исторической дисциплины, призванной интерпретировать карты во всеоружии общественно-исторических и лингвистических знаний с целью определения хронологии языковых явлений, а также их причин и направлений развития. Немецкая лингвистическая география добывает и обрабатывает огромный материал, наглядно иллюстрирующий генезис и направление различных инноваций в фонетике, морфологии и лексике, преодолевающих как диалектные, так и языковые границы. Немецкой лингвистической географии, действительно, присущ широкий, систематический охват языковых явлений, но среди них не последнее место занимает география слов, о чем свидетельствует, наряду с прочими, исследование П. Кречмера «География слов верхненемецкого разговорного языка»[1].

Лингвистическая география, основанная первоначально на данных, ограниченных территорией одного языка или группы близких языков, оплодотворила многими новыми идеями не только этимологию соответствующих языков в узком смысле, но и сравнительно-историческое языкознание в целом. Распространение принципов лингвистической географии на сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков является в основном достижением итальянских лингвистов. В систематизированном виде находим эту концепцию, получившую название «пространственной лингвистики», или неолингвистики, впервые у М. Бартоли. Согласно Бартоли, при отсутствии письменных свидетельств можно судить о хронологических отношениях на основании территориального критерия, который опирается на следующие принципы (norme): 1) фаза, сохранившаяся на изолированной территории; 2) фаза, сохранившаяся на периферийных территориях; 3) фаза, сохранившаяся на большей части территории; 4) более ранняя фаза, сохранившаяся в качестве островков в иноязычном окружении или в виде заимствований в других языках.

В дальнейшем В. Пизани окончательно закрепляет применение описанных принципов на индоевропейском материале. Ему также принадлежит в наиболее законченной форме обоснование уже называвшегося выше принципа, согласно которому языковые инновации могут распространяться через сложившиеся диалектные и языковые границы. Было бы неправильно ожидать от изложенных выше принципов точности математических законов, сами авторы сознавали это достаточно ясно и приводили примеры различных исключений и ограничений. Но это отнюдь не умаляет значения общих наблюдений пространственной лингвистики, напротив: новейшие исследования в области древнеиндоевропейской диалектологии подтверждают важность прежде всего положения о распространении инноваций на смежных территориях различных языков или диалектов при условии общности их исторических судеб. Немалое значение для проверки соответствий отдельных групп индоевропейских

[1] P. Kretschmer, Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918.

диалектов между собой имеет также принцип периферийных областей, помогающий констатировать на окраинах индоевропейской лингвистической территории, менее затронутых инновациями, ряд общих, в том числе лексических, реликтов[1].

Трудно переоценить особенно значение положения лингвистической географии (пространственной лингвистики) о распространении языковых инноваций. Благодаря ему становится возможным чрезвычайно важное методологически разграничение генезиса явления и распространения явления, в ходе которого явление продвигается из центра иррадиации путем субституций (звуковая инновация) или заимствований (лексическая и морфологическая инновация). Это положение широко и плодотворно применяется при изучении отношений как между языками, так и между диалектами языка. Классическим примером являются различные по происхождению языки Балканского полуострова: греческий, албанский, болгарский, македонский и румынский, которые в итоге длительного исторического взаимодействия развили ряд общих черт. Эта новая лингвистическая общность, объединившая балканские языки, объясняется, по-видимому, не отражением общего для всех названных языков лингвистического субстрата, а распространением общих инноваций, источником которых, как это хорошо показал К. Сандфельд, является в большинстве случаев наиболее влиятельный на Балканах в культурном отношении греческий язык[2]. Изучение разнообразных особенностей лексики, фонетики, морфологии и синтаксиса, охватывающих все балканские языки, является объектом балканистики. Таким образом, большое значение приобретает определенный аспект лингвистической географии — ареальная лингвистика. Можно указать целый ряд областей в Европе и за ее пределами, в которых в силу исторических причин между носителями различных языков устанавливаются оживленные сношения, облегчающие распространение на всей данной территории лингвистических инноваций. Например, диалекты различных языков, расположенные на землях, прилегающих к Карпатам, в результате многократных перекрестных заимствований выработали целый ряд общих слов и значений, характерных только для этой области. На проявления аттракции между обско-угорскими и самодийскими языками, удмуртским и татарским языком, принципиально интересные как совместные инновации далеких или совершенно не родственных языков, указывает Б. А. Серебренников, занимающийся проблемами ареальной лингвистики[3]. Задачи ареальной лингвистики приобретают особенную ясность и четкость, когда приходится иметь дело с такими лингвистическими союзами, как балканский. Однако в интересах науки не следует также оставлять без внимания те случаи, когда налицо лишь некоторые элементы языкового союза или остатки таких элементов, но сам союз в силу исторических условий не сложился. Ниже мы еще коснемся примеров подобного рода.

Создатели лингвистической географии вполне отдавали себе отчет в том, что для глубокого изучения языковых отношений на территории одного какого-либо языка необходимо привлечь исследования по лингвистической географии соседних территорий. Так, для лингвистической

---

[1] См.: M. Bartoli, Introduzione alla neolinguistica (Principi — Scopi — Metodo), Génève, 1925; V. Pisani, Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee, 1933; его же, Geolinguistica e Indoeuropeo, 1940; W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, стр. 48—49, 53, 56—57 (названия недоступных мне работ Пизани привожу по данной книге Порцига); G. Alessio, Le lingue indoeuropee nell'ambiente Mediterraneo, Bari, 1955, стр. 140 и сл.

[2] K. Sandfeld, Linguistique balkanique. Problèmes et résultats, Paris, 1930, стр. 6, 165, 213 и сл.

[3] Б. А. Серебренников, Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой аттракции, ВЯ, 1957, № 4, стр. 4 и сл.; на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло (август 1957 г.) Б. А. Серебренников сделал сообщение «История языка и ареальная лингвистика».

географии Франции крайне важен лингвистический атлас Северной Италии. Проблема комплексного изучения лингвистической географии ряда смежных языковых территорий в Европе была, однако, во всей широте поставлена позднее немецкими учеными, которые обогатили лингвистическую географию применением принципа «слов и вещей», давшего прекрасные результаты. В. Песслер, опираясь на аналогичный собственный опыт в области изучения немецкой диалектной лексики, говорит об атласе лексической географии Европы, который бы опирался на европейский этнографический атлас, что создаст реальную основу для географии слов и вещей, охватывающей всю Европу[1]. Таким образом, разрабатывались предпосылки для всестороннего исследования происхождения и распространения слов, обозначающих предметы материальной культуры, в связи с самими предметами. Однако эта лексика еще не составляет всего словаря языка, и немецким лингвистам можно вменить в вину недооценку иных словарных групп. Важнейшие общие инновации языков одной культурной зоны могут касаться также таких элементов словаря, имеющих первостепенное значение в общении людей, как числительные, местоимения, различные служебные слова. Появление в различных языках Европы функционально и семантически близких кратких слов со значением «да», которые неизвестны в древний период истории тех же языков, А. Мейе проницательно объяснил взаимоподражанием в условиях близкой цивилизации[2].

Надо сказать, что в славянском языкознании принципы лингвистической географии не нашли по-настоящему широкого применения, в то время как славянские языки представляют богатейший материал для таких исследований. Поэтому единственной в своем роде представляется деятельность недавно скончавшегося польского лингвиста К. Нича. Творчески усвоив лучшие достижения французской и немецкой лингвистической географии, Нич большую часть своей жизни посвятил географии слов польского языка. Он рассматривал словарь как важный критерий языковой и диалектной классификации; расхождения в лексике между отдельными польскими говорами он исследовал с точки зрения истории и развития культуры. Необходимым условием при лингво-географических исследованиях словаря он считал выход за пределы одного языка, хотя удовлетворительному выполнению именно этого условия препятствовала недостаточная разработка лексикографии и географии слов других славянских языков. Ничу принадлежит ряд монографических этюдов по истории и географии названий некоторых животных, архитектурных частей дома, почти всегда с выводами относительно этимологии слов. Исследование польских диалектных вариантов слав. **vl'ga* «иволга» и **netopyrь* «нетопырь» можно привести как пример предельно точного изучения рефлексов праславянских форм, расшатанных многократными влияниями аналогии и народной этимологии.

В работах Нича история и география слов опирается на соответствующие сведения о вещах, что особенно ярко проявляется в исследованиях названий предметов материальной культуры, названий растений и деревьев: *gryka* «гречиха», *chaber* «василек», *jodła* «пихта», *świerk*, *smrek* «ель». Нич предпринял методологически важные попытки реконструировать географию отдельных праславянских слов; ср. пример **xъrь-* (откуда польск. *chaber*) в части западнославянских диалектов.

Непреходящую ценность и плодотворность отдельных наблюдений Нича для последующих исследований подтверждает недавно вышедшая книга польского этнографа и лингвиста К. Мошинского «Первоначальная территория праславянского языка».

[1] W. Pessler, Atlas der Wortgeographie von Europa — eine Notwendigkeit, «Donum Natalicium Schrijnen», Nijmegen — Utrecht, 1929, стр. 69 и сл.

[2] A. Meillet, Les interférences entre vocabulaires, «Linguistique historique et linguistique générale», 2-e éd., Paris, 1926, стр. 343 и сл. (то же — в издании «Linguistique historique et linguistique générale», t. II, Paris, 1936, стр. 36 и сл.).

Выдвигая в этой работе новую оригинальную гипотезу о первоначальном распространении праславянского языка в бассейне среднего Днепра, откуда он лишь впоследствии распространился к западу, в бассейны Вислы и Одры, Мошинский называет в числе важнейших аргументов результаты исследования Нича о названиях пихты и ели в польском языке. В этом исследовании 1931 г. Нич анализирует изменение значения праслав. *jědla*, *jědlь* «ель»> польск. *jedla* «пихта» при новом названии ели — *świerk*, *smrek*. К. Мошинский находит, что эти изменения и семантические перемещения могут быть объяснены лишь в том случае, если принять гипотезу о постепенном продвижении носителей праславянского языка из Подпепровья на запад. Обитая на этой первоначальной территории, носители праславянского языка не знали дерева пихты, и *jedla* означало известную им ель; позднее, в период экспансии в более западные районы, праславяне, познакомившись с пихтой, переносят на нее основное название ели, в то время как ель получает новое название на освоенных территориях, откуда, например, польск. *smrek*. Этому выводу как будто соответствуют и известные данные ботаники о границах распространения пихты (Abies alba). К сожалению, трудно решить, насколько ближе к объективной истине гипотеза Мошинского, резко расходящаяся с автохтонистской теорией польских лингвистов Л. Козловского, Т. Лера-Сплавинского, археолога И. Костшевского, антрополога Я. Чекановского. Однако и в том и в другом случае за польскими автохтонистами остается долг — объяснить факты географии славянских названий ели и пихты, на которые впервые обратил внимание К. Нич[1].

Традиции лингвистической географии, географии слов получили значительное развитие в польской славистике. Здесь следует назвать книгу Л. Мошинского «География некоторых немецких заимствований в старопольском языке»— интересный опыт реконструкции географии немецких заимствований на польских диалектных территориях в период до 1500 г.[2]. В серии «Монографии польских диалектных особенностей» вышел ряд полезных исследований, посвященных анализу конкретных форм и слов в свете лингвистической географии. Лингвистическая география остальных славянских языков разработана гораздо менее удовлетворительно. Монографические труды по географии слов или групп лексики представляют исключение, опыты комплексных исследований по лингвистической географии с привлечением данных истории и других смежных дисциплин фактически отсутствуют. Имеются суммарные характеристики диалектных различий в области лексики. Если выше на примере французской лингвистики приходилось говорить о практическом отождествлении лингвистической географии и географии слов, то здесь типичным пониманием лингвистической географии является наука о распределении фонетико-морфологических типов в рамках одного языка. Лексике, кроме суммарных обзоров, уделяется относительно небольшое внимание; недостаточно изучается движение слов и его исторические условия. Лингвистическая география этого типа исключает привлечение лексического материала смежных и родственных языков. Закономерным выводом из всего сказанного является констатация отсутствия исследований по этимологии на основе данных лингвистической географии. На практике это означает ущерб для этимологических исследований и обеднение смысла лингвистической географии.

Тезис лингвистической географии о возможности проникновения языковых инноваций через границы сложившихся языков и диалектов делает понятной важность изучения древних лексических различий близко родственных языков, с одной стороны, и их «сепаратных» этимологических связей с лексикой иных языковых групп, с другой стороны. Следует подчеркнуть, что имеются в виду не только и не столько заимствованные элементы в обычном понимании этого слова, сколько достоверные ранние диалектные различия в исконной лексике, например, праславянского языка. Это подтверждает первоочередное значение этимологических словарей отдельных славянских языков. Намечающаяся работа по со-

[1] Многочисленные работы, опубликованные К. Ничем в разное время, см. в. сб.: K. Nitsch, Studia wyrazowe, «Wybór pism polonistycznych», t. II, Wrocław—Kraków, 1955; см. также K. Moszyński, Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, Wrocław — Kraków, 1957, стр. 25 и сл., 58.

[2] L. Moszyński, Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie, Poznań, 1954.

ставлению общеславянского лингвистического атласа поможет, очевидно, многое выяснить в этом отношении. «Изоглоссы общеславянского атласа должны дать материал..., что особенно важно для изучения диалектных различий праславянского языка»,— указывает С. Б. Бернштейн. Он говорит также о необходимости привлечь при отборе для картографирования наиболее ранних лексико-семантических различий данные славянской этимологии[1]. Роль этимологического критерия при таком отборе несомненна, но следует также помнить, что этимологи вправе питать более корыстную заинтересованность в предприятиях, подобных общеславянскому лингвистическому атласу, а упомянутое картографирование призвано, по-видимому, дать этимологическому исследованию новый материал по ряду вопросов, в которых этимологии без помощи лингвистической географии далеко не все ясно.

В связи со сказанным выше представляются принципиально необходимыми попытки определить этимологические соответствия, охватывающие лишь часть славянских языков (или даже один язык, если древность сопоставляемого факта вероятна), с одной стороны, и какую-либо иную индоевропейскую группу, с другой. Сюда, например, относится проведенное В. Махком сравнение форм на *-ǫtj-* от прилагательного в некоторых славянских языках с аналогичными адъективными формами хеттского языка на *-ant-*: чеш. *bělúcí* — хет. *irmalanant* «больной»; вопросам охарактеризованных выше «сепаратных» этимологических соответствий посвятили ряд специальных этюдов М. Фасмер, И. Шютц, Г. Лант.

Закончив на этом рассмотрение истории вопроса, перейдем к обсуждению некоторых конкретных проблем на фактическом материале. В данной работе мы ограничимся следующими вопросами: этимология генетически родственных форм и лингвистическая география; ономастика и топонимия; заимствования и лексические интерференции.

Этимология и лингвистическая география связаны подчас отношениями тесной взаимозависимости, причем этимология может также вносить существенные коррективы в построения лингвистической географии, уточнять направление древних изоглосс и хронологию отдельных черт. Здесь имеются в виду древнейшие диалектные особенности лексики, которые могут быть с большой степенью вероятности сочтены исконными элементами. Этимология приобретает значение важнейшего критерия в опытах реконструкции географии слов в отдаленные эпохи.

Пример с названиями козы в некоторых индоевропейских диалектах весьма показателен в этом отношении. Индоевропейские названия козы довольно разнообразны, а это является уже достаточным основанием для того, чтобы привлечь внимание лингвиста. В. Порциг, касаясь разнообразия индоевропейских названий козы, полагает, что их распространение должно отражать диалектные связи древнейшей эпохи. Так, общее название объединяет италийские и германские языки: лат. *haedus*, сабинск. *fēdus*, гот. *gaits*, др.-в.-нем. *geiz* «коза, козел». Это соответствие приводится В. Порцигом в перечне италийско-германских изоглосс, исключающих кельтские, балтийские и славянские языки. Порциг указывает также, что среди частных соответствий отдельных групп диалектов между собой италийско-германские изоглоссы относятся к числу древнейших в индоевропейском. Славянский имеет особое название *koza*, балтийский является представителем распространенного восточного (индо-иранского) типа[2].

Однако этимологическое исследование позволяет обнаружить в западных и восточных славянских формах **žiml̥za*, **žimolzt̥ь* «растение Lonicera xylosteum», ср. русск. *жи́молость*, сложение рефлекса п.-е. **ghī(d)-*, **ghei(d)-* «коза» и слав. **ml̥zǫ* «дою, сосу»; отсюда предполагаемое значение **ži-ml̥za*, **ži-molzt̥ь* «козлячье горлышко», причем позднее это название метафорически перенесено на растение, двойные бутоны которого, кстати сказать, поразительно напоминают горлышко козленка[3]. Таким образом,

[1] См. текст доклада на IV Международном съезде славистов: Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн, Лингвистическая география и структура языка (О принципах общеславянского лингвистического атласа), М., 1958.

[2] W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, стр. 106 и сл., 114, 117.

[3] Подробнее см. O. N. Trubačev, Slawische Etymologien 10—23, ZfS, Bd. 3, Hf. 5, 1958.

мы видим, что названная выше италийско-германская изоглосса превращается в италийско-германско-славянскую изоглоссу. Далее,— и это чрезвычайно важно для относительной хронологии различных названий козы в славянском — италийско-германские соответствия гарантируют древность именно этого забытого названия козы в славянских языках, следы которого можно установить лишь косвенным путем. Что касается слав. *koza* и *azьno*, то первое из них, будучи общеславянским, одновременно оказывается совершенно изолированным среди прочих индоевропейских образований. Вместе с тем за пределами индоевропейских языков близкое название *käzä* (и подобные) «коза» распространено во всех тюркских языках. Не исключена возможность, что слав. *koza* является древним заимствованием из тюркского, получившим общеславянское распространение и вытеснившим более древнее название. Заимствование здесь допускал еще Корш. Форма *azьno* «кожа» представляется совершенно изолированной в славянском и ввиду наличия других, более распространенных названий кожи в славянском **skora* и **koža*, а также по причине точных соответствий в индо-иранском могла быть заимствована из иранских диалектов как отражение определенного культурного импорта.

Значительную важность принципы лингвистической географии приобретают при изучении ономастики, особенно частной ее разновидности — этнонимов. Наличие будто бы разрозненных и территориально не связанных древних племенных названий у славян — дулебы, сербы, хорваты — привело некоторых ученых к неоправданному скептицизму относительно возможности использования этих имен. Однако сохранение на различных частях славянской территории тождественных этнонимов говорит лишь об их связи и общем происхождении; ср. слав. **dudlěbi* — у части восточных славян, западных (чехов) и на юге Паннонии; **sr̥bi* — в Лужице и на Балканах; **xr̥vati* — у восточных, западных и южных славян. Прослеживание этнонима **xr̥vati* позволяет говорить о продвижении его носителей из Прикарпатской Волыни через чешские земли на Балканский полуостров; только о таком направлении распространения этнонима **xr̥vati* позволяет заключать его этимология как вероятного иранского заимствования. То же направление и приблизительно из того же исходного пункта имела экспансия носителей этнонима **dudlěbi*. И здесь на помощь приходит новая убедительная этимология этого имени, принадлежащая Р. Нахтигалю: **dudlěbi* < герм. *Dudl-eiba* «страна волынок» (: нем. *Dudelsack*), буквальный перевод слав. *Volynь* (: русск. *волынка*)[1]. Проверенные данные такого рода в отдельных случаях представляют основание для интересных этногенетических выводов. Прекрасным примером может служить объяснение названия области в центре Европейской России — *Мещера* как продолжающего древнюю форму венгерского этнонима *megyer/magyar*, что соответствует историческим сведениям об остатках венгров, оторвавшихся от основной массы венгров после удара печенегов и осевших в Восточной Европе.

Среди таких реликтов, несомненно, имеется много древнейших образований, которые пережили не один и не два языка, сменявших друг друга на данной территории. Известна способность этнонимов усваиваться носителями иного языка. Это важно учитывать для таких территорий, которые характеризуются непрерывностью культурной традиции, как, например, низменная равнина к югу от Балтийского моря до Судет.

Для части этой территории с древних времен известен этноним *лугии*, существующий до наших дней в виде названия области *Лужица*, населяемой лужицкими сербами. Известно толкование этого этнонима как исконно славянского образования от слав. *lugъ* «луг, низина». Под влиянием работ польских археологов, лингвистов и историков, доказывающих исконность славянского населения на Висле и Одре, это мнение сделалось преобладающим. В качестве специфически славянских примет указывались варианты этого имени *loug-/long-*, встречающиеся в древних источниках и в то же время присущие только славянскому языку.

Германисты, исходя из германского характера ряда этнонимов, известных древним авторам в Восточной Германии, считают обычно *лугиев* германским племенем с германским же названием от основы герм. **lugjan-* «лживый» или гот. *liuga* «брак»,

[1] R. Nahtigal, *Dudleipa — Dudlěbi*, «Slavistična revija», letn. IV, 1—2, 1956, стр. 95—99.

т. е. «союзники»[1]. Историки языка забывали при этом, что под одним и тем же именем *лугиев* в разные исторические эпохи могли фигурировать германцы, затем славяне, но от этого допущения еще очень далеко до признания самого этнонима славянским или германским образованием. Источники сообщают следующие формы имени: Λού(γ)ιοι (Страбон), Λούγιοι (Птолемей), Λύγιοι (Дион Кассий), *Lygii*, *Ligii* (Тацит), Λογίωνες (Зосим). Вряд ли можно в поздней форме *Long-* усматривать древний вариант с носовым согласным, свойственный якобы только славянскому. Очевидным остается факт, что римляне услышали это название из уст германцев. Все ранние формы названия указывают, если отсечь греческую или латинскую флексию, на **lugi-*, как звучало это имя, очевидно, в произношении германцев. Существенным, далее, обстоятельством является то, что этноним **Lugi*, кроме упомянутой территории в Восточной Германии, в других частях Германии не был известен.

Некоторые лингвисты, сознавая сомнительность германского или славянского происхождения этого имени, производят его из языка кельтов или иллирийцев. Интересно отметить существование в Восточной Германии, точнее — в самом Поморье, древнегерманского племени, известного под названиями *Lemovii* или *Glomman*, собственно древние фигуральные названия волков, или прямо *Wulfingas*, др.-сканд. *Ylfingar* «волки, род волков». Германские названия *Lemovii* и *Glomman* продолжают в видоизмененной форме жить в этнонимах позднейших славянских насельников Восточной Германии — *лемузов* и *гломачей*, расположение которых указано на карте западных славян при книге Л. Нидерле «Руководство по славянским древностям». Гломачи и лемузы занимали северные склоны Судет, вблизи лужичан. Можно думать, что и древнегерманские *Glomman* (*Lemovii*) находились в непосредственной близости от **Lugi*. Этимологически прозрачные германские *Glomman* (*Lemovii*) могли быть первоначально просто переводами более древних местных названий, точное значение которых было усвоено в условиях двуязычия, предшествующего ассимиляции. Этим местным названием могло быть темное **Lugi*, отражающее, возможно, старое ударение по закону Вернера: **lugí-* < **luh$^{\omega}$i-* < **luk$^{\omega}$ i-*. Исходная до германская форма, испытавшая затем на себе германское передвижение согласных, была, вероятно, тождественна др.-инд. *vṛki-ḥ* «волчица». Таким образом, возникает гипотеза о существовании здесь до германской колонизации племен с названием от древнего женского тотема волчицы. С юга к описанной территории примыкала область вероятного древнего распространения иллирийского языка, который, однако, имел иное название волка, сохраненное в алб. *ulk*, ср. иллирийск. *Ulcisia castra* в Паннонии; в кельтских языках на старое название волка было, видимо, рано наложено табу, но, судя по галльскому этнониму *Volcae*, оно также имело несколько иную форму. Поэтому предположение о причастности кельтского или иллирийского языков к образованию праформы этнонима *Lugi* не представляется обязательным. С другой стороны, связь с более поздними прозрачными этнонимами на общей территории позволяет говорить как раз о значениях «волк, волчица» для этого древнего названия.

Возможно, далее, что реконструируемая архаическая форма этнонима **Luk$^{\omega}$i-* имеет близкие по форме, исходному значению и употреблению в качестве этнонимов соответствия в таких периферийных реликтах, как названия древних индоевропейских народностей и языков в Малой Азии: *Lukki* «ликийцы, Ликия», *luwi* - «лувийский». Во всяком случае давно существует гипотеза об этих двух последних названиях как рефлексах индоевропейского названия волка, однако далеко не все исследователи признают ее вероятной[2]. Гипотетический этноним **Luk$^{\omega}$í*, существование которого можно допустить у части древнеиндоевропейских племен, объясняется из и.-е. **luk$^{\omega}$os*, древнего варианта и.-е. **u̯l̥ k$^{\omega}$os* «волк».

---

[1] См. L. Niederle, Rukověť slovanských starožitností, Praha, 1953, стр. 101, 104, 106; T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946, стр. 141—142, 222—224; его же, O starożytnych Lugiach, «Slavia antiqua», t. I, 1948, стр. 261 и сл.; K. Tymieniecki, Lugiowie w Czechach, «Przegląd zachodni», rok. VII, № 5—6, 1951, стр. 131 и сл.; его же, Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze, Poznań, 1951, стр. 632; германцами лугиев считали А. Брюкнер и некот. др. См.: A. Brückner, Początki Słowiańszczyzny Zachodniej, «Slavia», ročn. I, seš. 2—3, 1922, стр. 383; R. Much, см. «Reallexikon der germanischen Altertumskunde», hrsg. von J. Hoops, Bd. III, Strassburg, 1915—1916, стр. 168.

[2] A. Ungnad, Luwisch=Lykisch, «Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete», Bd. XXXV (Neue Folge, Bd. I), Berlin und Leipzig, 1924, стр. 1 и сл.; R. von Kienle. Tier-Völkernamen bei indogermanischen Stämmen, «Wörter und Sachen», Bd. XIV, 1932, стр. 39 и сл.; E. Laroche, Problèmes de la linguistique asianique, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», IX, année 1949, Paris, 1950, стр. 73; B. Rosenkranz, Beiträge zur Erforschung des Luvischen, Wiesbaden, 1952, стр. 3; H. Otten, Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen. Untersuchung der Luvili-Texte, Berlin, 1953, стр. 59, 109; H. Kronasser, Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen, Heidelberg, 1956, стр. 15; см. рецензию на последнюю книгу: E. Laroche, BSLP,

При исследовании подобных имен, как и вообще в поисках этимологических решений, обращение к свидетельствам археологии должно стоять не в начале, а в конце исследования. Можно согласиться с теми учеными, которые утверждают, что чрезмерное доверие предметам материальной культуры, найденным при археологических раскопках, обедняет специфику лингвистического исследования, равносильно предвзятому суждению и столь же вредно в методологическом отношении. Осведомленность в достижениях истории материальной культуры, археологии необходима этимологу, но его главной задачей является использование всех возможностей, заложенных в языкознании как таковом. Так, например, нельзя не признать известной правоты К. Мошинского, который критикует лингвиста Т. Лера-Сплавинского за неумеренное пользование нелингвистическими данными, повлиявшими на случайный подбор гидронимов. В какой-то мере симптоматичным находит К. Мошинский отзыв И. Костшевского, в котором этот археолог с удовлетворением отмечает, что этимолог Лер-Сплавинский в своих суждениях об этнонимах *Lugii*, *Mugilōnes*, *Oueltai* основывается не на этимологических аргументах, а на факте расположения этих этнонимов в области культуры ямных погребений[1]. Подвергнув критическому анализу чисто лингвистические факты, мы, напротив, должны будем отнестись внимательно к указанию антропологов о скрещении на территории Лужиц и в Судетах двух раннеисторических антропологических экспансий: старшей — германской и младшей — славянской, напластовавшихся на местной архаической антропологической почве[2].

При всей важности рассмотренных выше проблем основным вопросом этимологических исследований в плане лингвистической географии является исследование заимствований и языковых интерференций в целом. Эта крупнейшая проблема отличается значительной сложностью и распадается на целый ряд более частных проблем в зависимости от характера исследуемого материала.

Критерий распространенности слов всегда влияет на результат этимологии; ограниченное распространение слова очень часто служит признаком заимствования из иного языка. Конечный результат этимологии зависит от того, подтвердят или не подтвердят остальные аргументы этимологического исследования это свидетельство ограниченности территориального распространения. Этимология В. Махка польск. *kobieta* «женщина» < ст.-нем. *ga-betta* «сожительница» весьма вероятна потому, что, помимо безукоризненных фонетических и семасиологических аргументов и правдоподобного исторического объяснения, она поддерживается соображениями географии слова. Во всяком случае эту этимологию можно предпочесть другим объяснениям — исконнославянскому происхождению или заимствованию из финских языков[3]. Проблематика заимствований имеет в каждом языке свое лицо. Среди заимствованных слов украинского языка имеется ряд элементов румынского происхождения. Наличие этих слов обычно характеризует юго-западные диалекты, и лишь некоторые из них охватили большую часть территории украинского языка, как, например, *ма́йже* «почти», продолжающее форму *май*, ограниченную упомянутыми диалектами и непосредственно заимствованную из рум. *mai*. Распространение слова на ограниченной территории играет решающую роль для этимологии, особенно в тех случаях, когда заимствование хорошо приспособилось к фонетико-морфологической системе заимствовавшего языка и не выделяется из общей массы словаря.

---

t. 52, fasc. 2, 1957 («Comptes rendus 1956»), стр. 26; о хеттском *uetna-* «волк» см. J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, Lf. 3, Heidelberg, 1953, стр. 254; несомненно, что это новое слово заменило в силу каких-то причин старое название волка.

[1] K. Moszyński, Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, стр. 305 и сл., 312.

[2] J. Czekanowski, Wstęp do historii Słowian, 2-e wyd., Poznań, 1957, стр. 332 — 333.

[3] V. Machek, Germano-slavische Wortstudien, «Časopis pro moderní filologii», roč. XXVI, č. 1 (1939), 1940.

Точность этимологии во многом зависит от степени точности диалектной локализации заимствования. Название германской столицы А. Брюкнер производил от славянского местного названия *Berla*, так же объясняет *Berlin* и М. Фасмер[1]. Однако наиболее вероятная этимология имени *Berlin* была предложена чехословацким историком Д. Д. Прохаской, который объяснил *Berlin* < *Bedlin* «сторожевой пост», ср. др.-чеш. *bedliti* «быть бдительным, караулить». Наличие согласного *r* в *Berlin* Прохаска в основном правильно поставил в зависимость от известного в немецком языке диалектного ротацизма *d* > *r*, охватывающего северные и восточные области Германии. Именно в этих немецких диалектах слав. *Bedlin* дало *Berlin*[2].

Выяснение действительных путей проникновения заимствованного слова особенно важно и вместе с тем особенно затруднительно в том случае, когда заимствование, основной лингвистический источник которого в общем не оставляет сомнений, обнаруживает в пределах славянских языков четкие фонетические варианты с различными ареалами распространения.

Весьма красноречив следующий пример. Болг. *клашни́к* «накидка, верхнее платье из грубой ткани», сербскохорв. *кла̏шња* «вид чулка», *кла̏шње* «редкое сукно» объясняется как заимствование из ср.-лат. *calcia* «чулок, башмак». К этому же самому источнику возводятся словенск. *hlǎča*, мн. число *hlǎče* «штаны», *hlǎčica* «носок», сербскохорв. *хла̏че* мн. число «штаны», диал. *хла̏ча* «чулок». Однако различие в фонетическом облике между этими двумя группами слов является слишком очевидным. Поэтому П. Скок указал на возможность заимствования словенской и сербскохорватской форм с начальным *h* непосредственно из фриульск. *tχaltse*. Интересно отметить, что именно к этой последней группе примыкает не привлекавшееся как будто в этой связи ранее укр. *холо́шні* «зимние штаны из толстого белого сукна» (в волынских говорах), *холо́ші* мн. число «штаны», *холо́ша* «штанина». Пример данного романского заимствования поучителен также как показатель проникновения слова одновременно с определенным культурным влиянием.

Для правильной оценки этого влияния большую ценность представляет исследование К. Яберга[3]. В раннюю эпоху *calcea* «чулок» фигурирует во всех романских языках, кроме румынского, а это значит, что оно образовано в Западной Романии после III в. н. э. Старый тип *calcea* с давних времен опоясывает Альпы. Тонкие, особенно вязаные чулки служили предметом экспорта и вместе с названием распространялись за пределы романской территории. Новшеством является развитие у *calcea* значения «штаны», причем центром распространения этого новшества, как и эволюции самого предмета, была Северная Франция, откуда новое значение *calcea* проникло в культурные центры Италии и в результате охватило северную часть Каталонии, Беарн, часть Гаскони и Лангдока, Руэрг, восточную часть Лотарингии, французскую и ретороманскую Швейцарию и часть Северной Италии. Вся эта территория представляет тип *calcea* «штаны». Культурной иррадиации именно этой лингвистической территории следует приписать появление названных выше заимствований со значением «чулки, штаны» в словенском и — частично — сербскохорватском языке. Эта иррадиация проникает глубоко на восток, чем объясняется наличие слов *холо́шні*, *холо́ші* «штаны» в украинском языке. Значительный возраст этих заимствований в украинском косвенно подтверждает венгерский язык, получивший из украинского языка слово *harisnya* «чулок» (<укр. *холошня*). Значение венгерского слова указывает, что и в украинском это слово имело первичное значение «чулок», в настоящее время не известное говорам украинского языка.

В данный момент для нас прежде всего важен вывод, что непосредственным источником заимствования, охватившего словенский, часть сербскохорватского языка, а также украинский язык, с самого начала письменного периода истории уже не имеющий непосредственных границ с этими двумя языками, послужила форма, близкая фриульск. *tχaltse* или ретороманск. *chotscha* (энгадинск. *chautscha*). Остальная часть сербскохорватской языковой территории и территория болгарского языка, где близкие слова имеют некоторое отличие в значениях, а главное — продолжают иной фонетический тип с начальным *k*-, получили эти формы, несомненно, из иных диалектов, возможно из балканороманского.

---

[1] A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, стр. 21; M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953, стр. 80.

[2] Д. Д. Прохаска, «Берлин» от славянского «Бедлин»— сторожевой пост, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 4, стр. 351 и сл.; В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 294—295.

[3] K. Jaberg, Zur Sach- und Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania, «Wörter und Sachen», Bd. IX, Hf. 2, Heidelberg, 1926, стр. 137 и сл. (там же имеется ссылка на P. Skok, ZfromPh, Bd. 36, 1912, стр. 641—646).

Этимологическое исследование заимствованных слов дает также новый материал для реконструкции географии слов в различные исторические эпохи, как и вообще для уточнения различных изоглосс. Особенно интересные примеры здесь можно назвать из лексики венгерского языка. Венгерский язык, обосновавшийся с IX в. в бассейне Среднего Дуная, где до этого времени население говорило на различных индоевропейских языках, должен был, согласно общему правилу, отмеченному лингвистической географией, отразить и сохранить отдельные слова и формы вытесненных языков. При этом, как обычно бывает в подобных случаях, подчас в виде заимствований сохраняются формы, совершенно оставленные языками-источниками в ходе их дальнейшего развития, что повышает значение этих свидетельств также для истории языков-источников. Так, славянские языки, можно сказать, не знают парного образования женского рода со значением «кобыла» от существительного *конь*. Однако именно венгерский язык имеет слово *kanca* «кобыла», которое закономерно продолжает слав. **konjica* с этим значением. И. Книежа не может при этом указать никаких следов этой славянской формы в подавляющем большинстве славянских языков, кроме одного моравского диалекта, где есть слово *konica*, *konice*, но он правильно заключает о возможном гораздо более широком распространении слав. **konjica* «кобыла» в древности, особенно если учесть продуктивность форманта *-ica* в южнославянских языках[1]. Если мы добавим сюда еще ст.-укр. *коница* в значении «equa, кобыла», встречаемое в Лексиконе Памвы Берынды в качестве перевода имени (Ксанѳíппа, ры́жаа ко́ница), то праславянская изоглосса **konjica* «кобыла» в какой-то мере обретает свою реальность.

Лексика венгерского языка содержит отдельные указания о словарном составе исчезнувших языков Дунайского бассейна; ср. устаревшее венг. *tót* «словак», ранее известное как широкий этноним, обозначавший всех славян королевства Венгрии — словаков, хорватов (кроме сербов), которое Я. Мелих убедительно объяснил как иллирийское слово. Венг. *tót* продолжает иллирийск. **touta*, **teuta* «народ, племя», отразившееся в массе топонимики и ономастики иллирийского происхождения: *Tautantum*, τρι-τεύτα, *Teutmeitis*, *Teutana*. Ввиду скудости источников иллирийского языка это достоверное свидетельство венгерского языка имеет значительную ценность, и отсутствие, например, упоминаний о венг. *tót* в специальном исследовании Г. Крае об иллирийском языке следует отметить как недостаток[2].

Лингвистическая география, точнее — ареальная лингвистика, исследующая иррадиации различных лингвистических явлений и интерференции языков, размещенных на смежной территории, должна постоянно учитывать также различные исторические факторы, которые в конечном счете обусловливают все явления, изучаемые лингвистической географией.

Особенное значение для лингвистической географии имеет изучение следов влияния таких крупных культурно-политических центров, как, например, Моравия,— так называемое государство Само (VII в.), Великоморавское государство (IX в.). Здесь в первую очередь воспринимались, осаживались или получали дальнейшее распространение среди славян немецкие влияния. Моравия представляет собой важнейший естественный коммуникационный путь, которому, по отзывам этнографов, западные славяне обязаны многими чертами близости материальной культуры к культуре населения Средней и Южной Германии.

---

[1] Kniezsa I., A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I kötet, 1 rész, Budapest, 1955, стр. 247.

[2] Melich J., A honfoglaláskori Magyarország, Budapest, 1925—1929, стр. 417—422; ср. H. Krahe, Die Sprache der Illyrier, Tl. I: Die Quellen, Wiesbaden, 1955, стр. 60—61, 72, 114 и сл.

Весьма вероятно, что результатом германо-славянской языковой интерференции является также неопределенное местоимение: чеш. *žádný*, словацк. *žiaden*, польск. *żaden* «ни один, никто».

Ф. Миклошич, Я. Гебауэр, К. Э. Мука, А. Мусич, Ф. Оберпфальцер объясняли эти слова из основы **žęd-* «жаждать, желать». Аналогичные наблюдения находим в работе покойной молодой лингвистки Е. Галиковой [1]. Описанная этимология является общепринятой в чехословацком языкознании [2]. Другая часть ученых, занимавшихся названными словами, придает принципиальное значение формам типа др.-чеш. *nižádný*, др.-польск. *niżadny* с тем же значением, объясняя их, а через них и упрощенные *žádný*, *żaden* как продолжение древнего **ni-že-jedьnъ*, где *že* играет усилительную роль. Так объясняют эти формы В. Ягич, Я. Отрембский, А. Брюкнер, А. Вайан, Р. Нахтигаль [3].

Прежде чем делать вывод об этимологии, следует обратиться к истории разбираемых слов. Ф. Оберпфальцер указывает на особую популярность в древнечешском языке формы *i jeden* «ни один» или просто *jeden* в том же отрицательном значении; с середины XIV в. в этой функции употребляется *i žádný* наряду с *žádný*, в то время как *nižádný*, по мнению Оберпфальцера, в наиболее древних памятниках выступает относительно редко. Материал по истории современного словацк. *žiaden* крайне невелик. Можно указать форму *nižádný*, которая, собственно, является древнечешской, в деловом письме 1455 г., составленном в Земплинском комитате, в Восточной Словакии. Так называемая «Жилинская книга», крупный памятник XV — начала XVI в. с определенными словацкими чертами, содержит только формы *žádný* — nymant, keyn; *žiadny*. В польском языке можно указать следующие данные: Флорианская псалтырь (XIV в.) не имеет форм *żaden*, *żadny*, *niżadny* и употребляет в их значении слово *jeden*: ... *jeden z nych ne zostaal* (псалом 105,12). Начиная с древнейших памятников, употребляется также *nijeden* — Свентокржижские проповеди XIV в., Гнезненские проповеди XIV в., Познанские судебные присяги XIV в., «Перемышльское размышление» XV — начала XVI в., Шарошпатацкая библия королевы Софии 1455 г., «Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej» 1544 г., Кодекс Святослава, или Пулавский, XV в., Кодекс Дзялынских XV в., Кодекс Страдомского (начало XVI в.), Легенда о святом Алексее XV в. Форма *niżadny* употребляется в Гнезненских проповедях (наряду с *nijeden*), Шарошпатацкой библии; *ani żadny* — в варшавских судебных протоколах и присягах XV — XVI вв.; с XV в. широко представлено в различных памятниках *żadny*, *żaden*.

Прежде чем закончить краткий обзор истории западнославянских форм, следует специально остановиться на фактах украинского языка. Выражение «ни один» выступало на протяжении истории украинского языка в следующих формах: в древнейших украинских грамотах широко употребляется *ни ѡдинъ*; так, изданные В. Розовым грамоты XIV — первой половины XV в. совершенно не знают форм типа *жаден* в этом значении. В той же функции употребляется в этом сборнике грамот слово *никстерый*. Впрочем в других украинских грамотах уже довольно рано появляются формы типа *жаден*: *жаднсѣ милости* (1347); *жаденъ жидъ не маетъ присягати* (1388). В дальнейшем *жаден* приобретает право преимущественно употребляемой формы и сохраняется до настоящего времени, но с XVII в. засвидетельствовано *жоден*, давшее впоследствии общенародное и литературное укр. *жóдний* «ни один». Исконной формой, соответствующей выражению значения «ни один» также в русском языке, является только ст.-укр. *ни ѡдинъ*. Грамоты, в которых она широко встречается, написаны на церковнославянском языке, но изобилуют чертами живого украинского языка. К числу последних относится, несомненно, и *ни ѡдинъ*, представляющее собой чисто восточнославянское образование, отличное от др.-польск. *nijeden* или от церковнославянской по происхож-

---

[1] За ценные указания по литературе вопроса приношу благодарность проф. В. Махку.

[2] K. E. Mucke, Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache, Leipzig, 1891, стр. 396; J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, díl III, Tvarosloví. 1. Skloňování, Praha, 1896, стр. 292; A. Musić, «Rad Jugoslav. Akademije», knj. 224, 1921, стр. 201 [цит. по Fr. Ilešić, Severnoslovenski «*žaden* (*žadny*)», «*žádný*» i slovenački «(*n*)*obeden*», «Јужнословенски филолог», књ. VI, Београд, 1926/1927, стр. 264—265]; F. Oberpfalcer, Negace *žádný*, «Časopis pro moderní filologii», roč. XII, 1926, стр. 204 и сл.; E. Haliková, K otázce obecného záporu v češtině, «Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura», IV, 1957, стр. 19—23; J. Holub, Fr. Kopečný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1952, стр. 441; V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, стр. 590.

[3] V. Jagić, AfslPh, Bd. V, 1881, стр. 161—162 и сноска на стр. 162—163; J. Otrębski, «Język polski», XI, стр. 179 и сл. [оба автора цитируются по вышеуказанной кн: Fr. Ilešić, Severnoslovenski *žaden* (*žadny*) ..., стр. 264—265]; A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1927 (2-e wyd., Warszawa, 1957), стр. 660; A. Vaillant, Notules. — II. Slovène (*n*)*obéden* «aucun», RÉSl, t. XI, fasc. 1—2, 1931, стр. 66; R. Nahtigal, Slovanski jeziki, 2 izd., Ljubljana, 1952, стр. 246.

дению формы *ни един* в аналогичных более поздних деловых документах: *ни за един* — грамота молдавского господаря Петра 1591 г.; *ни единого*—в сочинениях Ивана Вишненского (XVI — начало XVII в.). Форма *жаден*, отмечаемая в украинских грамотах уже с первой половины XIV в., является прямым заимствованием из польского языка; самый факт документированного наличия этой формы в украинских памятниках представляет немалый интерес для истории этой формы в польском, особенно если учесть, что сами древнепольские памятники XIV в. не дают достаточно ясного представления о степени употребляемости польск. *żaden*. Заимствование последней формы староукраинским языком еще накануне аннексии Западной Волыни и Галичины Польшей говорит о широком распространении и жизненности формы *żaden* в древнепольском языке XIV в. и в предыдущую эпоху. Заимствование говорит также о том, что уже к этому времени в польском языке форма *żaden* успела проделать эволюцию (о деталях которой — ниже), в то время как изучение одних лишь польских памятников говорило бы как будто в пользу более позднего распространения и утверждения формы *żaden* как таковой. Ценные свидетельства украинского языка лишь подтверждают заимствованный характер формы *жаден*. Если вычесть эти украинские и аналогичные заимствованные белорусские формы, будет ясно, что мы имеем здесь дело с западнославянскими образованиями, не имеющими соответствий в остальных славянских языках.

Вопрос генезиса польских и связанных с ними украинских и некоторых других форм имеет решающее значение для определения развития относящихся сюда западнославянских форм в целом. Это тем более важно, что преимущественное внимание к чешским фактам, вероятно, может в данном случае представить в неверном освещении факты прочих языков, особенно если отдельные конкретные наблюдения над чешским материалом распространяются без достаточных оснований на остальные близкие языки. Древнечешские памятники имеют много примеров значения *žádný* «desiderabilis, желанный», однако это следует признать специфически чешской семантической эволюцией исходной формы и значения * *žędьnъ*, русск. *жадный* «исполненный жажды, желания». Формы *žádný* «ни один» и *žádný* «желанный» в итоге чешского фонетического развития оказались омонимами, причем новое, объективное значение второго из них дополнительно способствовало их сближению в чешском, чем объясняются некоторые затруднительные случаи, также представленные в богатой статье Оберпфальцера, в которых как бы имеются налицо элементы и одного и другого значения омонимов. Однако объяснять *žádný* «ни один» < *žádný* «желанный» значит констатировать лишь народную этимологию, прочно вошедшую в данном случае в сознание носителей чешского языка. Говорят ли факты остальных языков в пользу этой этимологии? Лингвисты, принимающие объяснение *žádný* < * *žędьnъ*, видят в польск. *żaden* чехизм, одновременно указывая на наличие носового *ą* в исконных древнепольских примерах: *ząd̨ny*. Однако данное обобщение неправомерно, так как *żadny*, *żaden* представлено огромным количеством примеров, в том числе в деловых записках, весьма далеких от чешского влияния. Написания *żadny* и *ząd̨ny*, *żeden* нередко производят впечатление графических вариантов, так как сосуществуют подчас в одной и той же фразе. Ср. в судебной записи Варшавской земли под годом 1548: ... *nymaya nassya zadnych praw wsadzie zadnym wzywacz* ... (и ниже:) *nyma ząd̨ny ząd̨nemu przeskadzacz* ... В высшей степени сомнительно, чтобы здесь бок о бок употреблялись заимствованная чешская и исконная польская формы. Разобранные выше факты староукраинского языка отражают с самого раннего времени только польск. *żaden*. Трудно предположить такое полное искоренение исконных польских форм и замену их чешскими. Сторонники этимологии *žádný* < * *žędьnъ* ссылаются, далее, на наличие носового в соответствующих кашубско-словинских формах. Однако кашубские диалекты имеют только *žôden*, *ńižôden*. Словинские диалекты, действительно, знают формы *žõu̯dĕn*, *ńižõu̯dĕn*, но совершенно очевидно, что носовой тембр гласного представляет здесь диалектное развитие $\bar{a} > \bar{o}$ перед носовым согласным в косвенных падежах типа *žõu̯nâ* (род. пад., ед. число, муж. род); ср. севернопольск. диал. *ʒa͡nno̞ goyry* (вин. пад., ед. число). Наряду с этим словинский сохранил формы с чистым гласным: *ńižõu̯dĕn*, *žõu̯dĕn*.

Из прочих западнославянских форм ср. н.-луж. *žeden*, в.-луж. *žadyn*. Можно полагать, что полабский язык не употреблял форм типа *žaden*, *nižaden*. Скорее всего, в этой функции выступала форма типа *nijeden*; ср. один не вполне удачный пример из глоссария И. Парум Шульце: *nie jang nie jaddahn Deffca = ist nicht eine Dirne*.

Что касается общего направления развития форм типа *žaden* в рамках очерченного западнославянского языкового пространства, его нужно представить в согласии с частью исследователей (о которых — выше) следующим образом: *nižaden* → *žaden*. Современные чешский, словацкий, польский языки и диалекты этих языков сохранили только этап *žáden*, но памятники письменности свидетельствуют, что раньше им был известен также этап *nižaden*. До настоящего времени сохраняют этап *nižaden* кашубско-словинские диалекты, что не является инновацией и должно быть отнесено к числу важных периферийных реликтов этой весьма архаической группы диалектов. Итак, значительная часть западнославянских языков оказывается охваченной формами, исторически восходящими к общему типу *nižaden*. Оценка этой формы как таковой и сравнение с состоянием в остальных славянских языках позволяет в свою очередь рассматривать тип *nižaden* как инновацию, общую для большинства западнославянских языков. Относительно вероятного времени возникновения и распростра-

нения этой инновации можно сослаться на мнение Я. Станислава, который относит словацк. *žiaden*, чеш. *žádný* и др. наряду с другими западнославянскими инновациями к эпохе Великоморавского государства IX в., когда почти все западные славяне находились в пределах одного государственного объединения[1].

Лингвисты, исследовавшие форму *nižaden*, обычно сразу пытались объяснить ее возникновение участием тех или иных морфем. Характерно, что при этом никто в сущности не ставил вопроса, почему состоялось такое обновление выражения «ни один» в данных языках, а между тем этот вопрос важен и интересен в различных отношениях. Одной из типичных особенностей польского языкового развития является стяжение гласных, приводящее к образованию новых долгих *ā*, *ē*. Можно думать, что слав. **ni edьnъ*, представлявшее собой довольно стойкое сочетание, неизбежно должно было в прапольских диалектах подвергнуться стяжению с результатом *ē*: *nijeden*> **n'ēden*, что, по-видимому, вредно сказалось на устойчивости всей формы, так как прежде всего нарушило ее четкую связь с *jeden*. Это обстоятельство, а также, видимо, аналогичные явления в прачешском вокализме и послужили необходимым условием для морфологического обновления выражения «ни один» — условием, которое до сих пор как-то игнорировалось. Обновление могло вначале возникнуть на сравнительно ограниченной части территории древних западнославянских диалектов и уже затем охватить значительную часть этой территории. Следующий вопрос — природа морфологического обновления выражения «ни один» — находился постоянно в центре внимания исследователей, правда, в несколько ином плане. Форма *ni-že-jeden*, которую часть лингвистов не без основания считает исходной для *žaden*, *žádný*, допускает вероятность определенного внешнего импульса, а именно — влияния тоже новообразования на соседней немецкой языковой территории — франк. *nig-ein* и др., о которых подробно ниже, новообразования, которое столь характерно по сравнению с рефлексом праслав. **ni edьnъ* в польском и чешском, терявшим морфологическую четкость, необходимую в условиях парного употребления.

Известно, что не всякая этимология зависит от результата специального лингвогеографического анализа ее материала. Но несомненны случаи, когда ошибочность или просто сомнительность попыток прямолинейного объяснения фактов спонтанным происхождением становится очевидной только благодаря лингвистической географии, которая проливает новый свет на уже известные факты. Влияние франк. *nig-ein* на западнославянские формы предполагает определенную легкость взаимопонимания, славяно-немецкое двуязычие, при котором *ein* машинально переводилось, в то время как влияние первой части *nig-ein* осуществлялось при участии на славянской почве народной этимологии и неизбежных звуковых субституций. Параллелизм новообразования и средств его осуществления на немецкой и западнославянской почве поразителен.

Совершенно противоречит как будто исходному пункту наших рассуждений о судьбе *ni edьnъ* в западнославянских языках наличие именно форм *nijeden* — и притом в большом количестве — в различных древнепольских и древнечешских памятниках. Однако этот пример лишний раз демонстрирует необходимость тщательного анализа относительной хронологии развития форм. Все время, пока тенденция стяжения оставалась живой, *nijeden* было невозможно фонетически, но как только она потеряла силу, возможность сочетания элементов *ni* + *jeden* снова оказалась реальной и была осуществлена в речи. Весь этот эпизод борьбы форм мог разыграться в дописьменном польском языке. Видимо, так нужно понимать ту сложную картину, которую мы застаем в памятниках польского языка: *nižaden* (*nižadny*, *žadny*), а рядом с ним *nijeden*. Первое из них можно признать инновацией эпохи Великоморавского государства, в то время как второе — *nijeden*,— по-видимому, не может считаться прямым рефлексом праслав. **ni edьnъ*, но лишь в точности повторяет последнее в новых условиях звуковой системы польского, resp. чешского языка. Точно так же, например, **ne je*, прапольск. *nie je* «non est, non» дало фонетически закономерно польск. *nie* в этом значении, а с ослаблением описанной тенденции снова оказалось возможным сочетание *nie jest*. В Флорианской псалтыри находим уже оба случая: псалом 13,1: *Rzekl iest szaloni na serczu swoiem: ne boga*. (псалом 13) 2: *...ne iest asz do iednego*.

Таким образом, в истории выражения «ни один» в западнославянских языках наблюдается интересная эволюция форм: 1) кризис общеславянского **ni edьnъ*; 2) инновация *niže-jeden*, вытеснившая старое выражение (сюда же закономерные этапы ее собственной эволюции: *ni-žaden*, *aniž aden*, *žaden*); 3) новообразование *nijeden*, до известной степени соперничающее с *žaden* и иногда заменяющее его в стилистически оправданных случаях, ср. *ani jeden* как более сильное выражение вместо *žaden* в польском. В образовании *niže-jeden*, мы, по-видимому, имеем дело с общей инновацией различных языков. В каждой инновации, охватывающей несколько языков, обязательно присутствует элемент заимствования, тем не менее между общей морфологической инновацией и лексическим заимствованием имеется существенное различие. Инновация предполагает элемент языкового союза. Выделить *nig-ein* — *niže-jeden* как общую инновацию принципиально важно тем более, что речь идет о сравнительно поздней эпохе (до IX в.

---

[1] J. Stanislav, Dejiny slovenského jazyka, I. Úvod a hláskoslovie, Bratislava, 1956, стр. 123.

включительно), когда реальным выражением взаимодействия соседних германских и славянских языков обычно считается только лексическое заимствование.

Исследователи немецких заимствований в польском почти единогласно отмечают, что польский язык преимущественно черпал немецкие заимствования не из близкого нижненемецкого, а из верхненемецкого или — точнее — восточносредненемецкого. Сравнение зап.-слав. *nižejeden* с немецкими образованиями опять-таки указывает на средненемецкую языковую область, поскольку, как увидим ниже, именно там нужно локализовать формы типа др.-сакс. *nig-ēn*.

В то время как Средняя Германия явилась политическим ядром Франкского государства, Северная (Нижняя) Германия оставалась на положении окраины, испытывавшей в раннее средневековье значительный отток населения — на острова или в районы непосредственной близости культурно развитых областей. Исторический центр Франкского государства — Рейнская и Средняя Франкония — становится, по свидетельству историков немецкого языка, также центром иррадиации важных языковых влияний, что выражается в распространении за пределы этих областей языковых особенностей первоначально чисто местного значения. Языковые особенности франкского происхождения прослеживаются на территории Вестфалии, в южнонемецких письменных памятниках.

В этой связи большой интерес представляет история и география выражения «ни один» на территории немецкого языка. Современные господствующие формы — н.-в.-нем. *kein*, гол. *geen* — отнюдь не являются общегерманскими, они не представляют собой даже общезападногерманских форм. Для этимологии нем. *kein* привлекаются др.-в. нем. *nihhein*, *nihein*, др.-сакс. *nigēn*, объясняемые сложением *nih* «и не, также не»+ +*ein*, причем древнесаксонская и продолжающие ее средненижненемецкие формы с *g* отражают действие закона Вернера и тем самым признаются более древними сравнительно с чисто в.-нем. *nihein*, происходящим из эпохи после действия закона Вернера. Таково, в основном, содержание соответствующей статьи в словаре Ф. Клюге — А. Гетце. Нельзя сказать, чтобы динамика развития форм была здесь раскрыта удовлетворительно. Действительные диалектные взаимоотношения на территории немецкого языка в древности могли быть в данном конкретном случае несколько иными. Форма *nigēn* в немецкой лингвистической литературе обычно называется древнесаксонской. На расплывчатость старого понятия «древнесаксонский язык» в последнее время с полным правом указал В. Ферсте. Он выявляет ряд разнообразных следов франкского влияния, проникновения в древнесаксонский морфологических инноваций франкского происхождения. В отличающейся по языку от собственно вестфальских памятников древнесаксонской поэме IX в. «Гелианд» также известны черты, занесенные из франкских диалектов, на что указывал еще Ф. Энгельс. Исторически это объясняется наслаиванием нижненемецких по языку насельников-саксов на франкское население Вестфалии. Форма *nigēn* «ни один» в языке «Гелианда» находится в резком противоречии с выражением этого значения в большинстве языков «нижненемецкой фонетической ступени», на что указывал, например, Я. Гримм в своем словаре: др.-сакс. *niên* (между прочим, также в «Гелианде»), ср.-н.-нем. *nên*, *nein*, др.-фризск. *nên*, англо-сакс. *nân*, англ. *none*, др.-исл. *neinn*. С другой стороны, формы, органически близкие *nigēn*, распространены на компактной смежной территории: *nigein*, *negeen*, *negheen*, *engheen*. Эти формы были присущи собственно франкским диалектам и продолжают существовать, например, в развившемся на франкской основе голландском языке и его диалектах: *geen*. Позднейшее фонетическое противопоставление нижненемецкого и верхненемецкого в соответствии с отражением верхненемецкого передвижения сгладило многие различия внутри нижненемецкого, бывшие прежде существенными. К ним относятся различия между иствеонскими (франкскими) и ингвеонскими (древнесаксонскими, англофризскими) диалектами. В то время как форма типа *nigēn* представляется исконной для франкских диалектов вплоть до наличия *g* (ср. выше), для нижненемецкого-ингвеонского форма с *g* перед *e*, *i* не могла быть фонетически исконной; ср. многочисленные случаи перехода *g*>*j* в этом положении в саксонском, фризском, английском. Поэтому *nigēn* в древнесаксонском, как затем и *gein*, *geen*, *gîn* «ни один» в средненижненемецком, являются заимствованиями из франкского. Англы и саксы, выселившиеся на Британские острова в V в., когда еще только начинался подъем франков, сохранили более простое древнее *nân*, структурно аналогичное праслав. **ni edьnъ*. Это означает, что древнесаксонский еще не знал тогда формы *nigein*. Влиянию исконно франкской формы *nigein*, *nigēn* обязаны, с другой стороны, по-видимому, верхненемецкие диалекты появлением в них вторичной формы *nihhein*, *nihein*, *nehein*, *nohhein*. Таким образом, *nigein* и родственные формы представляют собой типично немецкую инновацию, центр которой лежал в древнефранкских диалектах. Отсюда эта морфологическая инновация постепенно охватила остальные части немецкой языковой территории, за исключением ряда нижненемецких диалектов; ср. *nên* «kein» (Зальцведель, Альтмарк), диал. вестфальск. *niən*, *nen*, *nain* «kein». Островные англосаксонские диалекты также представляют в этом отношении пример периферийных языков, сохраняющих реликт основной в прошлом формы и не охваченных инновацией. Эта инновация стала по своему распространению континентальной западногерманской чертой. Причина кризиса герм. **ni aina-* «ни один» в континентальных западногерманских и прежде всего франкских диалектах коренится, вероятно, в оформлении нового отрицания *nein* «нет», сменившего более древнее простое отрицание, опять-таки сохраненное в виде периферийного англ. *no* и близ-

ких образований. К сожалению, этимологические словари не уделяют должного внимания этим отношениям. Дальнейшая история немецких форм выразилась в многочисленных поздних преобразованиях типов *nigein*, *nihhein*.

Принципиального различия в данном случае между взаимодействием древнефранкских диалектов с остальными континентальными западногерманскими диалектами и тех же древнефранкских — с частью западнославянских языков не существует. Здесь скорее можно говорить о наличии одной области распространения морфологической инновации выражения «ни один», куда входили все названные языки и диалекты. Сопоставляя нем. *nigein*, *nihhein* > *gein*, *chein*, *kein* и зап.-слав. *nižaden* > *žaden*, можно говорить также о параллелизме дальнейшей эволюции данной морфологической инновации в этих языках.

Слово **korljь*, русск. *король*, проникшее в славянский в результате контактов с франками в эпоху Карла Великого (ум. в 814 г.), охватило большинство славянских языков. Говорит ли это о необходимости считать слав. **korljь* более древним, а только западнославянское *nižejeden* — более поздним образованием? Думается, однако, что такой вывод будет ошибочным и что широкое распространение слав. **korljь* объясняется политическим и социальным весом этого термина.

Преобразование и вытеснение праслав. **ni edьnъ* (ср. ст.-слав. *ниѥдьнъ* и др.) имело место, кроме разобранного западнославянского примера, также в некоторых других частях славянской территории. Эти случаи частично уже исследовались, но, насколько можно заметить, основной смысл преобразования не был раскрыт. Общее наблюдение, непосредственно подводящее нас к причине преобразования, заключается в том, что данное явление присуще зонам наиболее интенсивного взаимодействия славянских языков с неславянскими.

Сюда относится, например, словенск. *nobéden*, *nobèn* «ни один», объясняемое из **ljubo eden* или из **obeju eden*, из **ob + eden* или **nibo eden*. Внимания заслуживает особенно последнее объяснение — из **nibo eden*, принадлежащее А. Вайану. С ним следует согласиться в том, что *bo* здесь усиливает отрицание *ni*, а также в том, что это образование аналогично зап.-слав. *nižejeden*, однако последнее не следует понимать как результат простой перестановки энклитики в выражении типа ст.-слав. *ниѥдьнъже*. Импульс для такого образования скорее всего может быть обнаружен при детальном сравнении с подобными образованиями в немецком и западнославянских языках. Словенские диалекты и памятники представляют весьма сложную и разнородную картину: есть примеры сохранения типа *nijeden*, ср. *nidan* в Резьянском катехизисе XVIII в. И. А. Бодуэна де Куртенэ и такая же форма в современных диалектах Резии. Только в словенских диалектах Северо-Восточной Италии можно указать по материалам Бодуэна де Куртенэ три способа выражения значения «ни один»: тип *nijeden*, тип *jeden* и сложение с *maj*: ... *nj̥maš maj-dnəγa* = «не имеешь ни одного». Первая часть этого сложения представляет, вероятно, заимствование из соседних романских диалектов, ср. фриульск. *mai* «но».

Не менее интересные преобразования праслав. **ni edьnъ* находим в македонском и болгарском. К. Мирчев был прав, указывая на вост.-макед., болг. диал. *боеди́н* «ни один», «какой-нибудь» как на форму, структурно близкую словенск. *nobédén*, однако для этого вовсе не нужно объяснять болгарско-македонские формы из *любо един*, тем более что продолжением старого наречия *любо* в восточномакедонских диалектах является *ліу*. Более правильным представилось бы объяснение вост.-макед. *боедин* из первоначального **нибо един*, которое, проникнувшись отрицательным значением, получило со временем возможность употребляться и без отрицания: *боедин*, ср. *nižaden* > *žaden*

Никто из исследовавших *nižaden*, *nobeden* не затронул болг. *нито един*, которое имеет принципиальное значение. Ст.-слав. *ниже* калькирует греч. οὐδέ, как правильно отмечал А. Вайан, но рядом с *ниже* продолжало оставаться ст.-слав. *ниѥдьнъ*, сохранявшее еще всю прочность формулы. Весьма показательны в этом отношении болгаро-македонские факты. Греч. οὐδέ тоже калькируется, но уже новыми средствами: *нито*, *нити*, южномакедонское *nĩ̯to* (Кулакийское евангелие), *nìtu* (М. Малецкий). Серьезным новшеством болгарского является преобразование ст.-слав. *ниѥдьнъ* > болг. *нито един*. Можно, правда, указать, что, например, усиленное отрицание типа *niti* является в какой-то мере общеюжнославянским, но это не противоречит выводу, что именно н.-болг. *нито един* является калькой греч. οὐδέ εἷς, οὐδείς с этим значением. Среднеболгарские памятники как будто последовательно сохраняют употребление форм старославянского типа — *ни единь*, *ни единъ*, что, впрочем, еще не означает позднего происхождения болг. *нито един*. Эта форма, как и ряд других подобных балканских черт болгарского, является отражением формы влиятельного κοινή, греческого языка Нового Завета. Но есть случаи, когда можно говорить и о более поздних образованиях, например южномакед. *puidìn* (Сухо и Висока в районе Салоник). Насколько удалось установить, *puidìn* в текстах Малецкого выступает 7 раз в отрицательном значении «ни один, никто» и по крайней мере 32 раза в неопределенном значении «некоторый, какой-нибудь». Правда, при этом надо учесть, что преобладание значений второго рода вызвано популярностью зачина *pujnò vr'ā́m'ą* (Сухо) «однажды» в повествовании, которое является основной формой текстов, записанных Малецким. В остальном *puidìn* является в этих говорах единственным выразителем значения «ни один, никто». В морфологическом отношении *puidìn* представляется

сложением предлога-проклитики *pu* «по» и числительного *idìn* «один». На этом исчерпываются возможности объяснения формы внутренними средствами местного славянского диалекта. С другой стороны, современный греческий язык знает форму κανείς, καμμία, κανένα «какой-нибудь, какой-то», «ни один, никто», собственно κἂν εἷς «хотя бы один». В условиях двуязычия эта структура слова, несомненно, осознавалась. Болгарско-македонскому *по* известны уступительные значения; ср., например, модифицированную при помощи отрицания форму болг. литер. *поне́* «хотя, хотя бы», которой соответствует в Сухо и Висока *punà* «по крайней мере». Поэтому можно объяснить *puidìn* «какой-нибудь», «ни один, никто» из **pune idin*, **puna idin*, которое калькирует новогреч. κανείς «какой-нибудь», «ни один, никто».

Таким образом, взамен праслав. **ni edьnъ*, сохраненного частью восточнославянских и сербскохорватским языком, большинство славянских языков в итоге различных местных конвергенций развило новые формы: *nižaden*, *nobeden*, *нито един*, *боедин*, *puidìn*. Изучение этих последних с точки зрения лингвистической географии представляется единственным правильным путем к раскрытию их этимологии.

Наблюдения о роли лингвистической географии в этимологическом исследовании можно закончить следующим выводом: лингвистическая география — дополнительный критерий, необходимость в котором для этимологического исследования тем выше, чем обрывочнее материал и чем сложнее выводы самого исследования.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. В. ГОРНУНГ

О ХАРАКТЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ

В проводимой сейчас журналом «Вопросы языкознания» дискуссии о структурализме некоторые ее участники (С. К. Шаумян и А. А. Реформатский) утверждают, что все предыдущее развитие науки о языке (сводящееся в их понимании к неуклонному преодолению «младограмматических» теорий) и конкретные успехи лингвистической методики в области описания и анализа системы языка логически ведут к тому, что современное языкознание должно стать «структурною лингвистикою». По мнению этих авторов (особенно С. К. Шаумяна), это утверждение вполне совместимо с признанием, что в основе советского языкознания должна лежать марксистская теория. С. К. Шаумян идет даже дальше, считая, что только «структурная лингвистика» и является подлинным марксистским языкознанием — «диалектическим», а не «метафизическим».

Положение о том, что понятие «языковой структуры» должно занимать в современном языкознании одно из центральных мест, можно в общей форме принять. Но из этого совершенно не следует, что можно хоть в какой-то степени соглашаться с авторами, которые, подобно С. К. Шаумяну и А. А. Реформатскому (а таких авторов у нас не так уж мало), совершают неправомерную подмену защиты и теоретического обоснования «структурной лингвистики» оправданием методологической основы, общей для всех вариантов современного зарубежного структурализма, под какими бы «самостоятельными» вывесками эти варианты ни выступали. Вместе с тем должно быть решительно отвергнуто и утверждение, что такой единой основы вообще нет и что «структурализм» — это условное обозначение всех современных «передовых» лингвистических направлений, успешно преодолевших пороки «устаревшего» языкознания XIX в.[1]. Эта точка зрения основана на том, что присущая большинству структуралистов путаница в основных понятиях, произвольность в употреблении традиционных и в создании новых терминов и бесконечные и бесплодные терминологические споры ошибочно принимаются за отсутствие единой теоретической основы[2].

В настоящей статье я не имею намерения дать систематический анализ исходных (иногда не излагаемых explicite, а только подразумеваемых)

---

[1] Ср. у М. И. Стеблина-Каменского: «Структурализм — это вовсе не какая-либо законченная система взглядов... это — все оригинальные методологические искания последних 30-ти лет в области языкознания...» (ВЯ, 1957, № 1, стр. 35); у А. А. Реформатского: «...недифференцированное понятие „структурализм" содержит очень много противоречивых признаков и качеств... есть разные виды структурализма..., коренным образом отличающиеся друг от друга» (ВЯ, 1957, № 6, стр. 25).

[2] Среди зарубежных структуралистов есть немногие трезвые умы, прекрасно видящие порочность отдельных сторон теоретической доктрины структурализма и тупик, в который она ведет языкознание. Ср., например, A. Martinet, The unity of linguistics, «Word», vol. 10, № 2—3, 1954, стр. 1—5.

предпосылок всех разновидностей структурализма[1]. Придерживаясь взгляда, что понятие «языковой структуры» является необходимым и важным для современного языкознания, я только постараюсь разобрать, что́ понимается под этим термином у структуралистов и что́ должно под ним пониматься по моему мнению.

Понимание «языковой структуры» у структуралистов и «глоссематиков», во-первых, обусловлено у них очень часто (хотя и не всегда) полным отождествлением языка с другими (произвольно создаваемыми человеком) знаковыми системами (вплоть до светофора). Во-вторых, оно связано у них со специфическими приемами «расслоения» (stratification) языка, применяя которые они полностью игнорируют его общественную природу и его общественные функции. В-третьих, оно (как это ни парадоксально) является самым туманным и запутанным во всем структурализме.

Как только речь заходит о самой сущности «языковой структуры», у каждого из видных структуралистов или у каждой небольшой группки их, характеризующейся полным единомыслием ее членов, обнаруживается свое понимание этой сущности. Это понимание иногда исходит как будто из общепринятых предпосылок, известных и традиционному языкознанию, но развивается с такими внутренними противоречиями, что не приводит ни к каким положительным результатам. Чаще же сами предпосылки являются абсолютно неверными, так как сводятся к нанизыванию ничем не обоснованных аналогий между «структурой языка» и различными «дискретными структурами», которые существуют в физическом мире, обладают «абсолютным равновесием» и нисколько не зависят от человеческого общества. Поэтому есть все основания утверждать, что именно в вопросе об определении сущности языковой структуры, структурного характера системы языка современная зарубежная лингвистика до сих пор не дала ничего законченного, до конца продуманного. По признанию самих структуралистов, все предлагаемое ими — это только «рабочие гипотезы». Даже учитывая признаваемый самими авторами априорный и дедуктивный характер этих «гипотез», нельзя не констатировать их внутренней противоречивости. Структуралисты и глоссематики до сих пор мечутся между соссюровской «двуплановостью» знака, физикалистскими аналогиями с «дискретными структурами» природы (например, кристаллической) и механицизмом американской школы, которая видит в системе языка прежде всего «упорядочение» и «распределение»[2].

Из этого ясно, что аналогии между «структурою» социального (и притом семиотического) явления, каким является язык, и структурою физическою или же структурою, хотя бы и относящеюся к жизнедеятельности человеческого индивида, но несемиотическою (какою является «Gestalt» в психологии), бесполезны. Они бесполезны потому, что стремление установить соответствие между явлениями, которые являются разнохарактерными именно по своим структурным признакам, не может ничего объяснить. Они не только бесполезны, но и вредны, потому что они отклоняют исследователя от пути, на котором может быть найдено правильное объяснение, исходящее из структурной специфики объекта. Наиболее вредными являются те из аналогий, которые толкают исследователя к «открытию» в объекте лингвистического анализа, т. е. в языке, таких структурных черт и таких отношений между структурными элементами (хотя бы и правильно выделенными), каких в языке реально нет.

---

[1] Можно отослать читателя к сжатой, но очень точной характеристике структурализма в книге: G. Pätsch, Grundfragen der Sprachtheorie, Halle, 1955 (см. стр. 45—47).

[2] Последний термин, насколько можно судить, употребляется в значении, близком к его значению в математической статистике.

Так, В. Брёндаль[1], исходя из положения современной физики о том, что в строении материи *волновой и корпускулярный принципы его объяснения* не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими, как два разных «аспекта», хочет буквально перенести этот объяснительный принцип в языкознание[2], конструируя понятия «ритма» (в особом значении этого слова) как якобы коррелятивное понятие «системы». Таким путем у него получается следующая схема:

	Фоника (учение) о звуках	**Грамматика** (учение о смыслах — *sens*)
Аспект системы	Фонология	Морфология
Аспект ритма	Фонетика	Синтаксис

В этой схеме коренятся, по моему мнению, истоки учения об «изоморфизме», принимаемого очень многими структуралистами (хотя, может быть, связь именно с этою схемою Брёндаля и не осознается). Разбор учения об изоморфизме выходит за рамки данной статьи[3], но следует сказать, что если отвлечься от этих его истоков, то в нем можно усмотреть некоторый положительный момент при условии, что этому принципу не придается характер универсальности. Сейчас же важно лишь подчеркнуть, что в своем корне и это учение может быть возведено к неправомерно использованной аналогии из области физики. Только на основе этой аналогии и создано фиктивное понятие «ритма» как коррелята понятия «системы». Это — один из многочисленных фактов, дающих основание определять философскую основу современной зарубежной так называемой «структуральной лингвистики» как физикализм, что́, по-видимому, нашими отечественными адептами этой лингвистики не сознается. Физикализм — это, конечно, не перенесение физических понятий и рабочих методов физики на другие области знания (до этого еще пока никто не доходил), это — одна из форм научного мировоззрения, без наличия которого у исследователя невозможно создание концепций, подобных концепциям В. Брёндаля и Л. Ельмслева[4]. Физикализм — одна из многочисленных разновидностей «антиисторизма», противостоящего историзму, наличие которого как научного мировоззрения тесно связано с учетом, при любом аспекте рассмотрения языка, его специфики как явления общественного, с признанием примата его коммуникативной функции (передача содержания), с признанием факта зависимости языка от развития общества, от изменения потребностей общения. Научные позиции историзма или «антиисторизма» никак не зависят от признания или непризнания прав «истории языка» на существование. Известно, что никто из структуралистов, соссюрианцев и глоссематиков этих прав «истории языка» не отрицает, и некоторые из них даже сами не без успеха занимаются ею. Это, однако, не мешает им оставаться представителями той или иной разновидности «антиисто-

[1] V. Brøndal, Les oppositions linguistiques (доклад на Конгрессе психологов 1936 г.). Перепечатан в его «Essais de linguistique générale», Copenhague, 1943, стр. 41—48.

[2] По методу это перенесение напоминает шлейхеровские попытки приложения теории Дарвина к языкознанию.

[3] См. О. С. Ахманова, О понятии «изоморфизма» лингвистических категорий, ВЯ, 1955, № 3, стр. 82—95; J. Kuryłowicz, La notion de l'isomorphisme, TCLC, vol. V, 1949.

[4] Соответственно и «математизм» не есть применение математических методов в других науках (что и в лингвистике законно в определенных очень ограниченных пределах), а тоже — только научное мировоззрение, приводящее к неправомерным аналогиям и мешающее лингвисту видеть специфику его объекта.

ризма», что́ может проявляться даже и в их историко-лингвистических исследованиях, и уже обязательно проявляется при рассмотрении принципиальных вопросов теории языка. Этой, казалось бы, простой истины очень часто не понимают или, по крайней мере, забывают о ней.

*

Зарождению структурализма предшествовало пышное цветение немецкой, австрийской и позже американской «Gestaltspsychologie». Для раннего копенгагенского структурализма (конец 30-х годов), т. е. в основном для В. Брёндаля, структура — это была прежде всего «Gestalt», т. е. полная «сращенность» взаимодействующих и взаимопроникающих элементов, соподчиненность их в абсолютном конкретном единстве. Поскольку в реальной действительности в непосредственном восприятии язык дан нам всегда в виде «высказывания», «сообщения», или «текста», единство которого, кроме всего прочего, определяется также и моментом стиля, вытекающего из целенаправленности и обстановки высказывания,— такое абстрактное определение структуры, выводимое из существенных признаков «Gestalt» в психологии, могло бы быть приложено и к языковой структуре, хотя специфику этой последней оно, конечно, отражает недостаточно. Однако для структуралистской теории этого оказалось мало: тут же начал действовать соблазн позаимствовать из современной физики, перестроенной в свете квантовой теории, идею «дискретности» структуры (В. Брёндаль)[1] или же вспоминалась «билатеральность» языкового знака, т. е. «два плана» Ф. де Соссюра (Л. Ельмслев).

В итоге получалась попытка примирить непримиримое и соединить несоединимое, так как все три идеи, взятые из психологии, из физики и лингвистики, в корне противоречили друг другу:

1. «Gestalt» — это, во-первых, конкретность, не сводимая ни к какой стоящей за нею «системе», и, во-вторых, структура принципиально одноплановая, если, конечно, не говорить о «плане» восприятия и «плане» объекта (т. е. действительности, существующей независимо от восприятия и являющейся его отправною точкою); но эта «двуплановость»— принципиально иная.

2. Все физические структуры одноплановы без всяких оговорок и кроме того «дискретны» (это положение действительно является одною из основ современной физики), и применение к ним (например, к кристаллической структуре, к структуре атома) понятия «конкретности» может быть основано только на своего рода «народной этимологии», связывающей этот термин с латинским глаголом *concresco* «срастаться», «сгущаться» и т. п[2].

---

[1] О том, насколько безнадежны попытки «перенести» идеи квантовой теории и физической «дискретности» в другую область (за пределы физики), прекрасно говорит такой выдающийся представитель естествознания начала XX в., как В. И. Вернадский в своих «Мыслях о современном значении истории знаний» («Труды комиссии по истории знаний», Л., 1927, стр. 7). За последние 30 лет положение с формулировкой философских принципов квантовой теории по существу мало изменилось, несмотря на блестящие успехи ее приложений в физико-химических науках (см. М. Э. Омельяновский, Философские вопросы квантовой механики, М., 1956). Поэтому, если даже признать правильным вообще положение о том, что с прогрессом науки ряд естественно-научных понятий превращается в «общенаучные», то все равно в данном конкретном случае это положение неприменимо, и остается в силе утверждение В. И. Вернадского, что квантовая теория как «символ» есть «одно из интереснейших событий в истории научной мысли, изучение которого, может быть, позволит приблизиться к выявлению законов так называемой научной интуиции» (там же). Качество интуиции физика и интуиции лингвиста во всяком случае различно, и непонимание этого бесспорного положения (или несогласие с ним) есть одно из самых слабых мест структуралистских и глоссематических теорий.

[2] Философские термины *concretus*, *concretum* как антонимы терминов *abstractus*, *abstractum* (от *abstraho* «отвлекать», «отклонять») произведены в позднем средневековье

3. Знак всегда конкретен (в только что указанном философском смысле)[1], так как должен всегда восприниматься (или «познаваться») в своем целом; кроме того, знак не может быть одноплановым, так как он всегда есть знак *чего-то*, хотя «два плана» или «билатеральность»— это упрощение, недопустимое в применении к языку, так как языковой знак является не двуплановым, а многоплановым. Знак (res, quae signum est) в языке обладает содержанием, раскрываемым в системе форм (а не выраженным непосредственно в одной нерасчленимой форме), и, если производить «стратификацию» языка не так, как это делает Л. Ельмслев, то каждый, так сказать, «более внутренний план» окажется «содержанием» по отношению к «более внешнему плану». Вещи, не являющиеся знаком (res, quae signa non sunt), принципиально не имеют никакого «содержания»: форма в них не структурна, а «конструктивна» и противопоставлена только «материалу»[2], а сами они лишены «содержания» в собственном смысле, а имеют только социальную или природную функцию (от *fungor* «выполняю»)[3] или несколько таких функций: например, с помощью пресс-папье можно заколачивать гвозди, и «структура» предмета для этого не должна меняться или приспособляться; корни, питающие деревья, могут также сдерживать оползни, и т. п. Вещь, не обладающая знаковой структурой и не имеющая, следовательно, функций знака как таковая, может, однако, получить в соответствующих условиях сопутствующую знаку более прими-

не от классического *concresco*, а от неологизма *concerno* «одновременно учитывать», «познавать в целом». Незнание этого факта много раз приводило к путанице и в философских сочинениях, когда начинали усматривать «сращенность» там, где ее объективно не было и где она и не имелась в виду.

[1] Понятие конкретности в ином плане (т. е. связанное с глаголом *concresco*) в языкознании может быть применено только к стилистическому (экспрессивному) единству высказывания или текста (см. об этом ниже, стр. 44), которое было предметом внимания в женевской школе (у Ш. Балли), а также в одном ограниченном специальном плане (в плане Schallanalyse), в школе Эд. Зиверса, но игнорируется так называемою «структуральною лингвистикою». Наоборот, у Блумфилда и его последователей этой стороне языка, рассматриваемой на «бихевиористской» психологической основе, придается непомерно большое значение в ущерб анализу структурных элементов языка. В результате смещения перспективы и превратного толкования основной функции языка, якобы являющегося только фактом «поведения» говорящего субъекта, а не выражением мыслительного содержания, лишь сопровождаемого эмоциональными моментами, это лингвистическое направление не может дать положительных результатов и для анализа стилей языка, как не дает их и для анализа его структуры (подробнее см. М. М. Гухман, Против идеализма и реакции в современном американском языкознании, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 4).

[2] Так называемый «формальный метод» в поэтике и искусствознании и связанные с ним направления в самом искусстве (футуризм, конструктивизм и т. п.) неправомерно переносили на знаковые (семиотические) явления (язык, искусство), т. е. на явления, которые не могут быть оторваны от их познавательного (идейного) значения, технические законы соотношения «конструкции» и «материала». Элементы «техники» (в кавычках) могут быть усмотрены в языке или искусстве, но они там не самостоятельны (не автономны), а потому их нельзя ни выделять, делая их самостоятельным объектом анализа, как это делали «формалисты», ни противопоставлять в качестве одной «стороны» другой «стороне»— идейно-познавательной, как тоже иногда делалось (ср., например, В. И. Абаев, Язык как идеология и язык как техника, сб. «Язык и мышление», II, Л., 1934, стр. 33—54). Поэтому признание идейно-познавательного момента основною сущностью языка (как и искусства) неотделимо от признания знакового характера его структуры, хотя признающие этот характер соссюрианцы, структуралисты и глоссематики и приведены, в результате извращения ими основных лингвистических понятий посредством физикалистских аналогий (см. выше), к необходимости выведения «содержания» языка (семантики) за пределы самой языковой структуры.

[3] В математике термин «функция» получил совершенно особое (условное) значение (близкое к понятию «зависимость»), и перенесение этого значения в языкознание так же неправомерно, как и физикалистские аналогии. До структурализма (у А. Марти, в Пражском лингвистическом кружке) термин «функция» применялся в обычном (нематематическом) значении в составе корреляции: форма — ее функция. Новое значение было, по-видимому, впервые выдвинуто Л. Ельмслевом в 1939 г. (см. «La notion de rection», «Acta linguistica», vol. I, fasc. 1, Copenhague, 1939, стр. 11; см. там же возражения Ельмслева против «функциональной лингвистики» в неструктуралистском понимании).

тивную функцию признака (Anzeichen), указания, сигнала, симптома, т. е. функцию «дейктическую» (ср. примеры такого использования незнаков в судебном следствии, в судебной или технической экспертизе; симптомы в медицине или метеорологии и т. п.).

*

Термины «система языка» и «языковая структура» не следует ни отождествлять, ни противопоставлять друг другу. Система языка есть относительное подвижное равновесие составляющих ее взаимозависимых элементов, которое позволяет языку удовлетворять потребности общения и приспособляться к их изменениям. Это — основное понятие языковой реальности, основа ее объективного (независимого от произвола применяющих ее индивидов) существования и основа выполнения ею своего социального назначения — быть средством общения между людьми. Любая языковая система структурна, т. е. структурность — это то ее свойство, которое отличает ее от других знаковых (семиотических) систем (вплоть до светофора или боя часов). Эти другие системы также выполняют функции сообщения (коммуникативные), но в гораздо более ограниченных пределах и притом осуществляют эту коммуникацию, так сказать, в «чистом», ничем не осложненном виде. В противоположность этому, во-первых, коммуникативные возможности языка в сфере логической (понятийно-категориальной) безграничны, а в сфере экспрессивно-эмоциональной (закрытой для большинства знаковых систем, кроме, например, пантомимы) чрезвычайно широки; во-вторых, язык не только сообщает (передает) мыслительное содержание, но и способствует его возникновению, оформлению и закреплению в акте сознания: само наше мышление «словесно», но не может быть, например, «светофорно» или (как думали итальянские футуристы) «телеграфно».

Языковая структура, реализуемая в той или иной непрерывно развивающейся системе языка, «многопланова» и «иерархична», но и то, и другое выражения как лингвистические термины могут быть взяты только в своем метафорическом значении. Иначе их употребление поведет к такому схематическому упрощению, которое будет искажать объект исследования. В структуре языка нет и не может быть таких «планов», «этажей», «ярусов» и т. п., которые соответствовали бы фонетике (или фонематике), морфологии, синтаксису и тем более лексике. «Стратификация» языка, понимаемая в таком смысле, может привести только к голой абстракции. В этом смысле наиболее характерна статья Л. Ельмслева «La stratification du langage» («Word», vol. 10, № 2—3, стр. 43—68)[1].

Бесплодно спорить о том, «линейна» (двухмерна) или «глубинна» (трехмерна) языковая структура. Это — опять только метафоры, так как в реальном своем значении эти термины связаны с реальным (физическим) пространством. Понимать их как соотнесенные с математическим пространством (как в геометрии Лобачевского или Римана) тоже нет оснований, но эта аналогия все-таки более допустима, так как здесь мы будем иметь дело не с пространством как физическою реальностью, а только с носителем измерения. Но споры все-таки будут бесплодны, так как из языка нельзя выключить четвертого измерения — времени, и в этом и заключается единство синхронии и диахронии[2]. Язык и структурные отношения его значимых элементов существуют

[1] Ср. также А. А. Реформатский, Что такое структурализм? (ВЯ, 1957, № 6, стр. 25—37), где «стратификация» языка еще схематичнее и еще примитивнее, чем у Ельмслева.

[2] Более подробно это положение раскрыто у О. С. Ахмановой («Основные направления лингвистического структурализма», М., 1955, стр. 6—7), которая в свою очередь ссылается на его интерпретацию у А. И. Смирницкого в статье «По поводу конверсии в английском языке» («Ин. яз. в шк.», 1954, № 3, стр. 14 и сл.).

только во времени, а геометрические фигуры и тела и геометрические отношения — вне его.

«Планы», или «ярусы», или «слои» (strata) языка не совпадают с делением элементов языковой системы на фонетические (фонематические), морфологические и синтаксические. Все гораздо сложнее, так как все эти типы элементов системы переплетаются в отношениях различных типов, из которых для лингвиста представляют интерес только отношения, реально выражаемые разными способами в разных языках, а отнюдь не отношения «мыслимые», способы выражения которых языковыми средствами нам неизвестны и в применении к которым вполне допустим и «панхронический» (resp. «ахронический») подход. Эти последние отношения, постулируемые для языка, по своей онтологической сущности ничем не отличаются, например, от геометрических форм тел, которые не встречаются в природе. Лингвисту до «мыслимых» отношений так же нет никакого дела, как кристаллографу нет дела до многогранников, в которых ни одно вещество не кристаллизуется.

Одно положение Ф. де Соссюра остается незыблемым и остается ключом к пониманию структуры языковой системы. Это — выделение им двух основных типов отношений между элементами системы — парадигматических и синтагматических. Оно не упраздняет деление грамматики на морфологию и синтаксис, оно не ликвидирует морфологию как дисциплину, растворяя ее между «учением о слове» и синтаксисом (как это было не только в «новом учении о языке»), но оно значительно уточняет отношения между отделами и подотделами грамматики, позволяя в необходимых случаях как бы подниматься над ними, чтобы видеть объект (форму словесного выражения) более целостным и с разных точек зрения[1].

Но, с другой стороны, необходимо решительно преодолеть упрощенное соссюровское понятие «двуплановости» как двухмерного образа, представляющего собою простое парное соотношение «означающего» (signifiant) и «означаемого» (signifié). Это понятие верно лишь постольку, поскольку верным является всякое наивно-реалистическое умозаключение. Действительно, «означающим» звуковым комплексам [stol], [tabl'], [teibl], [tiʃ] будет соответствовать одно «означаемое»— предмет, состоящий из «доски», имеющей прямоугольную, многогранную, круглую или овальную форму на одной, трех, четырех или шести «ножках»[2]. Но так как в разных языках различны и их лексико-семантические системы, то в каждом языке соответствующий «означающий» звуковой комплекс может быть соотнесен и с другим «означаемым» (например, русск. *стол* «часть канцелярии» или франц. и англ. *table* «таблица»), которое будет рассматриваться как «второе», «омонимическое», «дополнительное», «производное» или какое-нибудь еще «значение слова», хотя в ряде случаев разница будет не в «значении» (Bedeutung), а в «предметной соотнесенности» (gegenständliche Beziehung), что́ лингвисты нередко путают. Но даже и с этой последнею поправкою язык, представляемый в виде системы такого рода «билатеральных» знаков, будет отличаться от светофора только количественно: там три пары и весьма ограниченная возможность комбинаций из них, а в языке многие десятки тысяч пар и бесконечное число их комбинаций. Но что дальше? Из лингвистов всего этого может быть достаточно лексикографу-практику (и то едва ли), а для анализа языковой структуры это почти ничего не даст. Часть структуралистов (в первую очередь

---

[1] Такую же возможность подняться над отдельными категориями языковых форм дает выдвинутое В. Брёндалем учение о «компенсации» и «варьировании» как двух основных принципах образования и развития форм (см. «Essais de linguistique générale», стр. 105—116). Это плодотворное учение, к сожалению, пока не получило дальнейшего развития в языкознании.

[2] Ср. близкие к этому определения в толковых словарях под ред. Д.Н. Ушакова и С. И. Ожегова.

Л. Ельмслев), не отказываясь от «билатеральности» языкового знака, фактически отбрасывают и «означающее» и «означаемое» как «субстанции», находящиеся якобы вне языковой структуры в собственном смысле, и оставляют в качестве объекта лингвистического анализа только «коммутационные» отношения между ними, крайне схематизуя эти последние в своем стремлении к «простоте» описания.

Однако не нужно пытаться упростить то, что не поддается упрощению. В этом — одна из основных ошибок глоссематиков, которые хотят описывать язык так, чтобы в описании «не было противоречий» (non-contradiction de la description), чтобы оно было «исчерпывающим» (exhaustivité de la description) и чтобы оно было «максимально простым» (simplicité maximale de la description). Это проходит красною нитью через все последние работы группы Ельмслева и является следствием примитивности философских предпосылок их лингвистической (глоссематической) концепции [1].

Во-первых, об отсутствии каких «противоречий» идет речь? Формально-логических противоречий в научном исследовании, конечно, быть не должно, но ведь они могут быть или не быть в анализе явления, в установлении его прямых и опосредованных связей, в выводах из сопоставления данного явления с другими, из взаимодействия разных явлений и т. д. А здесь речь идет об описании, в котором могут быть только ошибки в непосредственном восприятии, коренящиеся либо в субъективных дефектах описателя (дальтонист не может описывать цвета, а глухой — звуки языка), либо в недостатке знаний и опыта у того же описателя (в лингвистике нельзя, например, описывать язык, не зная его, что́, впрочем, нередко делают). Если же речь идет об объективных противоречиях самой действительности, то для нас нет непротиворечивых объектов, и таковыми они и должны быть «описаны»: поэтому диалектический метод и является единственным научным методом, о чем спорить с Ельмслевом, пожалуй, бесполезно.

Во-вторых, исчерпываемость описания во многих случаях — утопия и притом ненужная: можно описать все фонемы русского языка, можно описать все случаи их сочетаний (хотя достаточно и типов сочетаний), но нельзя и не нужно описывать все случаи сочетания данного прилагательного с определяемым существительным или переходного глагола с существительным в роли дополнения. Правильнее было бы говорить о достаточной (для суждения о функции в системе) полноте описания.

В-третьих, «простота» описания — вещь очень относительная. Не нужно ничего примышлять к данному в восприятии, основанном на опыте. Можно иногда, если это необходимо (иногда бывает как раз наоборот), исключать сознательно опыт апперцепции, но, как нельзя цветок из семейства сложноцветных описывать так же «просто», как описывают споровое растение, или млекопитающее — как дождевого червя, так нельзя и личное окончание глагола или дифтонг описывать так же, как следует описывать варианты порядка слов или конструкцию сложноподчиненного предложения.

Вся эта схоластически разработанная методика чистого описания (так же как и американская методика описания фактов языка на бихевиори-

[1] Можно полностью присоединиться к подробному критическому разбору этих положений школы Л. Ельмслева в статье Л. Л. Хаммериха «Les glossématistes danois et leurs méthodes» («Acta philologica scandinavica», Bd. 21, Hf. 1, 1950, стр. 1—21) по поводу сборника «Recherches structurales, 1949». Выступивший в защиту школы П. Дидерихсен (там же, Hf. 2) не мог опровергнуть ни одного из основных положений Хаммериха. Ряд верных критических замечаний об этих положениях Ельмслева есть и в статье А. Мартине «Au sujet des „Fondements de la théorie linguistique" de Louis Hjelmslev» (BSLP, t. 42, fasc. 1, 1946, стр. 19—42). В. Пизани совершенно неверно считает, что Хаммерих выступил только против искажения мыслей Ельмслева его учениками (В. Пизани, Общее и индоевропейское языкознание, М., 1956, стр. 85, примеч. 3).

стской основе) ровно ничего не может дать для изучения структурного характера языковой системы. Как я уже говорил, она уводит от языка в сторону, и в мнимом объекте, описывая его «независимо от опыта» (слова Ельмслева) и отрешаясь от «постулата эксистенции», находит и выделяет из текста «неразложимые основные единства» (unités de base indissociables), из которых и строит «синхронное состояние» языка, подлежащее затем «расчленению на слои» (stratification). Не анализируя фактов языка, а только «описывая» их указанными выше методами и затем комбинируя свои произвольно созданные «единства», последовательный структуралист (resp. глоссематик) строит затем теорию, которая была бы «приложима» ко всем фактам, но была бы такою, которую факты не могли бы ни подтвердить (в чем она не нуждается), ни *опровергнуть* (чего она не боится). Естественно, что при таких условиях не стóит никакого труда установить *«чистую синхронию» системы, которая*, правда, тут же самоупразднится, так как, не будучи противопоставлена никакой диахронии[1], она логически перейдет в «панхронию» или «ахронию».

В анализе структурных свойств языковой системы можно идти только совершенно иным путем. Разумеется, до этого анализа исследуемый язык или исследуемые языки должны быть описаны, причем в этом описании неизбежно будут присутствовать моменты элементарного анализа соотношений между фактами языка, без чего никакого научного описания не получится, а будет только «материал для описания»— фрагментарный даже при самом добросовестном субъективном стремлении к исчерпывающей полноте («exhaustivité» Ельмслева). Для этого описания обязательно должна быть выделена относительно синхронная полоса с условным (врéменным) отвлечением от развития внутри нее. Нельзя описывать язык Сумарокова и Фета, Фонвизина и Чехова, язык «Русской Правды» и язык духовной грамоты Ивана Калиты в каждом из этих случаев как одну систему, но, и описывая, например, систему русского литературного языка второй половины XIX в., не надо разъединять то, что есть в языке Тургенева, и то, что есть у Чехова и Короленко. Независимо от того, выполнено ли описание самим исследователем или другими лицами, тот, кто приступает к анализу системы языка, должен знать этот язык, владеть им и свободно оперировать с текстами любой сложности и любых стилистических вариантов, а не только с грамматическими справочниками и словарями.

Все это — чисто внешние условия проведения лингвистического исследования, но в плане противопоставления их структуралистическим рецептам (зарубежным или нашим) они поднимаются до принципиальной высоты, так как только пренебрежение ими и может увести языковеда в сторону от языка. Поэтому на них нельзя было не остановиться.

Но вместе с тем я вовсе не считаю, что к анализу языковой системы нужно (из боязни предвзятого подхода) приступать с теоретической tabula rasa. Нельзя не отметить того, какое отрицательное значение имела для структурализма примитивность философских предпосылок его основателей, стремившихся ввести лингвистику в общее русло «науки и философии двадцатого века», якобы преодолевшей «науку и философию девятнадцатого века». Все без исключения работы структуралистов и глоссематиков убеждают в том, что сведения об этом «русле», в которое они собирались вводить лингвистику, были у них из вторых рук[2]. Таковы их представления о философской основе квантовой теории, о мутационных би-

---

[1] *Термины «синхрония» и «диахрония» я считаю очень неудачными и неадекватными логическому содержанию понятий, которые здесь необходимо было бы конструировать. Употреблять их приходится лишь в силу их распространенности и привычности.* Об их неудобстве см. также: Ж. Фурке, «Синхроническая» точка зрения при изучении германских литературных языков и диалектов (ВЯ, 1958, № 4 стр. 99 и сл.).

[2] Ср. ссылки В. Брёндаля на философский словарь Лаланда в статье «Linguistique structurale» («Acta linguistica», vol. I, fasc. 1, Copenhague, 1939).

ологических теориях; таковы же их апелляции к Гуссерлю, не показывающие серьезного знакомства ни со вторым томом его «Логических исследований», ни с философской традицией, из которой выросла его «феноменология». Нельзя не отметить также полного игнорирования ими работ А. Марти, В. Хаверса и многих других незаурядных представителей общего языкознания, взгляды которых нельзя отбрасывать как целиком «устаревшие».

Любой советский языковед вооружен общенаучной методологией, которая для нас не дискуссионна и которая способна предохранить его от некритического отношения к общетеоретическим основам структурализма. Но усвоение этой общенаучной методологии еще не гарантирует от излишнего доверия к модным лингвистическим теориям, касающимся более конкретных и частных вопросов, к методике исследования. (Ведь считали же у нас, что «палеонтологические» и «стадиальные» штудии созвучны марксизму, а сравнительно-историческое изучение родственных по происхождению языков с ним несовместимо.) Определенная методика исследования, хотя она и вырабатывается на изучении фактов, должна при современном состоянии нашей науки предшествовать их анализу и на нем совершенствоваться. Эта методика в любой своей детали не должна противоречить принимаемым всеми нами общим принципам языкознания как одной из общественных наук, т. е. положениям о том, что язык как важнейшее орудие общения людей есть явление общественное, исторически развивающееся вместе с обществом, не имеющее ничего общего ни с атомом, ни с кристаллом, очень мало общего с организмом, но вместе с тем отличное от других (несемиотических) общественных явлений и никогда в своей истории не бывшее идеологической надстройкой.

*

Принципиальные основы и методические пути анализа системы языка, специфической чертою которой является ее структурность и в которой важнейшую роль играет иерархическая соподчиненность ее значимых элементов (непрерывно изменяющаяся в не останавливаемом по произволу лингвиста процессе развития языка), представляются мне в следующем виде.

1. Так как языковая структура не есть «упорядочение» (arrangement) и «распределение» (distribution), то ее элементы не могут рассматриваться как лежащие в одной плоскости. Метафорически можно поэтому говорить о «глубинности» структуры языка.

2. В языке как явлении знаковом не может быть противопоставления «субстанции» форме, так как любая субстанция, становясь знаком, приобретает новое качество, при котором противоположение формы и субстанции как бы снимается[1], но материальная (если угодно, «субстанциональная») сторона знака сохраняет всю свою важность, так как знак должен обладать дифференциальными признаками, каковым может быть и «нулевое» выражение (см. также выше, примеч. 2 к стр. 38).

3. Все значимые элементы языковой структуры являются, следовательно, формами, «отягощенными» звуковой материей (или ее графической презентацией), и поэтому сама эта структура есть система иерархически соподчиненных форм, раскрываемых анализом в содержании любого языкового текста и выражающих (т. е. делающих доступными для других) акты нашего сознания, которые, в свою очередь, отражают явления реального мира, причем различные модальности актов сознания также находят свое выражение в языке (но не в других искусственных семиотических системах, имеющих характер «кода»).

[1] О раскрытии содержания знака (при присущем только знаку качестве «содержательности») как системы форм см. выше (стр. 38).

4. Акт восприятия любого знака, в отличие от акта восприятия вещи, *не являющейся* знаком, есть акт понимания, или акт «интеллигибельный». Это относится как к языковому знаку, так и ко всем другим знакам, входящим в состав систем разной степени сложности, вплоть до самых примитивных, состоящих только из одной «оппозиции» (железнодорожный семафор). Но акт языкового понимания настолько сложнее актов восприятия всех других знаков и их систем, что даже по этой причине, исходя из принципа перехода количества в качество, следует признать принципиальное качественное отличие языка от всех других знаковых систем, не говоря уже о том, что это принципиальное отличие создается фактом независимости развития языка в целом от воли отдельных индивидов, организаций, законодательных органов и т. д[1]. Акт языкового понимания остается сложным многоступенчатым актом, хотя бы в реальном психическом процессе у воспринимающего речь индивида он и был «автоматизован» в той или иной степени и реально протекал в какие-то доли секунды. Он остается принципиально сложным потому, что воспринимается в нем (в этом можно согласиться с Л. Ельмслевом) «целая сеть функций» (réseau de fonctions — в смысле «сети зависимостей»)[2], которая лишь в своем целом передает логическое содержание высказывания (текста) или его определенной относительно замкнутой в себе части. *Однако содержание подавляющего большинства* высказываний (текстов) не исчерпывается их чисто логическим содержанием, а *включает в себя элементы эмоциональные*, прагматически направленные, обусловленные обстановкой высказывания, врожденно-индивидуальными или усвоенными в результате привычки чертами говорящего и т. д. Поэтому в языке к «сети» собственно языковых функций, которою и хочет ограничить себя так называемый «структуральный анализ», могут (но не обязательно в каждом случае реального высказывания) присоединяться функции дейктические и экспрессивные.

Для всякого рода систем знаков-сигналов дейктическая функция — основная, как для междометий (quasi-слов, не входящих в систему языка) основною является экспрессивная функция. Дейктические и экспрессивные элементы в языке не образуют «сети функций» (в ельмслевовском смысле), так как они не образуют «иерархии подчинения», характерной для языковой структуры. Они «примешиваются» к ней, оставаясь внеположными системе языка. Таковы, кроме междометий, некоторые интонационные характеристики, инверсии, противоречащие системе языка, а также аффиксальные наращения (деминутивные, нейоративные и т. д.), эллипсы и т. п.[3]. Однако, какую бы роль ни играли эти экспрессивные и дейктические элементы в том или ином высказывании (тексте), в структуре языка обе эти сферы остаются подчиненными основной сфере — логической, которая и в *языке образном (поэтическом)* не устраняется как основа, а лишь модифицируется через усложнение отношения так называемой «внутренней формы» слова, словосочетания или предложения к логической форме выражаемых ими понятий или суждений. Помимо этого «поэтическая» речь как бы «окрашивается» (в боль-

[1] Мы не имеем в виду в данном случае *«искусственные языки»*.

[2] В. Брёндаль говорит не о «сети функций (*зависимостей*)», а о *«сети корреляций»* (réseau de correlations), которые могут быть двух родов — «оппозициями» или «единствами» (solidarités) (ср., например, «Essais de linguistique générale», стр. 105). А. Мартине отвергает необходимость придания в лингвистике термину «функция» математического значения «зависимости» (BSLP, t. 42, fasc. 1, 1946, стр. 40). По существу он прав, так как и обычного значения этого термина устранить из лингвистики нельзя, и таким образом получаются омонимы, что недопустимо в научной терминологии. Но в данном контексте я употребляю термин «функция» именно в смысле, приданном ему в глоссематике.

[3] Это «примешивание» приводит к тому, что в акте понимания языкового текста к доминирующему логическому пониманию могут примешиваться элементы так называемого «симпатического понимания». Ср. G. Finnbogason, Den sympatiske Forståelse, København, 1911 (есть франц. перевод).

шей степени, чем речь обыденная, деловая, научная и т. п.) экспрессивно-стилистическими моментами, которые играют не меньшую роль и в лишенной художественной формы в собственном смысле (т. е. упомянутого «усложнения») ораторской речи и публицистике. Но ни доведенное до крайней степени усложнение поэтических средств, ни максимальная риторическая выразительность не могут вывести языковую структуру из-под главенства логического содержания и превратить ее в «язык образов», в чистую поэтическую или риторическую форму[1].

5. Язык как объект анализа дан нам всегда в виде текста (устного или письменного)[2], через который и вскрывается его система. Понятие «текста» не имеет ничего общего с понятием «речи», выдвинутым Ф. де Соссюром и выдвигаемым до сих пор продолжателями его доктрины в этом пункте. «Речь»— это психо-физиологический процесс, проявление деятельности нашей «второй сигнальной системы», объект изучения для психологов и физиологов. Лингвист вправе не интересоваться ею и не знать специфических методов ее изучения. Она — результат речевой способности человека, обусловленной строением его мозга и его органов речи и слуха (или зрения для письменной речи). «Текст» есть результат единичного речевого процесса или ряда последовательных процессов. Соотнесенность между процессом и его результатом не имеет ничего специфического в языке, она всюду одна и та же, и понять результат из механики процесса никогда нельзя, а «текст» требует прежде всего понимания, которое раскрывается из его соотнесенности с «системой языка» (он, а не «речь», с ней соотнесен, что́ поняли и некоторые структуралисты, сумевшие порвать здесь с Ф. де Соссюром). Но «текст» не противопоставлен «системе языка», как «речи» обычно противопоставляют «язык»; закономерности в них одни и те же — языковые, и если «лингвистики речи» вообще не может быть, потому что это — не лингвистика, а удел других наук, то не может быть и особой «лингвистики текста» наряду с «лингвистикой системы»; в этом ошибаются структуралисты, вводящие парные термины для обозначения типов соотношения структурных элементов языка «в системе» и «в тексте» («реляция»— «корреляция», «селекция»— «спецификация» и т. п.). Обосновать необходимость двойных терминов никому из них пока не удалось. Хотя рациональное зерно в этой идее (затемненной многими схоластическими рассуждениями) есть, но этот вопрос требовал бы специального детального рассмотрения.

6. Всякий текст требует понимания, которое неосуществимо без точного и полного знания системы того языка, на котором он написан или произнесен, включая, конечно, и лексику[3]. Но «понимание» не обеспечивается полностью одним только знанием системы языка; оно требует особых «филологических» методов («рецензии» и «интерпретации») при условии, конечно, совершенного знания филологом системы данного язы-

[1] Это положение, которое безуспешно пытался (отчасти опираясь на взгляды А. А. Потебни) сокрушить русский формализм конца 10-х — начала 20-х годов, поднимаемый теперь на Западе снова на щит (ср. V. Ehrlich, Russian formalism, 's-Gravenhague, 1955), было недавно ярко и убедительно раскрыто в статье В. Солоухина «Поэзия и время» («Лит. газета» 17 VII 1958).

[2] Л. Ельмслев и некоторые другие лингвисты неоднократно подчеркивали принципиальное отличие написанного текста от произнесенного. Это совершенно бесспорно, но отличие здесь лежит совсем в другой плоскости и нисколько не затрагивает законов языковой структуры, как бы ни были в том или ином конкретном случае велики отличия в синтаксических конструкциях, в отборе лексики и т. д. Это — отличие функциональное. Этому мало разработанному вопросу нами посвящается особая статья «О функциональных разновидностях языка».

[3] Для письменного текста необходимо, разумеется, и знание графической системы, но история науки показывает, что филологу легче «расшифровать» неизвестную систему письма, чем реконструировать систему исчезнувшего языка. Ср. историю безуспешных попыток понять систему этрусского языка, памятники которого написаны доступным письмом, неполноту понимания лидийских и ликийских текстов и, наоборот, относительно быстрый ход восстановления системы хеттского и минойско-греческого языка, где есть опора для понимания строя языка, облегчавшая и расшифровку письма.

ка. Эти филологические методы понимания in potentia наличны у каждого человека и применяются им бессознательно пропорционально его общему умственному развитию, но только до какой-то ступени «трудности» текста, когда может наступить либо частичное и даже полное непонимание, либо разрыв между субъективным, удовлетворяющим в данной ситуации пониманием (например, пониманием произведений Гомера, Петрарки или Пушкина) и объективно-научным (филологическим) пониманием. Лингвист может быть одновременно и филологом, но если он им не является, то обязан воспользоваться филологическою работою других ученых[1]. Филолога объединяет с лингвистом одно условие исследовательской работы — точное и полное знание системы языка. Без этого знания филолог не может добиться понимания текста, как не может понять устного или письменного высказывания любой человек, не знающий данного языка. Но лингвистический анализ текста — дело только лингвиста: филологу за него не надо и браться (конечно, опять-таки, если исследователь не совмещает в себе обеих специальностей)[2]. Таким образом, филолог и лингвист, при разных задачах своих собственных научных дисциплин, друг друга взаимно обслуживают, но не должны подменять друг друга.

7. Текст, подлежащий пониманию филолога посредством его критики («рецензии») и интерпретации и анализу лингвиста как данность для суждения о структуре языковой системы, должен быть оторван от психофизиологического речевого процесса, результатом которого он явился, но ни в первом, ни во втором случае он не может быть оторван от исторического процесса, результатом которого он является в другом плане, потому что обе науки (и филология, и лингвистика) являются науками историческими. Для понимания текста нужен исторический контекст, для анализа структуры языковой системы — установление соотношения ее элементов как продуктивных или непродуктивных, находящихся в становлении или отмирающих, нейтральных или стилистически окрашенных и т. д. Все это дается только рассмотрением самой системы как подвижного равновесия, как непрерывного приспособления к изменяющимся потребностям общения. Соссюрианцы всегда подчеркивают, что система языка — это то, где все «держится друг за друга» (où tout se tient). Это верно, но «держится» оно только потому, что система языка — подвижное равновесие с непрерывной заменой утрачиваемых за ненадобностью элементов и непрерывным введением новых элементов, входящих в ту же систему. Если же это было бы не так, и система языка была бы такою, какою она выглядит в чистом синхронном описании, т. е. абсолютным равновесием, то принцип «tout se tient» не осуществлялся бы, и от малейшего толчка система развалилась бы. Когда из атома «вышибают» бомбардировкою α-частиц один электрон, атом перестает быть тем, чем он был, утрачивает свои свойства, способность вступать в те реакции, в какие он вступал раньше: он становится сразу новою «структурою», потому что он — система абсолютного равновесия. Если из мотора вынимают деталь, он вообще перестает работать,

[1] Так, например, применительно к изучению клинописного хеттского языка за последние 30—35 лет можно сказать, что И. Фридрих и А. Гетце были прежде всего филологами, а Э. Х. Стертевант и Х. Педерсен (и в последнее время Г. Кронассер) — только лингвистами, тогда как Ф. Зоммер совмещал в одном лице обе специальности. Ср. также замечания А. Мейе о различии двух младограмматических направлений в Германии 70—90-х годов — лейпцигском и берлинском: в первом «укрепилась тенденция заниматься чистой лингвистикой, принимая филологические факты за установленные», а во втором «наблюдается большее стремление исследовать непосредственно филологические факты» (см. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 466—467).

[2] Можно вспомнить о неудачах, постигавших таких выдающихся филологов первой половины XIX в., как Г. Герман, Ф. Бутман, Хр. Лобек, когда они брались сами за собственно лингвистический анализ, хотя накопленный ими (особенно Лобеком) материал до сих пор еще полностью не освоен лингвистикою.

а если в конструкции самолета производят частичные изменения, летчику нужно переучиваться управлять им. В языке все наоборот. Каждый, даже относительно небольшой социальный сдвиг изменяет формы и масштабы общения, социальную конфигурацию общающихся групп носителей языка, создает новые понятия, требующие своего выражения, изменяет объем и содержание старых понятий, отношения между ними и т. д. Большие социальные потрясения производят это в гораздо бо́льших масштабах, и язык тут же отвечает на все — не только вводит новые слова (лексемы), меняет значение старых и изгоняет те, которые стали совсем ненужны, не только нейтрализует стилистически окрашенные слова или, наоборот, впускает в нормализованную речь целые волны просторечия, делает продуктивными иногда почти отмершие словообразовательные типы, создает новые фразеологизмы из свободных словосочетаний, но и «ломает» частично синтаксические конструкции и даже (правда, реже всего) производит изменения и в морфологии. И все эти внешне обусловленные изменения протекают в одном ряду с изменениями по «внутренним законам развития», внешне не обусловленными, протекающими в медленной, постепенной эволюции — только как «саморазвитие» самой системы. Оба типа изменений языка непрерывно взаимодействуют, так как совершаются в рамках единой структуры, допускающей непрерывную частичную перестройку системы языка, в которой она реализуется, и непрерывное приспособление этой системы к новым условиям.

8. Когда мы говорим, что структура языковой системы является выражением совокупности актов сознания в их различных модальностях, то нельзя считать, что отдельные структурные элементы языковой системы выражают отдельные акты сознания. Ни фонема, ни морфема, ни даже слово никакого акта сознания не выражают. Для выражения каждого акта сознания нужна если не вся структура, то, во всяком случае, значительное количество разнохарактерных, но иерархически соподчиненных элементов. Обратно, в каждом значимом элементе языковой структуры переплетаются многие акты сознания. Целостность акта сознания или совокупности актов выражается только текстом (высказыванием). Даже предложение выражает его во всей целостности только тогда, когда оно является самостоятельным текстом (например, изречением).

9. Если проводить какое-то соответствие между структурностью как свойством языковой системы и «Gestaltsqualität» в психологии, то, в отличие от способа сопоставления этих двух вещей структуралистами, аналогию можно было бы усмотреть в том, что в обоих случаях мы имеем дело с «чистыми формами сочетания» элементов чувственного восприятия. Но так как, во-первых, «Gestalt» в психологии не семиотична (не есть «знак чего-то»), а во-вторых, в языке в чувственном восприятии нам дана не система языка, которая обладает структурностью, а текст, который ею не обладает, то никакая аналогия не правомерна[1].

10. Структурный анализ системы языка требует выдвижения анализа значений слов и словосочетаний на первый план, а не устранения из него этого анализа, как это делают глоссематики, считающие «значения» такими же «субстанциями», как и «акустические образы звуков», и в качестве «субстанций» внеположными языку, так что язык для них остается только сферою чистых отношений. Структурный анализ требует коренной и последовательной перестройки традиционной семасиологии, устранения из нее пережитков формального логицизма (сужение и расширение, качественность и относительность и т. п.) и ассоциативного психологизма (ассоциации играют роль в семантике, но очень ограниченную),

[1] Использование данных «Gestaltspsychologie» до некоторой степени возможно в стилистике, поскольку стилевые черты языка могут в определенном аспекте рассматриваться как относительно асемиотические («признаковые», а не «знаковые»). Ср. выше (стр. 44, примеч. 3) о возможном наличии элементов «симпатического» понимания в восприятии языкового текста.

рассмотрения лексического состава языка как особого рода системы (вовсе не такой, какою является, например, система фонем), анализа влияния синтагматических связей слов на развитие их значений и их место в лексико-семантической «системе», анализа связи деривационных процессов с семантическими и мн. др. Ни один из вопросов этого круга не допускает разработки его в плане чистой синхронии, так как слово получает значение только в тексте, а текст понятен до конца только в историческом контексте. Семасиология не может быть также оторвана от стилистики, так как основная структурная черта «значения слова», его полисемия, раскрывается только через соотношение стилей языка (за исключением лишенной полисемии абсолютно терминированной речи, которую глоссематики с известным основанием противопоставляют языку как «метаязык»)[1].

*

Таковы теоретические предпосылки структурного анализа языка, которые можно, при современном состоянии разработки у нас вопросов общего языкознания, противопоставить господствующим установкам структуралистов и глоссематиков в сфере анализа структурных свойств системы языка. Реализация этих предпосылок в конкретных исследованиях осуществима только при условии признания того, что синхронное состояние языка насквозь пронизано диахронией, а последняя (изменение и развитие языка) возможна как реальный факт социальной действительности только при условии, что язык ни на один момент не перестает быть системой, годной для общения людей. Без признания этого ни одно из изложенных выше в десяти пунктах соображений не приложимо к конкретному исследованию. Изложенные положения не имеют ничего общего с «рабочими гипотезами» структуралистов, которые, по заявлению Ельмслева, можно прилагать к чему угодно так, что объект приложения на них никак не повлияет и от них не пострадает[2]. Наши положения — это только методические принципы, вытекающие из опыта предшествующего развития лингвистики и филологии, которые в ходе дальнейшего развития этих наук должны, конечно, уточняться, совершенствоваться и детализироваться. В частности, советское языкознание должно освоить достижения филологии (рецензии и интерпретации текста) XIX—XX вв. (в первую очередь «классической» филологии) гораздо глубже, чем это, к сожалению, имеет у нас место (ср., например, несовершенство филологической обработки новгородских берестяных грамот)[3].

---

[1] В реальной действительности абсолютно терминированной речи не бывает, а встречаются только бо́льшие или меньшие приближения к ней с элементами (пусть незначительными) той же полисемии. Существуют и различные «научные» (resp. законодательные, «деловые» и проч.) стили. Следовательно, «метаязык» не может быть реальным объектом изучения лингвиста. Вопрос о том, не являются ли «метаязыками» искусственные языки, требует особого рассмотрения.

[2] См. по этому поводу высказывания А. Мартине в упомянутой статье в BSLP (1946, t. 42, fasc. 1, стр. 23—24).

[3] Эта неосведомленность в достижениях филологической науки не в меньшей мере отражается и на развитии нашей текстологии, где при ином положении также возможно было бы плодотворное сотрудничество представителей обеих дисциплин, которое было бы полезно и для лингвистики, так как показало бы лингвистам границы формального анализа текста и способствовало бы развитию стилистики как дисциплины лингвистической, но стоящей за пределами «структурной лингвистики». Примером объединения филологической и лингвистической работы в указанном здесь духе может служить статья В. В. Виноградова «Лингвистические основы научной критики текста» (ВЯ, 1958, № 2 и № 3).

Ф. МИКУШ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

К статье «О некоторых актуальных задачах современного языкознания» (ВЯ, 1956, № 4, стр. 8)

Понятие синтагмы не покрывает понятия «непосредственно составляющих», как, видимо, предполагается в статье. В моей интерпретации синтагма — это типическая структура речи, а «непосредственно составляющий» может быть лишь элементом (если хотите, непосредственным) этой структуры. Хотя по своей внутренней структуре «непосредственно составляющий» может быть синтагмой, эти два понятия не являются тождественными. Если в примере *poor John ran away*, с точки зрения нашей теории, три синтагмы: 1) *poor/John*, 2) *ran/away*, 3) *poor John/ran away* (отождествляющие члены отделены от различающих черточками), то, согласно йэльской школе, мы имеем здесь шесть непосредственно составляющих (из них две синтагмы): 1) *poor*, 2) *John*, 3) *ran*, 4) *away* (относительно простые знаки), 5) *poor John*, 6) *ran away* (синтагмы). Разница между двумя способами анализа состоит в следующем: синтагматический анализ является непрерывным и основан на теореме синтагматического сцепления, согласно которой «непосредственно составляющие» *poor* и *John* образуют одну синтагму, *ran* и *away* — вторую, *poor John* и *ran away* — третью, самую большую, диалектически включающую в себя две первые.

Понятие синтагмы соответствует нескольким понятиям американской лингвистики, в частности «синтаксической конструкции» (syntactic construction), «предложению» (sentence) и т. д. Л. Блумфилда (см. его работу «Language», New York, 1945, § 11,1, § 12,1 и т. д.). В свое время я более подробно остановлюсь на этих вопросах в специальной работе, целью которой будет истолковать с точки зрения синтагматического структурализма главы 10—14 указанного труда Л. Блумфилда, а также и другие структуралистические работы американских лингвистов. Тем не менее я уже сейчас точно предвижу, каким образом способы анализа, постулируемые американцами, смогут войти в синтагматическую теорию, и как основные категории, вводимые ими, будут поглощены и усвоены синтагматикой.

К статье М. Коэна «Современная лингвистика и идеализм» (ВЯ, 1958, № 2, стр. 61)

В статье, напечатанной в связи с дискуссией по структурализму, М. Коэн говорит, что моя синтагматика «смутно» претендует на роль основы лингвистических исследований. В определенном смысле он, очевидно, прав. Однако с тех пор, как появились мои «Principia syntagmaticae», эта претензия стала значительно менее «смутной». Естественно, что синтагматическая теория могла бы быть наиболее полно изложена лишь в стандартной работе, появление которой зависит от заинтересованности компетентных учреждений, способных финансировать соответствующие исследования. Я, однако, надеюсь, что мои «Principia» будут достаточны

для того, чтобы убедить М. Коэна. В настоящее время я собираюсь дать истолкование с точки зрения синтагматического структурализма «Опыта структурального синтаксиса» соотечественника М. Коэна Л. Теньера (взгляды которого очень близки синтагматическому структурализму).

Понятие синтагмы А. Соважо берет у З. Гомбоца. Но откуда взял это понятие З. Гомбоц? Ф. де Соссюр уже выпустил свой «Курс» до первой мировой войны. Заметим, что понятие синтагмы у З. Гомбоца синонимично «группе слов» и далеко не охватывает всего того, что входит в понятие синтагмы, рассматриваемой как типическая структура (см. мою статью «En marge du 6-me Congrès international des linguistes» в сб. «Miscelanea homenaje a André Martinet. Estructuralismo e historia», I, ed. por D. Catalan, La Laguna, 1957, стр. 163).

Классическая грамматика, которая в «Principia» рассматривается как крайне примитивно эмпирическое проявление синтагматического структурализма, истолковывается в этой работе с точки зрения синтагматики. С моей точки зрения, синтагма представляет собой не более и не менее «магическую» структуру, чем клетка в биологии.

Перевел с французского
М. М. Маковский

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

Л. И. ЖИРКОВ

ВСЕГДА ЛИ СЛУЧАЙНО ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО ЯЗЫКОВ?

(К вопросу о строе языка кечуа)

В библиотеке Института языкознания Академии наук СССР среди книг по американистике хранится довольно редкое, хотя и не очень старое издание — книга Э. В. Миддендорфа о языке кечуа[1]. В заглавии этой книги стоят слова Runa Simi, буквально: «устный язык, язык рта»; кечуа, коренное население Перу, Боливии и Эквадора, называя так свой язык, как бы подчеркивает, что он является именно только устным, «бесписьменным» языком. Работа Э. В. Миддендорфа интересна прежде всего тем, что она представляет собой прекрасное описание грамматического строя языка кечуа и в этом смысле может считаться вообще образцом описательной грамматики, ни в чем не уступающим грамматикам П. К. Услара по языкам Северного Кавказа, которые русские кавказоведы привыкли считать высшим достижением описательного языкознания[2]. Изложение грамматики Э. В. Миддендорф, как и П. К. Услар, сопровождает текстами, снабженными точными переводами, что позволяет читателю грамматически анализировать эти тексты.

Среди языков Южной Америки язык кечуа занимает несколько особое положение. Относительно этого языка с большей или меньшей определенностью в науке не раз высказывалось предположение о его связи с тюркскими языками, о его возможном родстве с этой группой языков Старого Света. В последнее время в защиту этой гипотезы высказывались проф. Б. Феррарио[3] и известный кавказовед Ж. Дюмезиль[4]. Иногда лингвисты говорят о сходстве грамматического строя кечуа вообще с широким кругом урало-алтайских языков, но при этом все же подчеркивают типологическую близость его в особенности с тюркскими языками. Дюмезиль дохо-

[1] E. W. Middendorf, Das Runa Simi oder die Keshua-Sprache wie sie gegenwärtig in der Provinz von Cuzco gesprochen wird, Bd. I—II, Leipzig, 1890.

[2] Эпоха, когда писались работы Э. В. Миддендорфа и П. К. Услара, наложила на эти труды свой отпечаток в том, что употребляемую их авторами грамматическую терминологию мы с нашей современной точки зрения можем найти несколько устарелой и даже, пожалуй, наивной; но надо помнить, что в ту пору не было еще фонематической терминологии, изощренной до того, что термины «вариант фонемы» и «вариация фонемы» имеют строго определенный различный смысл. Не было тогда и тех успехов экспериментальной фонетики, которые позволяют нам без затруднений описывать артикуляции и классифицировать звуки, сводя их в таблицы звуков. Фонетические и грамматические категории лингвисты называли тогда так, как они назывались в тогдашних школьных грамматиках. И кавказовед П. К. Услар, и американист Э. В. Миддендорф не дают нам ни правильно построенных артикуляционных таблиц по фонетике, ни сколько-нибудь разработанной фонетической терминологии. Любопытнее всего, что по отдельным местам их работ мы можем заметить, что оба эти лингвиста весьма близко подходили к понятию фонемы (в отличие от звука), но там, где уместно было бы говорить о фонеме, они говорили о звуке, а кое-где даже о букве, что было естественно для того времени и что прекратилось только после того, как Бодуэн де Куртенэ создал теорию фонем.

[3] См. B. Ferrario, La investigacion linguistica y el parentesco extra-continental de la lengua «Qhexwa», Montewideo, 1934 (Apartado de la Revista de la sociedad «Amigos de la arqueologia», t. VII, 1934).

[4] G. Dumézil, Remarques sur les six premiers noms de nombres du turc, «Studia linguistica», année VIII, 1954, № 1.

дит в этом отношении даже до некоторой наивности. Он говорит, что в странах Андов «было замечено, что турки, поселившиеся в Перу, с особой легкостью усваивают „la langue générale“» этой страны, т. е. язык кечуа[1]. Какой характер носит эта типологическая связь двух языковых групп, столь далеких друг от друга географически и культурно, остается неясным.

Для выяснения причины такого явного сходства Б. Феррарио и Ж. Дюмезиль ищут доказательства родства этих языков в согласии с ортодоксальными положениями сравнительно-исторического языкознания. Как известно, эти положения гласят, что доказательством родства может служить только звуковое сходство корней и формантов, причем звуковые формы сравниваемых элементов должны выявлять правильные звуковые соответствия. Только установление этого факта может доказать, что сравниваемые языки в прошлом восходили к общему праязыку (языку-основе) и что, следовательно, они лингвистически родственны, относятся к одной семье или группе языков. Доказанное этим методом родство индоевропейской семьи языков до сих пор служит образцом применения правильной методологии в вопросе о родстве языков. Попытки Б. Феррарио и Ж. Дюмезиля именно этим методом решить вопрос о родстве кечуа и тюркских языков, как нам кажется, не являются удачными и убедительными, хотя их авторы и остались после своих работ сторонниками якобы генеалогического родства кечуа с группой тюркских языков в Старом Свете.

Б. Феррарио в указанной выше работе утверждает, что по своему грамматическому строю язык кечуа является вовсе не так называемым «полисинтетическим» языком, к каким его прежде по традиции причисляли, а языком агглютинирующим, близким по типу своей агглютинации именно к строю тюркских языков. Много языков на континенте Северной и Южной Америки по традиции считались полисинтетическими, и хотя американисты делили их на отдельные языковые семьи, это деление для неамериканистов во многих случаях оставалось неубедительным. Согласно старым взглядам, язык кечуа описывали как язык полисинтетический и даже строй этого языка признавали примером типичного полисинтетизма. Миддендорф также признает правильным это традиционное мнение, говоря об этом в нескольких местах своей грамматики, но оказывается, что главным признаком полисинтетизма в глазах Миддендорфа является способность языка образовать длинные агглютинационные цепочки, которые в переводе на европейские языки не могли быть адекватно переданы одним словом, а требовали словосочетаний из нескольких слов. Частое употребление многочисленных деепричастий и причастий, посредством которых тюркские языки передают то, что в индоевропейских языках выражается посредством придаточных предложений (определительных, относительных, временных и проч.), свойственно и языку кечуа. Это-то и явилось одной из тех особенностей, которые позволяют Дюмезилю при сравнении кечуа с тюркскими языками подчеркивать то обстоятельство, что во многих случаях при переводе фразы с кечуа на турецкий язык употребляется то же число морфем, присоединяемых в том же порядке, как и в кечуа, причем по-турецки каждой морфеме в языке кечуа соответствует элемент, исполняющий ту же функцию[2].

Что касается Б. Феррарио, то все его сближения как корней, так и аффиксов кажутся нам весьма слабыми и неубедительными, тем более что он не формулирует никаких звуковых соответствий. После знакомства с работой Феррарио мы остаемся при убеждении, что типологическое сходство в морфологии между кечуа и тюркскими языками несомненно существует, что же касается родства этих языков между собой, то это попрежнему остается под вопросом.

[1] G. Dumézil, указ. соч., стр. 1.
[2] Там же, стр. 3.

Дюмезиль исходным пунктом своих изысканий делает сравнение некоторых числительных первого десятка (1—6) в тюркских языках (особо к сравнению привлекается чувашский материал) с числительными кечуа[1].

Кечуа	Тюрк.	Чуваш.
1 — *phiwi*	*bir*	*per*
2 — *iskay*	*iki*	*ik*
3 — *kimsa*	*üč*	*irš*
4 — *tawa*	*tört*	*tawat*
5 — *pisqa*	*biš*	*pilek*
6 — *suqta*	*alti*	*ult*

В этой таблице уже с первого взгляда между многими числительными можно заметить определенное сходство. В числительных 3 и 6 сходство не является очевидным, однако Дюмезиль приводит ряд соображений, разъясняющих возведение к общему источнику *q—l* в числительном 6 и наличие *k* в числительном 3. До прихода испанцев кечуа не знал твердого *l*, а начальное *k*, сохраняемое в числительном кечуа 3, могло исчезать (очевидно, через промежуточную ослабленную форму *y*?).

Установив, как он думает, некоторые схождения в ряду числительных, Дюмезиль старается вывести звуковые законы, по которым слова и формы кечуа соответствуют тюркским словам, например: кечуа *khipu* «шнурок с узелками»— тюрк. *yip* «веревка» (исчезновение начального звука типа *k*, как и в тюрк. *üč* — кечуа *kimsa* «три»); кечуа *suqta*, *sojta* — тюрк. *alti* «шесть» (*q* ~ *l*). Подобных сопоставлений Дюмезиль приводит довольно много, и этим его работа выгодно отличается от труда Феррарио. Однако генетическая связь кечуа с тюркской группой языков, как нам кажется, все же остается проблематичной.

Мы видим, что в рассматриваемом случае является несомненным факт типологического сходства языков, относительно которых мы не можем указать, когда и где эти языки, ныне разделенные громадными пространствами океана, культурно соприкасались и могли влиять друг на друга, или каким образом они могли восходить к общему праязыку. Факт этот замечали и замечают многие лингвисты. Можем ли мы говорить, что такие схождения случайны? Всегда ли является случайным типологическое сходство языков?

Исследователь языков Кавказа Н. Ф. Яковлев писал: «Исследуя на территории Советского Союза две наиболее архаические группы языков — яфетическую (ныне называемую иберийско-кавказской. — *Л. Ж.*) на Кавказе и палеазиатскую на крайнем северо-востоке Азии, мы поражаемся наличию в тех и других языках многих грамматических схождений, которые не могут быть объяснены лишь случайным совпадением» (разрядка наша.— *Л. Ж.*)[2].

В глазах Н.Ф. Яковлева главным моментом схождения является сходство синтаксических конструкций — непереходной, переходной и, как ее называет Яковлев, «конструкции с косвенным объектом». К этому Яковлев присоединяет указание на сходство фонетической системы (на наличие надгортанных артикуляций, на наличие глухих латеральных согласных) и на некоторые другие черты фонетического и морфологического сходства. Наконец, вслед за американистом Боасом, Яковлев также указывает, что «одной из характернейших черт американо-индейских языков признается именная и местоименная инкорпорация»[3].

В Америке существуют языки очень различного строя, от инкорпорирующего — полисинтетического — до агглютинирующего (примером последнего является язык кечуа). Среди многочисленных языков Америки

[1] Таблица приводится с упрощениями в транскрипции.

[2] Н. Ф. Яковлев, Древние языковые связи Европы, Азии и Америки, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 2, стр. 141.

[3] Там же, стр. 147.

можно встретить многие разновидности полисинтетического строя, который сам по себе представляется чрезвычайно сложным. В числе многих его разновидностей, однако, есть и типы языков, грамматически несложных, как несложны тюркские языки, с которыми весьма сходен, как мы видим, южноамериканский язык кечуа. Несмотря на то, что лингвисты, пользуясь методом сравнительно-исторического изучения американских языков, сумели выделить в Америке несколько родственных групп языков, там еще остаются многочисленные так называемые «изолированные» языки, которые наука не может отнести ни к одной ветви или языковой семье. На всех этих пространствах строй языков представляется как бы колеблющимся от крайне усложненных полисинтетических типов до сравнительно простых типов агглютинации. Но ведь в этой массе, несомненно, одни языки на протяжении веков развивались из других, хотя пути этого развития в деталях наукой до сих пор еще не выяснены. Не следует ли обратить внимание не на поиски праформ отдельных праязыков, которых уже и сейчас в Америке найдено немало, а на ход развития одних языковых типов из других, им предшествовавших? В каком направлении шло и могло идти языковое развитие и в каком оно не могло идти?

В частности, возвращаясь к вопросу о языке кечуа, надо спросить себя, мог ли простой и несложный агглютинирующий тип языка развиваться из языка полисинтетического, или, наоборот, усложняясь все более и более, строй полисинтетизма мог развиваться из простой агглютинации? Во всяком случае, вряд ли мы можем согласиться с предпосылкой, что любой строй языка может развиваться из любого другого строя, что вся сложность процесса развития языковых типов заключается только в историческом действии звуковых законов и аналогии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Д. А. ШТЕЛИНГ

О НЕОДНОРОДНОСТИ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Учение о грамматических категориях занимает центральное место в грамматической науке. Между тем отсутствие единого толкования и определения сущности грамматической категории свидетельствует о том, что эта важнейшая проблема не получила еще достаточно ясного решения[1].

Закономерно ли понимать под «грамматическими категориями» не только такие категории, как число, вид, залог и т. д., но и части речи?[2] Справедливо ли утверждение, что наличие в языке грамматической формы слова уже свидетельствует о существовании той или иной грамматической категории у данной части речи? Какова внутренняя закономерность, лежащая в основе грамматических категорий и отличающая их от простого ряда форм? В чем различие между грамматическими категориями частей речи и предложения? В чем причина того, что одни категории обнаруживают тенденцию к сокращению количества рядов форм до двух (ср. число), в то время как количество рядов форм других категорий (ср. формы времени в английском языке) возрастает? Грамматические категории могут изучаться лишь на материале конкретного языка и всегда отражают специфику этого национального языка. В данной статье рассматриваются грамматические формы и категории современного английского языка.

Обратимся к рассмотрению категории числа — единственной прочно удерживающейся и развивающейся грамматической категории существительного в современном английском языке. Она обнаруживается в противопоставлении форм единственного и множественного числа: *book* «книга», *books* «книги».

Общее (понятие числа) здесь дано как противопоставление двух несовместимых по значению форм (единичность — множественность). Форма *book* является в системе английского языка выразителем единственного числа только потому и постольку, поскольку ей противопоставлена форма *books*, выражающая несовместимое с ней значение множественности, и наоборот: форма *books* является выразителем значения множественности только постольку, поскольку ей противопоставлена форма единственного числа *book*. При этом, поскольку категориальное значение здесь выражено как отношение и возникает из противопоставления форм, одна из этих форм (единственного числа) не имеет специального морфологического показателя. Понятие отрицательной формы или нулевых показателей формы было, как известно, обосновано еще в трудах Ф. Ф. Фортунатова и И. А. Бодуэна де Куртенэ. На большую роль

---

[1] См. Б. Н. Головин, К вопросу о сущности грамматической категории (на материале русского языка), ВЯ, 1955, № 1; А. И. Моисеев, О грамматической категории, «Вестник ЛГУ», 1956, № 2.

[2] См. А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 246.

нулевой флексии обращают внимание также сторонники оппозитивной морфологии[1].

Глагол в английском языке, как и в русском, имеет не только личные (предикативные), но и именные (непредикативные) формы (инфинитив, герундий и причастие). Категориями, проходящими через всю систему глагола (т. е. присущими как предикативным, так и непредикативным формам) и не связанными с употреблением глагола в какой-либо одной синтаксической функции, в английском языке являются только три — категории залога, вида и временной отнесенности (перфект — неперфект)[2].

Проиллюстрируем это на примере инфинитива как наиболее характерной глагольной формы. Грамматическое значение его основной формы (*to write*) многогранно, и это раскрывается лишь в противопоставлении ее другим формам инфинитива, т. е. зависит от того, выразителем какого отношения она является. Так, формы *to write* и *to be written*, будучи противопоставлены друг другу, образуют залоговую пару и являются выразителями действительного и страдательного залогов инфинитива (особых форм среднего залога в английском языке нет). Та же форма *to write* в противопоставлении форме продолженного вида *to be writing* является уже выразителем другого грамматического значения — общего вида. Наконец, будучи противопоставлена перфектной форме *to have written*, та же форма *to write* оказывается уже неперфектной. Противопоставление этих двух форм образует грамматическую категорию временной отнесенности:

to write	залог	*to be written*
	вид	*to be writing*
	временная отнесенность	*to have written*

Указанные три категории органически связаны со значением процесса как такового: они выражают его направленность (залог), его различную характеристику (вид) и соотнесенность (или несоотнесенность) с последующим моментом (перфект — неперфект).

Итак, из способа выражения основных грамматических категорий существительного и глагола английского языка следует, что в основе их лежит определенное отношение. В этом прежде всего отличие их от частей речи: последние не являются выразителями отношений, они номинативны, и именно это принципиальное различие и не позволяет рассматривать части речи в одном плане с грамматическими категориями[3].

Собственно грамматическую категорию можно определить как отношение, выраженное в грамматическом строе языка через противопоставление двух (и не более) взаимоисключающих друг друга по значению рядов (или групп) форм: это единство взаимоисключающих противоположностей. Таким образом, в грамматической категории отражен основной закон человеческого мышления. «...всему познанию человека вообще свойственна диалектика»[4], а сущность диалектики — это «раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними»[5]. Грамматическая категория образуется на основе противопоставления двух (и только двух!) рядов форм — это раздвоение единого.

---

[1] См. R. Jakobson, Das Nullzeichen, BCLC, fasc. V (année 1938—1939), 1940.

[2] А. И. Смирницкий, Перфект и категория временной отнесенности, «Ин. яз. в шк.», 1955, №№ 1—2. Исключение составляют лишь вообще неизменяемые формы глагола английского языка: причастие II, императив и одна из форм конъюнктива, пережиточно сохраняющаяся в языке (*he be*).

[3] См. о том же в дискуссии о частях речи (ВЯ, 1955, № 1, стр. 165).

[4] В. И. Ленин, К вопросу о диалектике, «Философские тетради», 1947, стр. 329.

[5] Там же, стр. 328.

О степени развитости (отвлеченности) морфологической категории следует судить не по тому, обнаруживается ли она в формах всех слов данной части речи; морфологическая категория является одной из характеристик части речи, т. е. целого разряда слов, а не отдельного слова. Например, существительное, обозначающее вещество или материал, не может, не изменяя своего лексического значения, принимать форму множественного числа. Показателем развитости определенной категории является то, насколько она отвечает сущности категории вообще, т. е. насколько ясно и четко она выражает единство взаимоисключающих противоположностей. (Ср., *например*, исчезновение двойственного числа в русском, английском, немецком и др. языках.) Характерно, что к аналогичному выводу приходит А. А. Реформатский, говоря о степени грамматической абстракции в категории числа, хотя он и исходит из совершенно иного понимания грамматической категории[1].

*

Закономерность, лежащая в основе одной грамматической категории, не может не являться закономерностью всех вообще грамматических категорий, ибо в противном случае мы неизбежно говорили бы о принципиально различных языковых явлениях[2]. Естественно, возникает вопрос о том, как же объяснить с точки зрения данного выше определения наличие в языках категорий, выражаемых более чем двумя рядами форм, например времени и наклонения? Ведь в историческом плане здесь имело место не исчезновение, а, наоборот, сравнительно позднее появление третьего ряда (ср., например, развитие форм будущего времени в русском, английском, немецком и других языках).

Анализ форм изъявительного и сослагательного наклонений со стороны их назначения в речи, их синтаксической функции, способа выражения и объема их грамматического значения приводит к выводу, что эти два наклонения, в противопоставлении друг другу, образуют грамматическую категорию, качественно отличную от упомянутых выше грамматических категорий, также выражаемых глагольными формами. В отличие от них, формы изъявительного и сослагательного наклонений употребляются в функции только одного члена предложения — сказуемого — и связаны не с характеристикой процесса как такового, а выражают отнесение содержания всего предложения к действительности, т. е. являются морфологическим средством выражения предикативности в двусоставном предложении: то, что сообщается в предложении, может быть представлено говорящим либо как реальное, либо как только предполагаемое или воображаемое. При этом модальное отношение органически связано с временным и неотделимо от него.

Существенно подчеркнуть, что личные (предикативные) формы, т. е. те, к которым относятся формы изъявительного и сослагательного наклонений, являются выразителями модально-временных отношений в сообщении независимо от содержания сказуемого, т. е. от того, характеризуется ли предмет, выраженный в подлежащем, каким-либо действием, состоянием, качественным признаком или нахождением его в каких-либо условиях (иначе говоря, это может быть не только глагольное сказуемое):

---

[1] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, стр. 248.

[2] Речь идет о раскрытии сущности грамматической категории. Это не исключает глубоких качественных различий между отдельными грамматическими категориями, если они рассматриваются в другом плане — с точки зрения их связи с лексико-семантическим своеобразием словесного материала и со словообразованием (см. В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 125).

Изъявит. наклонение	Сослагат. наклонение
He speaks «Он говорит»	*He would speak*
He is glad «Он рад»	*He would be glad*
He is clever «Он умен»	*He would be clever*
He is here «Он здесь»	*He would be here*

Объем грамматического значения, выражаемого формами наклонений, шире объема значения какой-либо одной из грамматических категорий, связанных лишь с действием; ведь изъявительное, равно как и сослагательное наклонение не ограничивается противопоставлением по линии какой-либо одной из глагольных категорий, а включает всю их систему (общий вид — продолженный вид; действительный залог — страдательный залог; неперфект — перфект):

Изъявит. наклонение	Сослагат. наклонение
He asks → *He is asked* *He asks* → *He is asking* *He asks* → *He has asked*	*He would ask* → *He would be asked* *He would ask* → *He would be asking* *He would ask* → *He would have asked*
То же в отношении форм past и future	

Необходимо еще раз подчеркнуть, что модальное и временное отношения неотделимы друг от друга в формах изъявительного и сослагательного наклонений и что, следовательно, рассмотрение одного из этих значений в отрыве от другого механистично и недопустимо. Вот почему традиционное выделение особой грамматической категории времени представляется неправомерным.

Кратко рассмотрим выражение модально-временных значений в формах изъявительного наклонения. Изъявительное наклонение выражается в формах present, past и future. Система всех глагольных форм в present, past и future и есть изъявительное наклонение[1]. Это не может быть иначе: изъявительное наклонение — это система глагольных форм, употребляемых при утверждении реальности сообщаемого, а понятие реальности явления органически связано с понятием объективно существующего времени, и формы present, past и future выражают это. Утверждая реальность сообщаемого, мы одновременно неизбежно характеризуем его как существующее в действительности, т. е. в реально существующем времени.

Как формы времени present, past, future обозначают объективно существующее время, каждая согласно своему значению: форма present выражает объективно существующее время вообще, без каких-либо ограничений; форма past — время уже истекшее, безвозвратно ушедшее в прошлое; форма future — время, в действительности еще не наступившее, относящееся к будущему. Но это еще только одна сторона значения этих форм, и, следовательно, их грамматическая сущность полностью еще не раскрыта —ведь это прежде всего формы изъявительного наклонения.

При употреблении в речи форм present, past, future в них может ярче проявляться то модальное, то временнóе значение. Это особенно ясно можно показать на примере формы present. К какому бы времени сообщаемое в форме present ни относилось, оно всегда истинно, соответствует действительности — таково модальное значение этой формы. Отсюда отношение сообщаемого в present к моменту речи: оно верно, справедли-

[1] См. о том же: Н. С. Поспелов, Категория времени в грамматическом строе русского глагола, сб. «Вопросы теории и истории языка...», стр. 296.

во, действительно для момента речи, имеет к нему то или иное отношение, актуально для него. Все это относится к любой форме present, независимо от того, выражен ли глагол в форме продолженного или общего вида, в перфектной или неперфектной форме.

Поскольку форма present как временна́я выражает реальное время без каких-либо ограничений (и, следовательно, включает момент речи также), постольку эта форма может в предложении наполняться самым различным содержанием. Форма present далеко не всегда отвечает на вопрос «когда происходит действие?» и не всегда означает, что то, о чем сообщается, обязательно относится к моменту сообщения. В основном здесь следует различать два случая: чем более сообщаемое по содержанию связано с самим моментом речи, тем ярче в форме present проявляется временно́е значение (отнесенность сообщаемого непосредственно к настоящему моменту, связь с ним во времени): *I* ***know*** *what I am saying* «Я знаю, что говорю»; *and what else* ***is happening?*** «а что еще (сейчас) происходит?»; *They* ***are going to leave*** *London* «Они собираются уехать из Лондона». Наоборот, чем менее сообщаемое связано с настоящим моментом, т. е. чем более оно действительно, верно для любого времени, тем сильнее в форме present проявляется ее модальное значение (действительность сообщаемого вообще и то, что оно справедливо, истинно и для момента речи): *The book* ***contains*** *a review of the fundamental grammatical principles and forms* «Книга содержит в себе обзор основных грамматических правил и форм»; *France* ***is separated*** *from England by the English Channel* «Франция отделена от Англии Ламаншем».

Модальное значение present особенно отчетливо выступает в формулировках законов, правил, в пословицах и поговорках, т. е. в определении того, к чему человек пришел на основании долгого опыта, исследований и наблюдений и что, следовательно, истинно, достоверно: *Twice two* ***makes*** *four* «Дважды два четыре»; *The continuous form* ***is used*** *to express an action as going on, as being in progress* «Форма продолженного вида употребляется для выражения действия в его течении, в процессе его совершения»; *Still waters* ***run*** *deep* «В тихом омуте черти водятся»; «*Who can calculate on the fortitude of one whose life* ***has been*** *a round of pleasures?*» (W. Irving) «Кто может положиться на стойкость того, кто в жизни знал одни удовольствия?».

Модально-временно́е значение отчетливо проявляется в формах present при употреблении их в придаточных предложениях условия и времени (а иногда и в придаточных дополнительных), при общей отнесенности содержания предложения к будущему: говорящий как бы исходит из реально существующей предпосылки — из того, что сказанное в придаточном предложении истинно, достоверно. Специфика значения present получила в английском языке и формальное выражение: в отличие от форм past и future, формы present в 3-м лице единственного числа имеют флексию (*s*) (*The student works — the students work*). Не случайно также, что в русском языке отсутствие связочного глагола характерно лишь для настоящего времени.

Форма past выражает время уже истекшее, безвозвратно прошедшее. Следовательно, то, что сообщается в сказуемом с глаголом в этой форме, является уже реальным фактом прошлого. Таким образом, значение формы past также двояко: то, что она выражает время уже прошедшее, является ее временным значением, а то, что сообщаемое в действительности является реальным фактом (прошлого), — это ее модальное значение.

Форма future выражает время, реально еще только грядущее. Следовательно, то, что сообщается в сказуемом, выраженным в этой форме, только станет реальным фактом. Спецификой модального значения формы future является то, что сообщаемое в какой-то мере всегда является проблематичным.

Итак, формы present, past и future нельзя рассматривать только как формы времени, они выражают также и модальность изъявительного наклонения.

Системе форм изъявительного наклонения противопоставлена система форм наклонения сослагательного; последние употребляются в сообщениях о фактах не реальных, а лишь воображаемых или предполагаемых, в связи с чем и временное отношение в формах сослагательного наклонения выражается своеобразно — принципиально иначе, чем в изъявительном.

В современном английском языке формы, выражающие сослагательное наклонение, неоднородны, так как они являются выразителями категории не морфологической, а синтаксической; наличие в этом случае двух рядов форм связано с их различным использованием в синтаксической структуре предложения. Так, синтетические формы (ср. *If I **knew***; *If I **were***) употребляются, как правило, лишь в трех типах придаточных предложений, т. е. являются формами выражения подчинительных связей в сложном предложении, и лишь одна — основная — форма (обычно называемая в грамматиках the conditional mood — «условное наклонение») употребляется в простом предложении, в главном предложении сложного периода, в придаточном определительном предложении и в некоторых других случаях.

Интересно отметить, что синтетические формы сослагательного наклонения омонимичны формам прошедшего времени изъявительного наклонения: их значение выявляется только в сложном предложении. Поскольку формы сослагательного наклонения выражают нечто воображаемое, предполагаемое, а не реально существующее во времени, они, естественно, не могут быть выражены в present, past и future — они являются лишь либо неперфектными, либо перфектными. Как и в изъявительном наклонении, модальное значение в них тесно переплетается с временным, причем перфектные формы выражают также бóльшую нереальность сообщаемого факта, чем неперфектные, и поэтому употребляются главным образом в отношении к прошлому, т. е. там, где осуществление предполагавшегося или желаемого уже невозможно: *But for the storm the ship would have come in time* «Если бы не шторм, пароход пришел бы вовремя». Следует заметить, что вопрос об употреблении перфектных форм сослагательного наклонения в английском языке пока изучен еще недостаточно.

Итак, система форм изъявительного наклонения, с одной стороны, и система форм сослагательного наклонения, с другой, будучи противопоставлены друг другу, составляют категорию, выражающую предикативность предложения. Эта категория выражается в формах глагола-сказуемого двусоставного предложения[1].

Изъявит. наклонение	Сослагат. наклонение
present	subjunctive non-perfect
past	subjunctive perfect
future	

*

Разграничение грамматических категорий части речи и предложения важно не только в теоретическом, но и в практическом плане, поскольку

[1] Грамматическая категория наклонения — не единственная грамматическая категория предложения, выражаемая в сказуемом двусоставного предложения. Интересно отметить, например, что сказуемое английского языка (независимо от того, выражено ли оно формами изъявительного или сослагательного наклонения) может начинаться с модального глагола. Поскольку модальные глаголы в английском языке могут употребляться исключительно в составе сказуемого, возникает возможность еще одного, совершенно иного противопоставления, основанного на наличии или, наоборот, отсутствии модального глагола в сказуемом.

выделение глагольных форм, выражающих собственно глагольные категории и категорию, связанную с предикацией, позволяет не только более точно определить значение отдельных форм, но и выявить закономерность в употреблении обстоятельств времени. С одной стороны, формы глагола как формы слова могут сочетаться обстоятельственными словами и оборотами, и это относится к синтаксису словосочетания. Здесь есть случаи очень характерной сочетаемости. Так, например, перфектная форма, выражающая действие в периоде и соотнесенность действия, часто сочетается с обстоятельствами, обозначающими количество времени (*for ten days* «в течение десяти дней»; *for a moment* «с минуту»), целый период (*all his life* «всю свою жизнь»), соотнесенность с начальным или последующим моментом периода (*since then* «с тех пор»; *till* 1950 «до 1950 года») и т. д.

С другой стороны, обстоятельства могут относиться не только к глагольной форме, а быть частью предложения в целом, часто обособленным его членом; это относится к синтаксису предложения. Выбор таких обстоятельств, конечно, не случаен, но он уже предопределяется семантикой всего предложения в целом и в значительной мере — семантикой форм present, past, future. Так, например, если глагол-сказуемое употреблен в одной из форм past, в предложении часто употребляются обстоятельства точного времени (in 1940, yesterday «вчера» и т. п.). В то же время такие обстоятельства, как правило, не употребляются, если глагол выражен в форме present (хотя, например, форма present perfect обычно выражает действие, имевшее место в период, предшествовавший моменту речи) и т. д.

*

Грамматические категории — не просто формы, не «набор» форм, а строго определенное отношение между ними, и, следовательно, наличие в языке нескольких форм одного и того же слова само по себе не является еще грамматической категорией. Нельзя ограничиваться и морфологическими оппозициями в плане структурной морфологии (оппозиция падежей, оппозиция числа и рода существительных, оппозиция глагольных форм времени и др.)[1]. Необходимо расчленить все эти совершенно различные по своему назначению формы. Такие формы, как формы падежа, рода и степени сравнения, конъюнктив в современном английском языке и др., по своему назначению в системе языка принципиально отличны от форм описанных выше грамматических категорий, в связи с чем и количество их не ограничивается обязательно двумя рядами (группами). Иной является и тенденция в развитии этих форм[2]. Особо следует выделить формы, связанные с выражением чувства и воли.

В английском и во французском языках, например, падежные формы существительного исчезли совершенно[3]. Функции имени существительного в предложении определяются другими средствами (прежде всего, порядком слов). Что же касается семантико-синтаксических связей в словосочетаниях с именем, то падежные формы выражали их слишком обще и недифференцированно, в то время как эти связи непрерывно усложнялись. Именно поэтому в современном английском языке отношения между компонентами таких словосочетаний выражаются уже не формами имени, а при помощи разнообразных предлогов, порядка следования ком-

---

[1] См. Б. Трнка и др., К дискуссии по вопросам структурализма, ВЯ, 1957, № 3.

[2] См., например, о процессе стирания и унификации падежных флексий в современном немецком языке: С. А. Миронов, Некоторые вопросы сравнительной морфологии немецких диалектов, ВЯ, 1957, № 3, стр. 21.

[3] См. Г. Н. Воронцова, Об именном форманте *'s* в современном английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1958, № 4, стр. 18.

понентов и семантическими связями между ними; именная конструкция со значением принадлежности получила характерное оформление при помощи особого форманта *'s* (*John's book* «книга Джона»), но то же отношение может быть выражено также словосочетанием с предлогом *of* (*the book of John*).

Как бы ни был сложен и спорен вопрос о роли падежных форм в языках, где эти формы удерживаются[1], все же несомненно, что они не являются тем языковым материалом, на котором может решаться вопрос о сущности грамматической категории, хотя такие попытки, к сожалению, имеют место до сего времени[2]. Следует заметить, однако, что в отношении русского языка в литературе уже высказывалась точка зрения, отрицающая падеж как грамматическую категорию[3].

Интересно отметить также тенденцию к более дифференцированному выражению всех разновидностей степеней качеств. Формы степеней сравнения прилагательного недостаточны для выражения этих все усложняющихся значений, вследствие чего рассмотрение форм прилагательного в грамматиках неизменно связывается с рядом сочетаний (ср. выражение большей или меньшей степени качественного признака: *more interesting — less interesting* «более интересный»— «менее интересный») равной или, наоборот, неравной степени качества, выражаемой соотносительными оборотами с союзами ***as** long **as** — **not so** long **as*** (***так** же длинен, **как** — **не так** длинен, **как***).

Интересно наблюдение, что сами формы степеней сравнения «обычно рассматриваются в учебниках грамматики как формы прилагательного, т. е. включаются в словоизменение, но не упоминаются в числе грамматических категорий, присущих прилагательному»[4]. Более того, в литературе высказывалось даже мнение о том, что изменение по степеням сравнений образует новую лексическую единицу, содержащую количественное изменение качественного признака (ср. *умный* и *умнейший*)[5].

Форма может служить средством выражения семантико-синтаксических связей в сложном предложении. Так, например, в современном английском языке следует четко различать, с одной стороны, возникшие лишь в новоанглийский период аналитические формы сослагательного наклонения (*I should do*; *he would do*), а также формы выражения нереальности, употребляемые лишь в некоторых типах придаточных предложений (*If*) ***I knew*** «если бы я знал»), с другой же стороны, сохраняющиеся формы древнеанглийского конъюнктива (*he **go**, it **be***) и их аналитические эквиваленты (*he **should go***).

Употребление этих форм конъюнктива (и их эквивалентов) ограничено узкими рамками сложных предложений, в которых выражается предположение, оценка чего-либо (предложение, требование), а также предложениями, выражающими эмоции (опасение, сомнение, недоумение и т. п.). За редкими, всегда стилистически обусловленными случаями формы конъюнктива употребляются в придаточных предложениях, обычно после слов определенного лексического значения. Иначе говоря, это формы выражения семантико-синтаксических связей в сложных периодах строго определенного содержания. Интересно отметить, что в использовании форм конъюнктива наблюдается расхождение между английским и американским вариантами английского языка.

---

[1] См. ряд дискуссионных статей о категории падежа в журнале «Русский язык в школе»: В. Мигирин, К вопросу об определении категории падежа (1953, № 5); Ю. В. Солоницын, Еще к вопросу об определении категорий падежа(1955, № 6); И. К. Кучеренко, К вопросу о категории падежа (1957, № 5).

[2] См. А. И. Моисеев, указ. соч.

[3] См. В. Мигирин, указ. соч.

[4] В. И. Жигадло, И. П. Иванова, Л. Л. Иофик, Современный английский язык, М., 1956, стр. 40.

[5] См. И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.—Л., 1945, стр. 216—217.

Еще более специфичны по сравнению с формами грамматических категорий формы, связанные с выражением чувства и воли. «Грамматика рассматривает формы синтаксического выражения мысли, чувства и воли... У каждого языка есть свои жизненно-экспрессивные краски, многообразие способов выражения предикативности»[1]. Нельзя, например, рассматривать форму императива (так называемого «повелительного наклонения») в одной плоскости с формами грамматической категории наклонения (т. е. с формами изъявительного и сослагательного наклонений). «Не только интонация, не только синтаксическое значение..., но и морфологическое строение решительно выделяют повелительное наклонение из общей системы русского глагола»[2]. Это полностью относится и к английскому языку. Форма императива отличается экспрессивностью, она неотделима от особой интонации, и не случайно в учебниках эта форма рассматривается не в связи с другими глагольными формами, а в системе особых трехчленных сочетаний, особых формул побуждения с экспрессивно-модальной частицей *let* («пусть», «давайте»), выражающих приглашение к совместному действию (*let us go*) или распоряжение в отношении действия, которое ожидается от 3-го лица (*let him do it*). Такое рассмотрение императива вполне закономерно, тогда как простое перечисление «наклонений» (изъявительное, сослагательное, повелительное) нелогично и не раскрывает существа вопроса.

В результате вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. К изучению грамматических форм и категорий следует подходить с учетом назначения форм в системе языка и исторической тенденции их развития. Задача состоит в том, чтобы, во-первых, дифференцировать грамматические категории частей речи и предложения, а *во-вторых*, собственно грамматические категории, развивающиеся и подчиняющиеся определенной закономерности, отграничить от форм, связанных с выражением чувства и воли, семантико-синтаксических связей в словосочетании и в предложении и т. п.

2. Грамматическая категория есть наиболее общее значение, данное в грамматическом строе языка как отношение, путем противопоставления двух (и не более) взаимоисключающих друг друга по значению рядов (групп) форм. Это — единство взаимоисключающих противоположностей.

3. Части речи не выражают отношений — они лишь называют предметы, процессы и т. д., и поэтому относить их к грамматическим категориям не следует.

4. Грамматические категории — это не просто ряд форм, а строго закономерное отношение между ними. Следовательно, не всякий ряд форм изменения одного и того же слова образует грамматическую категорию (формы конъюнктива и императива в современном английском языке; формы степени сравнения, падежные формы и др.).

5. Показателем развитости той или иной грамматической категории является то, насколько полно и четко она соответствует своей сущности (единство взаимоисключающих противоположностей). Полный охват категорией всех слов данной части речи не может еще являться бесспорным критерием развитости морфологической категории.

6. Грамматические категории могут быть категориями как частей речи, так и предложения. Они различаются по объему выражаемого ими грамматического значения и, главное, по синтаксическим функциям их форм, по назначению в языке, по содержанию выражаемых ими отношений, в то время как лежащая в основе всех грамматических категорий закономерность одинакова.

---

[1] «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, Изд-во АН СССР, М., 1954, стр. 69, 75—76.

[2] В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1947, стр. 590.

7. Поскольку сущностью грамматической категории является о т н о ш е н и е между двумя формами (а не сами формы), постольку один из рядов форм может и не иметь специального показателя.

8. Система форм изъявительного наклонения противопоставлена системе форм сослагательного наклонения: отношение между ними образует категорию, выражающую предикативность всего двусоставного предложения в целом. Формы изъявительного и сослагательного наклонений выражают как модальное, так и в временно́е значение; эти значения неотъемлемы друг от друга, поэтому выделение двух особых категорий — изъявительного наклонения и времени — неправомерно.

9. Для изъявительного и сослагательного наклонений (как выразителей категории не части речи, а предложения) характерно многообразие форм их выражения. Изъявительное наклонение передается всей системой глагольных форм в present, past, future. В сослагательном наклонении неоднородность форм связана со структурой сложного предложения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

В. П. ГРИГОРЬЕВ

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В процессе заимствования в словарный состав заимствующего языка попадают и укрепляются в нем не только корневые и производные, но и сложные слова других языков. Словарный состав современного русского языка содержит немало таких иноязычных сложных существительных, как *галстук*, *рейсшина*; *маршрут*, *кастет*; *вокзал*, *трамвай*; *лакмус*; *локомотив* и т. п., которые никак не обнаруживают сложности своего состава и по существу ничем не отличаются от заимствованных простых корневых существительных[1].

Довольно многочисленные случаи более «трудной» судьбы заимствованных сложных существительных не нарушают общей тенденции к утрате их составными частями словообразовательной активности. Так, заимствование русским языком слова *курзал* привело не к оживлению состава слова *курорт*, а лишь к тому, что *курзал* с течением времени переосмыслилось как сокращение *кур*(*ортный*) *зал* или по крайней мере получило возможность такого переосмысления. Даже в том случае, когда заимствуется целый ряд слов, объединяемых какой-либо общей для них основой языка-источника, словообразовательная активность их частей обычно не оживает. Ср. *авангард — арьергард*, *крендешин — файдешин*, *кашне — пенсне*, *маникюр—педикюр*, *портмоне — портплед — портсигар — портфель— портшез*; *трагедия — комедия*; *баскетбол — бейзбол — волейбол — футбол — хандбол — пушбол*; *портвейн — глинтвейн — рейнвейн* и т. п.

Если отвлечься от случаев типа *портмоне — портфель* и под., т. е. от сложных заимствований с повторяющейся первой частью, то в отношении остальных из перечисленных слов и им подобных следует отметить, что в них вторые компоненты, поскольку они повторяются, обладают первичной, простейшей морфологической выделимостью[2]. Однако никакой словообразовательной роли такие компоненты не играют. Для того чтобы осуществились их словообразовательные потенции, компоненты *-гард*, *-бол* и под. должны получить способность к новообразованиям в заимствовавшем их языке[3].

---

[1] Слово *фартук*, например, не ассоциируется с *галстук*; *рейсшина* не связана с *шина*; у слова *вокзал* отсутствуют связи с *зал* и т. д. См. также Л. П. Ефремов, Освоение заимствованных слов русским языком, «Уч. зап. Казах. гос. ун-та им. С. М. Кирова», т. XXV — Язык и литература, Алма-Ата, 1957, стр. 82.

[2] Точно так же обстоит дело с такими «суффиксами», как *-инг* (в *блюминг*, *дансинг*, *демпинг*, *крекинг*, *митинг*, *пудинг*, *смокинг*), выделяемыми «только этимологически». См. Е. М. Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика, М., 1954, стр. 107.

[3] Для признания слов типа *волейбол*, *футбол* и под. сложными существительными русского языка не больше оснований, чем для включения в состав суффиксов морфем *ерея* (*галантерея*, *галерея*, *лотерея*, *оранжерея*) или *-тива* (*инвектива*, *инициатива*, *прерогатива*), как это было сделано акад. В. В. Виноградовым в «Русском языке» (М.— Л., 1947) и от чего он справедливо отказался в своих последних работах по словообразованию. Иноязычные морфемы *-бол* и *-ерея*, в отличие от *-фикация* и *-изм*, одинаково не являются словообразовательными средствами современного русского языка. Их нельзя признать и непродуктивными заимствованными элементами, поскольку в русском языке они никогда не обладали продуктивностью. Ср., однако, *авиобол* у Маяковского.

Одного же факта совпадения основ заимствованных слов типа *бизнесмен*, *клубмен*, *конгрессмен* с реально бытующими в современном русском языке словами *бизнес*, *клуб*, *конгресс* еще недостаточно, чтобы можно было выделить в русском языке морфему *-мен* в качестве активной словообразовательной единицы[1].

Можно отметить немало случаев, когда вторые части заимствованных сложных существительных действительно — по различным причинам и в разной степени — получают в современном русском языке словообразовательную активность[2]. Ср., например: *ипподром*, *аэродром* и *планеродром*, *велодром*, *танкодром*, *ракетодром*; *библиотека*, *глиптотека*, *пинакотека* и *игротека*, *инструментотека*, *картотека*, *фильмотека*; *семафор* и *электрофор*, *светофор*; *галоид*, *дифтонгоид*, *соленоид* и *металлоид*, *суффиксоид*; *телефон*, *микрофон*, *граммофон*, *патефон*, *саксофон*, *ксилофон*, *мегафон* и *магнитофон*, *электрофон*, *таксофон*, *металлофон*, *шлемофон* («Правда» 7 VIII 1955); *биолог* и *текстолог*, *методолог*; *телеграф*, *географ* и *туманограф*, *цинкограф*; *гигрометр* и *газометр*; *микроскоп* и *спектроскоп*; *линолеум* и *торфолеум* и т. п.[3].

Такого рода процессы, как известно, наблюдаются во многих языках мира, в связи с чем в русской грамматической науке подобные слова в последнее время и квалифицируются обычно как «интернациональные сложные слова». Однако еще в «Русском языке» акад. В. В. Виноградова многие из них получали иную словообразовательную характеристику и описывались как суффиксальные (см. ниже). Сам термин «интернациональные сложные слова» вошел в научный обиход без какого-либо теоретического обоснования, опирающегося на конкретный анализ слов типа *телеграф*, *спектроскоп*, *диалектология*, *славянофильство*, *сахариметр* и др. под. Поэтому, чтобы вскрыть природу словообразовательной активности вторых частей «интернациональных сложных существительных», подобных перечисленным в предыдущем абзаце, необходимо прежде всего попытаться описать в общих чертах наиболее обширные их группы[4].

-граф

1. Посредством морфемы *-граф* образуются названия приборов, большей частью но далеко не всегда) самопишущих, точнее, автоматически действующих, например: *анемограф*, *виброграф*, *гектограф*, *кардиограф*, *кимограф*, *курсограф* (ср. *одограф*), *метеорограф*, *мимеограф*, *пантограф*, *сейсмограф*, *стеклограф*, *телеграф*[5], *фонограф*, *эллипсограф* и т. п., а также названия фотоаппаратов специального назначения, например: *астрограф*, *гелиограф*, *спектрограф*. В отдельных словах первая часть имеет в исходе не *-о-*(*-е-*), а *-и-*: *альтиграф*, *лимниграф*.

В постановке ударения (всегда неподвижного) наблюдаются значительные колебания[6]. Большей частью оно приходится на «соединительный гласный». Однако в ряде случаев (*альтигра́ф*, *интегра́ф*, *курсогра́ф*, *ондогра́ф*, *эргогра́ф* и др.), по-видимому, сказывается, с одной стороны, влияние наиболее «частотного» из данной группы слова *телегра́ф*, а с другой — тенденция к разграничению по ударению со следующей группой.

---

[1] Или чтобы на основе соотношения: *рекорд — рекордсмен, спорт — спортсмен, яхта — яхтсмен* выделить морфену *-смен*. Ср. также *джентльмен, лайнсмен, полисмен*.

[2] Отдельные из приводимых далее слов (в каждом ряду соответствий после «и») при тщательном прослеживании их индивидуальной истории, возможно, окажутся заимствованиями (например, *велодром*), но это не может нарушить общей картины.

[3] Ср. *баритон* и разг. *козлитон* (или *козлетон*), *пропитон*, а также окказиональные образования у Маяковского: *аэросипеды* (по образцу *велосипеды*; *вело — аэро*) и у В. Бианки: репортаж со стадиона *Жукамо* (по образцу *Динамо*).

[4] О понятии интернационализм» см. ниже, стр. 77. От роли «соединительного гласного» в данном случае можно отвлечься. См. V. P. Grigorjev, Pri «kuniga vokalo» en moderna rusa lingvo, «Sciencaj studoj», Kopenhago, 1958, стр. 37—41 и Н. М. Шанский. О соединительной гласной как словообразовательной морфеме, «Р. яз. в шк.», 1958, № 5, стр. 30—35.

[5] Слово *телеграф* в настоящее время обозначает также учреждение, занимающееся отправлением и приемом телеграмм.

[6] Данные относительно места ударения берутся из «Словаря иностранных слов» под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова (М., 1949), а также из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова.

2. Посредством омоморфемы *-граф* образуются названия специалистов в различных отраслях науки и культуры (большей частью — описательных и прикладных), например: *археограф, библиограф, биограф, географ, гидрограф, изограф, историограф, картограф, ксилограф, лексикограф, литограф, палеограф, стенограф, типограф, топограф, фотограф, этнограф*[1].

Ударение неподвижное — на «соединительном гласном». Исключение представляют заимствования *каллигра́ф* и *логогра́ф*. Последнее слово, кроме того, в отличие от всех остальных слов этой группы, не соотносительно с существительным на *-ия*.

3. Небольшую замкнутую группу иноязычных слов с морфемой *-граф* во второй части образуют названия различного рода надписей, текстов: *автограф, параграф, хронограф, эпиграф*. Особняком стоит *годограф*.

Ударение неподвижное — на «соединительном гласном».

-графия

В современном русском языке представлены три группы существительных с *-графия* во второй части.

1. Самая крупная группа объединяет названия вспомогательных, большей частью описательных, научных дисциплин (или их разделов), например: *ампелография, ареография, археография, библиография, демография, диалектография, зоография, иконография, ихтиография, космография, кристаллография, лексикография, нозография, номография, океанография, органография, орография, остеография, палеография, петрография, рентгенография, селенография, стратиграфия, топография, ураноография, этнография*.

Многие из слов этой группы соотносительны с названиями различных научных дисциплин более общего характера, имеющими в своем составе *-логия*. Ср. *диалектография — диалектология, космография — космология, лексикография — лексикология, остеография — остеология, петрография — петрология, рентгенография — рентгенология* (ср. *рентгеноскопия*) и т. п. Иного рода соотношение наблюдается в случае *археография — археология*. Слова, составляющие такие пары, как *аэрография — аэрология* или *океанография — океанология*, употребляются до известной степени синонимически[2], а в слове *кристаллография* часть *-графия* совпадает по значению с *-логия*[3].

Ударение неподвижное — на первом гласном морфемы *-гра́фия*.

2. Во вторую группу, которая выделяется менее четко, чем первая, а в известной мере и перекрещивается с ней, входят преимущественно названия различных процессов или способов изображения, воспроизведения чего-нибудь (или посредством чего-нибудь, на чем-нибудь и т. п.), например: *автография, альграфия, бронхография, кардиография, ксилография, плетизмография, радиография, стеклография, фотография, хореография, циклография, цинкография* и т. п.

Вторично слова этой группы могут развивать значения предмета (*биография, монография, олеография, фотография* и др.), отрасли культуры или производства (*кинематография, полиграфия, хореография*), места (*литография, типография* и др.), вида литературы (*агиография, порнография*) и — переходя в состав первой группы — значение отрасли научного знания (*рентгенография*).

Ударение — такое же, как в первом типе[4].

3. Особую группу слов с *-графия* во второй части образуют названия различных систем, типов или способов письма, например: *брахиграфия, идеография, какография, каллиграфия, криптография, орфография, пазиграфия, пиктография, стенография, тахиграфия, фонография*.

Ударение — такое же, как в первых двух типах.

-метр

1. Посредством морфемы *-метр* образуются названия различных измерительных приборов и инструментов, например: *актинометр, акцелерометр, амперметр, анемометр, антропометр, арифмометр, аэрометр, барометр, батометр, вакуометр, ваттметр, виброметр, вольтметр, газометр, гальванометр, гелиометр, гигрометр, детонометр, динамометр, интерферометр, куметр, люксметр, магнитометр, манометр, микрометр, омброметр, педометр, поляриметр, радиометр, спектрометр, термометр, тонометр, фазометр, фонометр, фотометр, хронометр* и др.

---

[1] В академическом «Словаре современного русского литературного языка» (т. III, стр. 374) при описании морфемы *-граф* разграничены названия лиц, занимающихся «изучением, описанием» (*библиограф, кристаллограф* и т. п.), и названия лиц, занимающихся «графическим воспроизведением» (*типограф, фотограф, цинкограф* и под.). Второй из этих подтипов у́же, чем первый.

[2] Показательным для характеристики значения *-графия* является тот факт, что, например, слово *океанография* может рассматриваться как синоним слова *мореведение* (см. «Словарь иностранных слов», М., 1949, стр. 453).

[3] Слово *кристаллология* вообще отсутствует (см. БСЭ[2], т. 23, стр. 413 и сл.).

[4] Мнимым исключением является слово *телеграфи́я* «телеграфное дело», не относящееся к данной группе, поскольку в нем в качестве второй части выделяется не *-графия*, а только *-ия*. Ср. *телефон — телефони́я*. Едва ли можно согласиться с рекомендацией *полиграфи́я* в книге «Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника» (М., 1955) и в БСЭ[2] (т. 33, стр. 535). Такое ударение, видимо, факт одного порядка с *до́быча, компа́с* и под.

В качестве «соединительного гласного» нередко выступает не *-о-(-е-)*, а *-и-*, например: *альтиметр*, *калориметр*, *курвиметр*, *сахариметр*; в ряде случаев «соединительный гласный» вообще отсутствует: *амперметр*, *ваттметр*, *векторметр*, *люксметр*, *омметр* и др. Примечательным является факт различения названий, близких по назначению приборов, посредством дифференциации «соединительных гласных»: *таксиметр* — *таксометр*, *тахиметр* (*тахеометр*) — *тахометр*. Ср. также противопоставление *вольтметр* — *вольтаметр*.

В постановке ударения наблюдается известная непоследовательность. Ср., с одной стороны, *альти́метр*, *арифмо́метр*, *вибро́метр*, *динамо́метр*, *спектро́метр* и др., а с другой — *детономе́тр*, *дозиме́тр*, *магнитоме́тр*, *тономе́тр* и т. д. Однако можно отметить тенденцию к унификации за счет передвижки ударения в словах типа *магнитоме́тр* на «соединительный гласный»: *магнито́метр* [1]. Лишь подтип слов без «соединительного гласного» (*амперметр*, *вольтметр*, *куметр* и под.) сохраняет ударение на *-метр* [2].

2. Все остальные слова с *-метр* во второй части представляют собой заимствования: *пара́метр*, *пери́метр*, *пента́метр*, *тетра́метр*, *трими́тр*—и к описываемому типу не относятся. Особняком стоит заимствованное же слово *гео́метр* соотносительное с *геометрия*.

-метрия

Часть *-метрия* имеют в своем составе названия различных вспомогательных (большей частью прикладных) научных дисциплин, связанных с измерительными процессами, а также названия самих способов научного анализа и измерения тех или иных объектов. При этом различие в значении и в образовании между названиями научных дисциплин, с одной стороны, и названиями способов или методов научного исследования — с другой, нередко соотносительными с названиями соответствующих приборов, в ряде случаев совершенно неуловимо, так что едва ли есть необходимость в дробной классификации, которая неизбежно оказалась бы весьма произвольной.

Ср. названия дисциплин: *актинометрия*, *альтиметрия*, *анемометрия*, *астрометрия*, *геометрия*, *гидрометрия*, *гипсометрия*, *гравиметрия*, *дендрометрия*, *дозиметрия*, *калориметрия*, *картометрия*, *краниометрия*, *лонгиметрия*, *магнитометрия*, *планиметрия*, *радиометрия*, *сейсмометрия*, *стереометрия*, *термометрия*, *тригонометрия*, *фотометрия*, *электрометрия* и т. п. и названия вспомогательных методик научного анализа: *аксонометрия*, *алкалиметрия*, *алкоголиметрия*, *антропометрия*, *ацидиметрия*, *батиметрия*, *биометрия*, *иодометрия*, *колориметрия*, *микрометрия*, *нитрометрия*, *одориметрия*, *оксидиметрия*, *пирометрия*, *тензиметрия*, *трибометрия* и т. п.

Ударение неподвижное — на *-ме́трия* (но см. БСЭ², т. 51, стр. 11, 57).

-скоп

Многие названия оптических и других приборов и инструментов образуются посредством использования морфемы *-скоп*, например: *гироскоп*, *дефектоскоп*, *калейдоскоп*, *ларингоскоп*, *микроскоп*, *овоскоп*, *осциллоскоп*, *полярископ*, *синхроноскоп*, *спектроскоп*, *стереоскоп*, *стетоскоп*, *телескоп*, *хроноскоп*, *эндоскоп* и т. п.

Ударение неподвижное — на *-ско́п*.

-скопия

Существительные, содержащие часть *-скопия*, образуют названия некоторых методов научного, технического или врачебного исследования, обычно при помощи соответствующих (главным образом оптических) приборов, например: *бактериоскопия*, *бронхоскопия*, *дермоскопия*, *дефектоскопия*, *микроскопия*, *рентгеноскопия*, *риноскопия*, *фарингоскопия*, *цистоскопия*, *эбуллиоскопия*, а в отдельных случаях — и названия разделов научных дисциплин, например: *дактилоскопия*, *спектроскопия*.

Ударение неподвижное — на *-ия*.

-фил, -фильство, -филия

Посредством морфемы *-фил* образуются две группы существительных. Первую из них составляют названия лиц, проявляющих склонность, расположение, любовь к чему-либо, что выражено первой частью соответствующего слова, например: *англофил*, *библиофил*, *германофил*, *полонофил*, *русофил*, *славянофил*, *туркофил*, *украинофил*, *цыганофил*, *юдофил*. Другая группа объединяет названия различных объектов научного, главным образом биологического и химического, исследования, например: *анемофилы*, *базофилы*, *гемофилы*, *гидрофилы*, *омброфилы*, *термофилы*.

Выделение этих групп опирается и на различия между соотносительными с ними группами существительных на *-фильство* и *-филия*, обозначающих: первые—обществен-

---

[1] В различных словарях одно и то же слово с *-метр* во второй части нередко приводится с самыми различными указаниями относительно ударения. Ср., например: *газоме́тр* («Словарь иностр. слов», 1949), — *газо́ме́тр* (словарь под ред. Ушакова) — *газо́метр* (БСЭ²); *сахариме́тр* (словарь Ушакова) — *сахари́метр* («Словарь иностр. слов», 1949) и т. п. Надо отметить, что в новом издании «Большой Советской Энциклопедии» почти во всех подобных случаях ударение приходится на «соединительный гласный».

[2] Хотя слова *сантиметр*, *миллиметр*, *километр* и др. под. не относятся к описываемому типу, но показательно стремление к передвижке ударения и в этой группе: просторечн. *кило́метр* и под. (ср. С. И. Ожегов, Очередные вопросы культуры речи, сб. «Вопросы культуры речи», вып. 1, М., 1955, стр. 25).

ное течение, склонность, вторые — свойство или процесс. Ср. *библиофил — библиофильство, русофил — русофильство, славянофил — славянофильство* и *анемофилы — анемофилия, гемофилы — гемофилия, гидрофилы — гидрофилия.*

Ударение неподвижное — на *-фи́л, -фи́льство, -фи́лия.*

-фоб, -фобство, -фобия

Аналогичная картина наблюдается в образовании существительных с *-фоб, -фобство, -фобия* во второй части, представляющих собой антонимы к соответствующим существительным с *-фил, -фильство, -филия.* Ср., с одной стороны, *англофоб, германофоб, женофоб, полонофоб, юдофоб* и *германофобство, юдофобство*, а с другой — *гидрофобы, омброфобы* и *гидрофобия, фотофобия* и т. п.[1].

Ударение неподвижное — на *-фо́б, -фо́бство, -фо́бия.*

-лог.

1. Существительные с морфемой *-лог* во второй части образуют многочисленную группу названий лиц — специалистов в различных областях научного знания, например: *антрополог, археолог, дерматолог, диалектолог, зоолог, ихтиолог, одонтолог, орнитолог, офтальмолог, патолог, психолог, радиолог, санскритолог, синолог, социолог, таджиколог, физиолог, энтомолог, эпидемиолог* и т. п. Ср. также *идеолог, технолог; астролог, теолог* и под.

Все слова этой группы соотносительны с существительными на *-логия.*

Ударение неподвижное — на «соединительном гласном».

2. По выделении указанной группы существительных с *-лог* во второй части остается небольшая изолированная группа таких слов, как, например, *аполог, диалог, мартиролог, монолог, некролог, пролог, эпилог.* Все они служат названиями различных видов устной и письменной речи (но ср. *каталог*). От слов первой группы указанные слова отличаются и по ударению, которое падает на конечный слог. Однако живая практика употребления таких слов обнаруживает тенденцию к акцентологической унификации по образцу первой группы. Ср. просторечные *ката́лог, монбло́г, некрбло́г.*

-логия.

1. С участием сложной морфемы *-логия* образована большая группа существительных — названий научных дисциплин, различных учений, а также их отделов и частей[2], например: *антропология, биология, геология, гибридология, гидрология, диалектология, египтология, зоология, ихтиология, криминология, курортология, ларингология, лимнология, метрология, морфология, неврология, одонтология, орнитология, остеология, патология, помология, сейсмология, семасиология, синдесмология, синология, текстология, телеология, терминология, технология, токсикология, физиология, хронология, цитология, эмбриология, энтомология, этиология* и т. п.

Ударение неподвижное — на *-ло́гия.*

2. Несколько слов с *-логия* во второй части образуют замкнутую группу, со стороны значения не представляющую единства: *автология, аналогия, антология, апология, гомология, тавтология, трилогия, тетралогия* и некоторые другие. В отношении ударения они не обнаруживают никаких особенностей по сравнению с первой группой.

*

Вскрыть природу словообразовательной активности описанных морфем — дело чрезвычайно трудное. Имея в виду именно подобные «интернациональные сложные существительные», А. И. Смирницкий писал: «...положение некоторых морфем в системе языка может быть вообще таким, что трудно определить, относятся ли они к числу корневых или аффиксальных. Вряд ли можно, например, с уверенностью определить, чем является морфема *-граф* в *телеграф, фотограф, географ, биограф, автограф* и т. п.: корневой морфемой или суффиксом и вообще одной и той же единицей или разными единицами...»[3].

Хотя скепсис приведенного высказывания представляется несколько сгущенным, он тем не менее весьма показателен, поскольку выражается сомнение в правомерности безоговорочного отнесения слов, с этимологической точки зрения состоящих из двух знаменательных частей, к числу сложных[4]. Легко обнаружить и другие случаи колебаний в определении словообразовательной природы «интернациональных сложных слов».

---

[1] Но ср. *англофобия* (см. М. Горький, Открытое письмо к А. С. Суворину, 26 II 1899).

[2] См. выше стр. 67 о соотносительности *-графия* и *-логия.*

[3] А. И. Смирницкий, Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», вып. 5, 1948, стр. 25.

[4] Ср. А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 54 и др.

Так, если в книге «Русский язык» В. В. Виноградов рассматривал слова типа *биология*, *диалектолог*, *славянофил*, *германофоб*, *балетоман* среди суффиксальных образований (стр. 105, 106, 132) и считал возможным говорить о «суффиксальном элементе *-тек-а* в значении: „хранилище, собрание чего-нибудь...“»(стр. 139), то в академической «Грамматике русского языка» (т. I, 1952) он не включает в число суффиксов ни *-лог*, ни *-ман*, ни *-фил* и *-фоб*, ни *-тек-а*[1]. Из иноязычных морфем глагольного происхождения как суффикс рассматривается здесь лишь *-фикаци-я* (*-ификаци-я*) (стр. 263). В университетском курсе морфологии современного русского языка (1952 г.) В. В. Виноградов, не касаясь вопроса о природе элемента *-тек-а*, объединяет морфемы *-граф* (*-графия*), *-лог* (*-логия*), *-ман* (*-мания*), *-фоб* (*-фобия*), *-фил* (*-фильство*), *-скоп* (*-скопия*), *-метр*(*-метрия*) как вторые части интернациональных сложных существительных (стр. 128).

Эта эволюция во взглядах нашего ведущего русиста на словообразовательную природу указанных элементов не сопровождалась соответствующей аргументацией. И неудивительно, что — при отсутствии теоретической разработанности относящегося сюда большого круга проблем (например, проблем освоения иноязычных морфем вообще и калькирования в частности) — в диссертационных работах морфемы *-графия*, *-лог*, *-логия*, *-ман*, *-мания*, *-метр*, *-метрия*, *-скоп* и др. под. получают ничего не говорящую компромиссную характеристику как «полуформальные» вторые компоненты сложений.

Можно было бы указать и другие примеры разноречивых оценок морфем рассматриваемого типа. Однако, видимо, достаточно будет ограничиться приведением одного из последних высказываний по интересующему нас вопросу: «К заимствованным суффиксам,— пишет Е. М. Галкина-Федорук,— примыкают широко распространенные в сложных словах опорные корни греческого происхождения *граф*, *фил*, *фоб*, *метр*, *скоп*, морфемы, превращающиеся из самостоятельных корней в суффиксы: *библиограф*, *этнограф*, *лексикограф*, *историограф*; *славянофил*, *русофил*, *англофил*; *женофоб*, *англофоб*; *термометр*, *хронометр*; *телескоп*, *микроскоп*, *спектроскоп*, *термоскоп* и др.»[2].

Таким образом, существо вопроса сводится, очевидно, к тому, чтобы определить, во-первых, что отличает морфемы типа *-граф*, *-лог*, *-логия*, *-фил*, *-фильство* от обычных вторых частей сложных существительных, во-вторых, действительно ли имеет место процесс превращения таких морфем — «самостоятельных корней»— в суффиксы и, если да, то насколько далеко зашел этот процесс в своем развитии.

*

1. Как появляются в русском языке «интернациональные сложные существительные»? Если это не заимствования, то в большинстве своем они создаются путем своеобразного «обратного калькирования»— при помощи элементов международной терминологии (главным образом элементов греческого и латинского происхождения) — русских словосочетаний, вернее — сочетаний слов, обозначающих те признаки, которые представляются авторам новых терминов наиболее существенными или показательными в новых предметах и явлениях, вовлекаемых в научный, культурный, вообще — жизненный обиход. Такое калькированное сочетание слов затем стягивается в цельнооформленную лексическую единицу, которая грамматически, а также фонетически (и орфографически)

[1] Элементы *-лог* (*-логия*), *-ман* (*-мания*) и *-тек-а* вообще не рассматриваются в академической грамматике ни в разделе суффиксального словообразования, ни в разделе «Словосложение имен существительных».

[2] Е. М. Галкина-Федорук, указ. соч., стр. 109 (подчеркнуто мною.— *В. Г.*).

приспосабливается к нормам русского языка, однако со словообразовательной точки зрения можно сказать, что подобные слова создаются по международной («греко-латинской») словообразовательной модели и заимствуются в русский язык из международного лексического фонда, где по существу и завершается сам процесс образования новых терминов.

Именно таким представляется, например, процесс образования И. И. Мечниковым нового для науки термина *фагоцит*: путем своеобразного «обратного калькирования» словосочетания *поедающая клетка* (греч. φάγος «пожирающий» и κύτος «клетка») и затем объединения греческих основ в единое сложное существительное, которое соответствующим образом транслитерируется и произносится. Подобно этому из греческих и латинских знаменательных морфем в новых языках создается множество «интернациональных сложных существительных». Они возникают сначала в одном из новых языков и затем обычно заимствуются из него другими языками современности непосредственно или через посредство наиболее распространенных и развитых литературных языков. Однако вполне возможно образование одного и того же международного сложного термина, например медицинского, и одновременно в нескольких языках.

В современном русском языке получил также известное распространение смешанный тип образования «обратных полукалек», объединяющий, например, такие случаи, как *ферросплав*, *пьезокварц*, *цитрованиль* и некоторые другие[1]. Сюда отчасти примыкают и образования типа *гонококк*, *стрептококк* и под., вторые части которых соотносительны со словами, ныне самостоятельно употребляющимися в русском языке.

Таким образом, «интернациональные сложные существительные» соотносятся со словосочетаниями современного русского языка не прямо, а опосредствованно, через «обратное калькирование» (или «полукалькирование»). В подавляющем большинстве случаев их компоненты, в частности вторые компоненты, описанные выше, не встречаются в самостоятельном употреблении и не соотносятся со словами русского языка. Поэтому они, естественно, не могут выступать как основы членов словосочетаний. В этом существенное отличие интересующих нас образований с *-граф*, *-лог*, *-логия*, *-фил*, *-фильство* и др. во второй части от обычных сложных существительных, соотносящихся со словосочетаниями русского языка непосредственно, материально, а не только в отношении семантики.

2. Знаменательность морфем типа *-граф*, *-лог* и т. п. для носителей русского языка оказывается значительно более низкой, чем знаменательность вторых компонентов обычных сложных слов (*водовоз*, *живопись*, *паровозостроение* и др.). Точное лексическое значение частей «интернациональных сложных существительных» может быть, как правило, определено лишь по соответствующим двуязычным словарям (или по специальным пометам в толковых словарях), а не из самой структуры русского языка. Тот факт, что многие русские люди знают этимологию и лексическое значение, например, морфемы *-граф*, не может повысить ее объективной знаменательности в русской языковой системе[2].

Больше того, в значительной степени понижена и грамматическая определенность таких «основ». В самом деле, есть ли основания утверждать, что, например, морфемы *-граф*, *-метр*, *-скоп*, *-фил*, *-фоб* — гла-

---

[1] От этих слов следует отличать слова типа *телевидение*. Это слово, например, представляет собой полузаимствование — полукальку слова *televisio* (ср. *телевизия*).

[2] Ср. Р. Ф. Брандт, Несколько замечаний об употреблении иностранных слов, «Изв. Ист.-филол. ин-та кн. Безбородко в Нежине», т. VIII (1883), Москва, Киев и Лейпциг, 1884, стр. 4—5.

гольные?[1]. В языке-источнике это, по-видимому, действительно было так, но для русского языка эти морфемы ничем не отличаются от такой морфемы, как *-лог*, обычно не включаемой в число глагольных. С учетом этого обстоятельства выше в одном ряду с такими морфемами были описаны и «явно неглагольные» морфемы *-лог*, *-логия*. Следует отметить, что не всегда легко с уверенностью определить отглагольный или отыменной характер второго компонента и в исконно русских сложных существительных. Так, например, слово *лесовор*, встречающееся у Д. Н. Мамина-Сибиряка (Родительская кровь), едва ли возможно — без учета синтаксиса словосочетаний в уральских говорах — безоговорочно поставить в один ряд с *конокрад* и под., несмотря на всю заманчивость такого сопоставления: других случаев возможного опущения суффикса производящего отыменного глагола (*-ов-*) в сложных существительных этого типа нам обнаружить не удалось. Ср. еще там же: «*лесоворный* промысел», «занимается по *лесоворной* части», «тоже не от добра *лесоворничают*».

Едва ли также можно безусловно высказаться в пользу рассмотрения последних компонентов слов типа *Волховстрой*, *Днепрострой* в одном ряду с *домострой*. Если это последнее несомненно возникло на основе глагольного словосочетания, то *Волховстрой* и *Днепрострой* представляются скорее сокращениями словосочетаний *Волховское строительство* и *Днепровское строительство*. Ср. *строймaтериалы* из *строительные материалы*.

Однако в подавляющем большинстве случаев для собственно русских сложных существительных колебаний при определении глагольной или именной природы второго компонента не возникает; приведенные выше факты совпадения глагольных и именных основ единичны. Вторые же компоненты «интернациональных сложных существительных» как раз характеризуются неопределенностью в отношении их принадлежности к именным или глагольным основам, поскольку в русском языке они не соотносительны ни с именами, ни с глаголами[2].

3. Описанный материал сам по себе свидетельствует о продуктивности типа образования названий лиц, предметов и отвлеченных понятий посредством использования иноязычных морфем в процессе «обратного калькирования» и последующего стяжения в одну лексическую единицу русских словосочетаний. Слова, приведенные выше в качестве иллюстраций при описании морфем *-граф*, *-графия*, *-метр*, *-метрия* и под., взятые изолированно, в большинстве своем действительно представляют собой сложные слова, но не обычные для русского языка, как *водовоз*, *самоучка*, *земледелие* и под., а интернациональные — и по морфологическому составу, и по способу и месту образования. В этом смысле термин «интернациональные сложные существительные» является совершенно правомерным, так как он отражает их специфику[3].

Однако при выяснении словообразовательной природы морфем, подобных описанным выше, необходимо учитывать и то обстоятельство, что некоторые из них получили способность соединяться с исконно русскими основами или с основами слов хотя и нерусского происхождения, но тем не менее прочно вошедших в словарный состав современного русского

---

[1] См. «Грамматика русского языка», т.I, Изд-во АН СССР, М., 1952, стр. 274.

[2] Точно так же в системе русского языка никак не дает о себе знать исконно глагольный характер первых частей таких, например, слов, как *пермеаметр*, *плессиметр*, *пьезокварц*, *спирометр*, *трибометрия*, *филолог*, *хореография*, *эбуллиоскоп* и под.

[3] Здесь стоит лишний раз напомнить о различиях между словообразовательным и морфологическим анализом. В настоящее время после целого ряда диссертационных и других работ специфика словообразовательного анализа получила всеобщее признание. Однако справедливо, что пока еще «это общее положение редко применяется на практике» (Н. Д. Арутюнова, Некоторые вопросы образования и морфологии основ слова, «Научные доклады высшей школы. Филологич. науки», 1958, № 1, стр. 125).

языка. В качестве примеров достаточно указать, например, на такие слова, как *стеклограф*, *картограф*, *перспектограф* (БСЭ[2], т. 32, стр. 535), *поездограф* (БСЭ[2], т. 14, стр. 453); *лексикография*, *кристаллография*, *металлография*; *моментометр* (БСЭ[2], т. 28, стр. 181), *спектрометр*, *фазометр*, *сахариметр*; *звукометрия*, *магнитометрия*, *алкоголиметрия*; *спектроскоп*; *бронхоскопия*, *дефектоскопия*, *капилляроскопия*; *туркофил*; *славянофильство*; *женофоб*; *диалектолог*, *египтолог*; *вулканология*, *гибридология*, *жаргонология* (ВЯ, 1955, № 4, стр. 13), *курортология*, *паразитология*, *текстология*[1].

Эти примеры, особенно если учесть пониженную знаменательность интересующих нас морфем, отсутствие у них четкой лексико-грамматической характеристики, позволяют говорить о продуктивности соответствующих словообразовательных типов. При этом можно отметить, что образования с *-лог*, *-логия* (ср. просторечные *всеолог*, *болтология* и под.), а также с *-метр*, *-метрия*, *-граф*, *-графия* в общем продуктивнее остальных описанных выше разновидностей[2].

4. Казалось бы, соответственно степени продуктивности следовало бы говорить и о большей или меньшей суффиксоидности соответствующих морфем. Однако только в отношении морфем *-лог* и *-логия* можно отметить, что в современном русском языке они ничем не отличаются от таких суффиксов, как *-изм* или *-фикация* (*-ификация*), также знаменательного по происхождению, и что с их помощью образуются обычные суффиксальные слова.

Менее очевидна суффиксальность образований с *-граф*, *-графия*, *-метр*, *-метрия*, *-скоп*, *-скопия*, *-фил*, *-фильство*, *-фоб*, *-фобство*[3]. Причина этого заключается, между прочим, в семантической соотнесенности (хотя и весьма неполной) некоторых из них с знаменательными компонентами сложных существительных типа *-пись*, *-пис-ец*, *-мер*, *-люб*, *-люб-ие*. Ср., например, *скоропись*, *самописец* (БСЭ[2], т. 27, стр. 295), *уровнемер* (БСЭ[2], т. 14, стр. 473), *влаголюбы* («мхи». Л. Леонов, Русский лес), *добротолюбие* (там же) и под.; любопытно и такое единичное соотношение, как *секундомер* — *секундометрист*.

Тем не менее академическая «Грамматика русского языка» отмечает для морфемы *-фил*[4] «тенденцию переходить в большей или меньшей мере в суффиксальный элемент слова» (т. I, стр. 275). И с этим нельзя не согласиться, поскольку факт семантической соотнесенности с знаменательной морфемой представляется менее существенным, чем функциональные моменты, характеризующие морфему *-фил*, а также другие морфемы данного ряда как суффиксальные. И морфему *-лог* следует считать суффиксом не только и не столько потому, что она в какой-то степени соотносительна с морфемой *-вед*, утратившей свою знаменательность и превратившейся в суффикс, а прежде всего потому, что образования с *-лог* могут

---

[1] Небезынтересно отметить, что в ряде случаев при этом наблюдается своеобразная «вариация основ». Ср., например, *космос* и *космография*, *вибрация* и *виброметр*, *детонация* и *детонометр*, *интерференция* и *интерферометр*, *поляризация* и *поляриметр*, *синхронизация* и *синхроноскоп*, *эмбрион* и *эмбриология* и под. Ср. также *историограф*, *бактериоскопия*, *англофил*, *германофоб*, *эпидемиолог* и т. п. Во всех указанных словах используются непроизводные для русского языка основы.

[2] Любопытно такое индивидуальное образование, как *дружбометр*, созданное около ста лет назад [см. Т. Г. Шевченко, Дневник (2 VII 1857), М., 1954, стр. 68]. Ср. *бормотограф* (Н. Носов, Приключения Незнайки и его друзей). У Герцена встречается слово *мозгометр* (см. А. Х. Мищенко, Структурно-семантические разряды публицистической лексики А. И. Герцена, сб. «Вопросы изучения русского языка», Алма-Ата, 1955, стр. 269).

[3] Морфемы *-филия* и *-фобия*, как правило, не вступают в соединение с освоенными русским языком основами.

[4] Наряду с *-вед*, *-фоб* и *-носец*. В отношении последней морфемы это наблюдение не кажется нам обоснованным (см. В. П. Григорьев, О границах между словосложением и аффиксацией, ВЯ, 1956, № 4).

возникать аналогическим путем, вне всякой связи со словосочетаниями. К тому же можно найти известное число случаев семантической соотносительности с суффиксами и других интересующих нас морфем[1].

5. Все изложенное выше позволяет характеризовать целый ряд слов с *-лог*, *-логия*, *-граф*, *-графия* и подобными морфемами во второй части как суффиксальные. Процессы образования «интернациональных сложных существительных» и суффиксальных слов с одной и той же морфемой во второй части идут одновременно, однако тот факт, что морфемы *-лог* или *-фильство* приобретают свойства суффиксов, не мог не привести к переосмыслению и всех других слов с этими морфемами, вошедших в словарный состав русского языка как заимствования или «интернациональные сложные существительные».

За 100 с лишним лет развития у подобных морфем нового качества (ср., например, историю слова *славянофильство*) — суффиксальности — старое их качество не просто сосуществовало наряду с новым, а постепенно сдавало свои позиции, так что в настоящее время можно сказать, что на фоне целого ряда чисто суффиксальных слов с морфемами *-лог*, *-логия*, *-граф*, *-графия* и т. д. все остальные слова с этими морфемами воспринимаются тоже как суффиксальные, со связанными основами.

Как показывает приведенный выше материал, наиболее полное завершение этого процесса мы находим в словах с морфемами *-лог* и *-логия*. Слабее всего этот процесс затронул морфему *-скоп*[2].

Суффиксами, хотя и значительно менее продуктивными, чем *-лог* и *-логия*, в настоящее время следует считать и упомянутые выше морфемы *-дром*, *-тека*, *-оид*[3]. Тенденцию к превращению в суффиксы в большей или меньшей степени можно отметить и для морфем *-фон*, *-фор*, *-олеум*, *-тон*, хотя три последние морфемы встречаются всего в нескольких словах[4].

Своеобразна судьба в русском языке морфемы *-мейстер* (нем.- *meister*). Большинство заимствованных из немецкого языка слов с этой морфемой в настоящее время вышло из живого употребления (*брандмейстер*, *егермейстер*, *квартирмейстер*, *почтмейстер*, *провиантмейстер*, *танцмейстер*, *фехтмейстер*, *церемониймейстер*, *шталмейстер* и др.); такова же судьба и немецких слов с этой морфемой, пришедших в русский язык через польский: *бургомистр* и *бурмистр*, *вахмистр*, *кухмистер*, *ротмистр* и под. Однако такие слова, как *капельмейстер*, *концертмейстер*, *хормейстер*, употребительны и сейчас, образования типа *тонмейстер*, *тралмейстер* проникли в русский язык (или возникли в нем) уже в со-

---

[1] См., например, статью «Металлография» в БСЭ[2] (т. 27, стр. 228). Ср. выше стр. 67 (сноска 2).

[2] Ср. также существительные с морфемами *-стат*, *-цид* во второй части и под., у которых этот процесс — главным образом в силу их редкости — почти совсем неощутим. Но ср. *бактериофаг*, *опиофаг*.

[3] У Г. Троепольского в «отчасти сатирической» повести «Кандидат наук» (1958) новое слово *флюгероид* характеризует лицо.

[4] Как жаргонный суффикс, вносящий эмоциональный оттенок пренебрежительности, может рассматриваться морфема *-рама* в речи персонажей русского перевода «Отца Горио» и «Обедни безбожника» (О. Бальзак, Собр. соч. в 15 томах, т. 3, М., 1952): *здоровьерама*, *студерама-стужерама*, *Гориорама*, *кол-рама*, *Растиньякорама*, *патриархалорама*, *бутылорамочка*, *полорама*, *дверерама*, *графиня де Ресторама*, *смерторама*. Ср. *панорама* и *диорама* (греч. ὅραμα «вид, зрелище»). Индивидуальные каламбурные образования типа *философия — хилософия* (М. Горький, Дело Артамоновых), *ортодоксы — вертодоксы* (Л. Леонов, Русский лес), *портвейн — проствейн* (В. Шишков, Угрюм-река), эффект которых основан на замене первых компонентов иноязычных, заимствованных сложных слов созвучными русскими морфемами, а также такое слово, как *вечемобиль* (т. е. высокочастотный авто*мобиль* — «Лит. газета», 22 II 1955), любопытны тем, что вторые компоненты неологизмов как бы концентрируют в себе значение всего опорного слова. В этом отношении даже знаменитое поприщинское *мартобря* (Н. В. Гоголь, Записки сумасшедшего) внутренне оправдано, в отличие от бессмысленных каламбуров Петрищева: *репетиция* (ср. *репа — репо-*) — *морковетиция* — *редькотиция* (Л. Н. Толстой, Плоды просвещения).

ветскую эпоху, а встречающееся в просторечии слово *блатмейстер*[1] говорит о потенциальном существовании агентивного суффикса *-мейстер*.

Не получили сколько-нибудь значительного самостоятельного развития образования с иноязычной (ср. франц. *-man*, *-manie*) морфемой *-ман* (*англоман*, *библиоман*, *галломан* и — редко — *французоман*, *меломан*, *мономан*, *наркоман*, *эротоман*, *эфироман* и под.), которую поэтому не следует выделять как продуктивный суффикс современного русского языка. Точно так же не обнаружила никакой активности омонимичная голландско-немецкая морфема *-ман*: *боцман*, *лоцман*, *флагман*; *флигельман*, *ратман* и некоторые другие. Однако в слове *нэпман* неожиданно обнаружились ее потенциальные возможности[2].

Ср. также процесс образования морфемы *-трон* в названиях элементарных заряженных частиц и установок, используемых для их ускорения: *электрон*, *протон*, *нейтрон* и *позитрон*, *мезотрон* (ср. *дейтрон*); *циклотрон*, *синхротрон*, *фазотрон* и др. (см. «Правда» 13 VIII 1955).

6. Если факт превращения в суффикс морфемы *-фикация* (*-ификация*) не подлежит никакому сомнению, поскольку она имеет самое общее значение действия (даже «безотносительно к длительности и характеру течения процесса»[3]), то признание суффиксами таких морфем, как *-граф*, *-графия*, *-метр*, *-метрия* и т. д., может вызвать то возражение, что степень словообразовательного обобщения, осуществляемого ими, недостаточна. Однако, во-первых, известно, что вообще «в кругу имен существительных неодушевленных, не относящихся к категории отвлеченности, значение суффиксов специализировано, распределено по частным, конкретным рубрикам»[4]; с другой стороны, в современном русском языке нет никаких непреодолимых внутрисистемных препятствий для распространения тенденции к специализации значений и на суффиксы, образующие названия лиц и отвлеченных понятий. Отдельные факты такого распространения указанной тенденции уже можно наблюдать[5].

Продуктивные образования с *-граф*, *-метр* и *-скоп* во второй части стали — в основной массе — суффиксальными названиями различных приборов. В связи с развитием автоматики различия между однокоренными названиями с суффиксами *-граф*, *-метр* и *-скоп* в отдельных случаях стираются, хотя суффикс *-скоп* остается менее продуктивным, чем первые два. В то же время обычно весьма последовательно противопоставляются однокоренные названия приборов с *-граф* и *-метр*; первые из них

---

[1] Ср. у Л. Соболева в повести «Зеленый луч»: «блатмейстерский дух, блатмейстерство» (гл. 8; в авторской речи!). См. также Н. Грибачев, Пришла газета..., «Лит. газета» 5 V 1955.

[2] Впрочем возможно, что слово *нэпман* возникло первоначально в немецком языке (или в английском. См. В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 363 и сл., особенно стр. 369—370) и было заимствовано оттуда. Образования на *-мания* трудно вывести за пределы словосложения [ср. *латиномания* — И. С. Тургенев, Письмо к А. И. Герцену (6 XII 1856); *планетомания* — «Лит. газета» 23 XI 1957], хотя история этой морфемы в русском языке весьма своеобразна (см. В. В. Виноградов, Из истории русской литературной лексики, «Докл. и сообщ. Ин-та русского языка [АН СССР]», вып. 2, 1948).

[3] См. «Современный русский язык. Морфология (Курс лекций)», Изд-во МГУ, М., 1952, стр. 121.

[4] Там же, стр. 110. Ср., например, значение *-тека* в *картотека*, *фильмотека* и значение *-ница* в *пепельница*, *сахарница* и под. Слово *тека* не привилось в русском языке. Ср. типичное название переводного произведения в начале XIX в.: «Детская тека или собрание изображений, с краткими описаниями древнего и нового света народов, их нравов, одежд и прочего; так же собрание изображений, с описанием четвероногих, птиц, земноводных, рыб, насекомых, червей, прозябений и прочего», 2-е изд., перевод с франц., М., 1824.

[5] См. выше, стр. 73. Можно указать еще на морфему *-план* в таких образованиях, как *аэроплан*, *биплан*, *моноплан*, *вертиплан*, *конвертоплан*, *ракетоплан*, *высокоплан* (о самолете «Украина») и *низкоплан* (о самолетах ТУ-110 и «Москва») (см. «Правда» 10 VII 1957).

обозначают, как правило, самопишущие, вторые — просто измерительные приборы.

В ряду названий лиц соотношение морфем *-граф*,*-метр* и *-скоп* существенно иное. Два последних суффикса, как правило, не имеют значения лица. Суффикс *-граф* с этим значением весьма продуктивен, особенно в названиях лиц, занимающихся изучением, описанием различных предметов. Он противопоставляется суффиксу *-лог* в словах *гидролог*, *лексиколог* (ср. *гидрограф*, *лексикограф*) и под. как более широкому по значению, а в ряде случаев выступает со значением столь же широким (ср. *географ* и *геолог*).

Среди суффиксов *-графия*, *-метрия*, *-скопия*, *-логия*, образующих названия научных дисциплин, различных учений, их отделов и частей, а также методов научного анализа, тоже наблюдается известная специализация и соподчиненность. Наиболее широким по значению является суффикс *-логия*, наиболее специальным — *-скопия*. Между ними располагаются суффиксы *-графия* и *-метрия*, причем первый из них в некоторых случаях сближается и даже отождествляется по значению с *-логия* (см. выше), а второй в названиях методов научного анализа тяготеет к *-скопия*.

7. При рассмотрении соотносительных образований на *-граф* и *-графия*, *-метр* и *-метрия*, *-скоп* и *-скопия*, *-лог* и *-логия*, *-фил* и *-фильство*, *-фоб* и *-фобство*, естественно, возникает вопрос, насколько справедливо выделение сложных суффиксов *-графия*, *-метрия*, *-скопия*, *-логия*, *-фильство*, *-фобство* и не следует ли считать, например, слово *историография* образованным от *историограф*, *стеклография* — от *стеклограф*, *антропометрия* — от *антропометр*, *дефектоскопия* — от *дефектоскоп* и т. п. посредством суффикса *-ия* (*-ия*), а слова *славянофильство*, *германофобство* и т. п.— соответственно от *славянофил*, *германофоб* посредством суффикса *-ство*?

В академической «Грамматике русского языка» (т. I, стр. 274—275) безоговорочно, хотя и без каких-либо доказательств, проводится эта последняя точка зрения. Однако в правомерности ее позволительно усомниться. Дело не только в том, что лишь в очень узкой группе слов типа *телефония*, *телеграфия*; *пионерия*, *комсомолия* и под., по-видимому, допустимо выделить продуктивный суффикс-*ия* (*-ия*) с более или менее определенным значением (вопрос о суффиксе *-ия* в современном русском языке, несомненно, нуждается в специальном исследовании), но и в том, что, с точки зрения современных семантико-словообразовательных связей, процессы образования слов того и другого типа идут параллельно, подобно тому как в случаях с морфемами *-вед* и *-ведение*, а также *-вод* и *-водство*.

8. Факт «интернациональности» слов с *-лог*, *-граф*, *-метр* и т. д. во второй части ни в какой мере не должен ослаблять внимания исследователя к специфике их функционирования в конкретных национальных языках, в которых (если не считать искусственных вспомогательных международных языков) они только и могут выступать в нашу эпоху. Между тем даже в последних изданиях «Словаря иностранных слов» под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова «греко-латинские элементы международной терминологии» характеризуются почти исключительно с общеэтимологической точки зрения, без учета их словообразовательной роли в современном русском языке. Этим объясняются разнобой и произвол в трактовке отдельных «интернациональных элементов» в статьях «Словаря иностранных слов», а также толковых словарей современного русского языка[1].

---

[1] Ср., например, характеристику таких слов, как *гибридология*, *курортология* в «Словаре иностранных слов»; см. также стр. 779 и сл. Ср. толкования слов типа *стеклограф* в словаре Ушакова. Если в этих словарях словообразовательный анализ «интернациональных слов» должен быть основным, то для справочных изданий, подобных БСЭ, достаточно этимологических справок. Любопытно, однако, что в то время как

*

В заключение — несколько замечаний общего характера. Проблема так называемых интернациональных слов — даже в одном только словообразовательном аспекте, затронутом в настоящей статье,— исторически тесно связана с проблемой заимствований. Изучение этих последних имеет давнюю традицию, огромную литературу и значительные достижения[1]. С культурно-исторической и — в ряде случаев — с общелингвистической точек зрения весьма важно и существенно установить время и источник заимствования того или иного слова или словосочетания. Известно, например, насколько остро ставился вопрос о так называемых «германизмах» в древнерусском языке или в русском языке Петровской эпохи и насколько различные выводы культурно-исторического характера, вплоть до прямо противоположных, делались и делаются из предположения того или иного источника заимствования.

Для понятия «интернационализма» эта сторона вопроса имеет подчиненное значение. Хотя вполне правомерны и в определенных целях чрезвычайно важны и диахронические исследования проблемы «интернационализмов», несомненно, что решение этой последней должно опираться в первую очередь на синхронное обследование современного состояния языков мира. Если попытаться отграничить проблему «интернационализмов» от проблемы заимствований, то можно сказать, что центр тяжести первой лежит в будущем, существо же второй — в прошлом (это, конечно, нисколько не умаляет ее значения).

То, что сделано в области исследования «интернационализмов», пока имеет характер самых общих разведок, а не широкого, всестороннего и планомерного обследования и анализа весьма разнообразного материала[2]. Мы пользуемся термином «интернациональные сложные слова», но сам термин «интернационализмы» вошел в научный обиход чисто стихийно и до сих пор лингвистически точно не определен. Исследование наличных и усиливающихся «схождений» между самыми различными языками (с трезвым учетом фонетических и семантических «расхождений») позволит существенно уточнить это понятие, охватывающее те явления в языковой действительности, которые своеобразно отражают социально-экономические и культурные связи в истории различных народов. Учитывая специфику общеисторического и собственно лингвистического развития различных, нередко весьма обширных, территориальных зон, мы по существу вправе говорить — как о массовом явлении — об «интернационализмах» в относительном, а не в абсолютном значении этого термина. Действительно, общемировой лексический фонд (если отвлечься в данном случае от сходства грамматических структур, фонетической и фонологической общности и явлений калькирования) пока ничтожно мал.

С. И. Ожегов в своем словаре не выделяет вообще в отдельную статью, например, морфему *нео-*, БСЭ² дает ей следующее, в целом довольно удачное, определение: «*нео...* (греч. νέος — новый) — приставка, употребляющаяся при существительных и прилагательных в значении «новый» (напр., *неологизм, неолит*) или «видоизмененный» (напр., неоклассицизм, неодарвинизм)» (БСЭ², т. 29, стр. 420).

[1] Из новейших работ в этой области можно указать, в частности, на обширную монографию L. Deroy «L'emprunt linguistique» (Paris, 1956; с подробной библиографией) и интересный доклад Л. Гальди «Слова романского происхождения в русском языке» (М., 1958), подготовленный к IV Международному съезду славистов.

[2] Хотя литература вопроса об «интернационализмах» довольно обширна, но работы, специально посвященные ему, насчитываются буквально единицами (если не учитывать многочисленных исследований с точки зрения интерлингвистики). Из работ последних лет обращают на себя внимание прежде всего следующие статьи: А. А. Белецкий., Об интернационализмах, «Наук. зап. Київськ. ун-ту», т. XIV, вип. II («Зб. філол. фак-ту», № 8), 1955; V. Fried, Mezinárodni slova, jejich shoda a úskalí, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXXVIII, č. 4, 5, 1956; В. В. Акуленко, Об интернациональных словах в современном русском языке (К постановке вопроса), «Уч. зап. Харківськ. ун-ту», т. XCIX («Труди філол. фак-ту», т. 6), 1958.

Было бы интересно в этой связи проследить за распространением слова *спутник*, с тем чтобы удостовериться, действительно ли это слово вошло «во все языки мира» (по крайней мере литературные), а если нет, то установить факторы, препятствующие в настоящее время созданию подлинных интернационализмов. Это задача достаточно трудная для исследователя даже в отношении одного только слова[1]; она неизмеримо усложняется, если ее формулировать как создание словаря «интернационализмов» на основе сопоставления самых различных двуязычных словарей или даже таких лексикографически несовершенных пособий, как «словари иностранных слов». Но трудность решения задачи в целом не может служить аргументом против ее постановки и попыток организации соответствующей работы.

---

[1] См. G. Kandler, «Sputnik». Zur Geschichte einer Wortung, «Sprachforum», 1958, Hf. 1, стр. 33—43.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

Г. С. КЛЫЧКОВ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ФОНЕМА *s КАК КОРРЕЛЯТ ЛАРИНГАЛЬНЫХ

Для индоевропейской фонемы *s очень характерно изменение в заднеязычный глухой спирант [x] или [h]. Оно не наблюдается, однако, в тех языках, где возникало [x] или [h] другого происхождения. Сюда относятся хеттский, имевший фонему *ḫ*, восходящую к индоевропейскому ларингальному, италийские языки, где *h* восходит к индоевропейскому звонкому придыхательному *gh* фракийский и германские языки, испытавшие сдвиг *k* в *h*.

Проследим развитие *s в различных индоевропейских языках. В индо-иранском *s давал шипящий *š* после *i*, *u*, *r*, *k*. Так, мы имеем в этой позиции древнеиндийский какуминальный *ṣ*, авест. *š*, например др.-инд. *vakṣyā́mi* «я буду говорить», авест, *vaxšya*, где *k* дал спирант *x* по ассимиляции. *s после *ā* в абсолютном конце слова давало *ḥ* (visarga). В доиранском индо-иранское *s в начале и середине слова в большинстве случаев дало *h*, например авест., др.-перс. *hama-* «равный», др.-инд. *sáma*, авест. *ahi*, др.-перс. *ahy* «ты есть», др.- инд. *ási*. В абсолютном начале слова доиранск. *š* < *s* представлено как *xš*: авест. *xštat* «стойт», др.-инд. *á-sthāt*, авест. *xšma*, др.-инд. *yuṣma* [1]. Сдвиг *s* в *h*, возникший в индо-иранском и получивший полное развитие в иранском, в санскрите отсутствует. Ряд диалектов, особенности которых нашли свое отражение в языке Ригведы, испытали сдвиг *bh*, *dh*, *gh*, *jh* > *h* в интервокальной позиции [2]. Развитие *s* в сторону *h* после этого уже не проявлялось, и под влиянием субстрата туземных языков Индии первоначальный *s становится какуминальным *ṣ*. Изменение *bh*, *dh*, *gh*, *jh* в *h* также не получило развития, и во многих случаях звонкие придыхательные были сохранены или даже восстановлены. Возможно, что так же, как и в случае с *s*, здесь произошла замена индоевропейских звуков звуками, заимствованными из дравидийских или других туземных языков [3]. Таково было развитие в ряде диалектов, на основании которых сложился классический санскрит. В некоторых диалектах тенденция перехода *s* в *h* проявляется. Так, например, она отмечается на острове Цейлоне в древнесингалезском языке, памятники которого сохранились с VIII—X вв. н. э. В сингалезском *s* и *h* являются вариантами одной фонемы, причем *s* встречается в ударном слоге, а *h* — в безударном. Исследователь этого языка С. Паранавитана пишет: «Изменение *s* в *h* зафиксировано уже древнейшими памятниками. Сингалезский, по-видимому, развил эту черту сильнее, чем другие индоарийские диалекты, и она, вероятно, характеризовала язык древних переселенцев с севера, которые были предками современных сингалезцев» [4].

На материковой Индии изменение *s* в *h* отмечается повсеместно в раз-

---

[1] См. Ch. Bartholomae, Grundriss der iranischen Philologie, Abschnitt I.— Sprachgeschichte, Strassburg, 1901, § 86.

[2] A. Meillet, Les consonnes intervocaliques en Védique, Bd. 31,1912, стр. 120 и сл.

[3] См. S. K. Chatterji, The origin and development of the Bengali language, vol. 1, Calcutta, 1926, стр. 34—35, 37—38.

[4] S. Paranavitana, Sigiri graffiti, London, 1956, § 288.

ных фонетических условиях в среднеиндийский период (период Apabhraṇša)[1]. Можно предполагать, что ослабленное, близкое к *h*, произношение *s* первоначально было свойственно всей группе индоевропейских диалектов в Индии. Впоследствии такое произношение сохранялось вплоть до среднеиндийского периода в отдельных диалектах, не получавших письменной фиксации. В индийских языках, следовательно, влияние субстрата и структурное воздействие частичного сдвига звонких придыхательных в *h* приостановили развитие *s* в *h*. Однако затем это изменение получило распространение из периферийных диалектов.

В армянском индоевропейское **s* сохраняется перед *t*, *k* и перед *x* (из более раннего *kH*[2]) и в некоторых других случаях, например: арм. *sterǐ* «яловый», др.-инд. *starī*, арм. *sxalem* «блуждаю», др.-инд. *skhálate* «он блуждает» и т. д. Перед гласным в начале слова **s* либо выпадает, либо отражается как *h*: арм. *hin* «старый», лат. *senex*, арм. *evt'n*, др.-инд. *sapta* «семь», арм. *aṭ* «соль», лат. *sal*. Между гласными **s* выпадает, например арм. *kʿoir* «сестра», др.-инд. *svása*. В этом же примере представлен переход *su̯*>*kʿ* в начале слова. В конце слова после гласной **s* в армянском отпадает, предварительно перейдя в *h*. Следует отметить, что в армянском как *h* отражается (помимо **s*) и индоевропейский ларингальный (ср. хет. *ḫuḫa* «дед», арм. *haw*).

Индоевропейское **s* сохраняется в хеттском языке (сочетание хеттского *t* любого происхождения с **s* дает аффрикату *z*), например, хет. *ešmi*, др.-инд. *ásmi* «я есть» и т. д.

В греческом **s* остается неизменным перед взрывными глухими согласными, после *ρ*, *λ*, в конце слова и в некоторых других случаях: греч. ἧσται «он сидит», др.-инд. *ástē*, греч. ἄλσος «роща», ст.-слав. **лѣсъ**, греч. ἵππος «лошадь», др.-инд. *áśvaḥ*. В начале слова перед гласными и перед сонантами **s* дает *h* с последующим выпадением *h* (<*s*) перед сонантами, перед *m* же **s* иногда остается, например греч. ἅλς «соль», лат. *sal*, греч. ἵστημι «я ставлю», лат. *sisto*. В интервокальном положении *h*<*s* выпадает, например ἦα «я был», др.-инд. *ásam*. Весьма вероятно, что в прагреческом *s* и *h* являлись вариантами одной фонемы[3].

В албанском индоевропейское **s* не сохранилось ни в одной позиции как [*s*]. В начале слова оно проявляется как *š*, *h*, *ǵj*, *th*, которые являются отражением более раннего *x* [<**s*], например алб. *šate* «мотыга», ст.-слав. **сѣкѫ** «секу», алб. *helk* «я тащу», греч. ἕλκω, алб. *gjarper*, «змея», др.-инд. *sárpami* «я пресмыкаюсь», алб. *gjak* «кровь», ст.-слав. **сокъ**, алб. *than* «сохну», ст.-слав. **соѭхъ** и т. д. Сдвиг индоевропейского *k* в *x* [kh] по всей вероятности воспрепятствовал изменению *s* в том же направлении во фракийском языке, где **s* либо остается неизменным, либо озвончается. Ср. фрак. *xar-* из и.-е. **qor-* «войско; война», гот. *harjis* «войско» и фрак. *auza-* из и.-е. **awes-/aus-* «утренняя заря», др.-инд. *uṣaḥ*, лат. *aurora*.

В славянском, так же как и в индо-иранском, **s* после *r*, *k*, *i*, *u* отражается как [x], дававшее [*š*] перед гласными переднего ряда, например ст.-слав. **блъха**, литовск. *blusá*, ст.-слав. **мохъ** «мох», лат. *muscus*, ст.-слав. **мышь**, греч. μῦς «мышь», ст.-слав. **лѫ̑ѵ** «гряда», литовск. *lyse* и т. д.

В кельтских языках и.-е. **s* частично перешло в *h*, частично сохранилось как *s*. В галльском и древнебриттском языках предполагается наличие слабо артикулированного звука, среднего между *s* и *h*, но на письме отраженного как *s*. Сохранившийся в ирландском звук [s] произносится с палатализацией как [š] перед губным в начале слова, ирл. *h*<*s* имеет вариант [*x'*]. В начале слова перед гласным **s* сохраняется в ир-

[1] См. S. ʿK. Chatterji, указ. соч., стр. 19.
[2] Через *H* обозначен ларингальный.
[3] См. W. Merlingen, Das «Vorgriechische» und die sprachwissenschaftlich-vorhistorischen Grundlagen, Wien, 1955. Ср. рецензию Вяч. В. Иванова на книгу В. Мерлингена (ВЯ, 1955, № 6, стр. 125).

ландском, но в предложении может быть ослаблено до *h*; в бриттском из вариантов *s*/*h* победил вариант *h* приблизительно в начале римского господства, например ирл. *sam* «лето», валл. *haf*, корн. *haf*, брет. *hanv*; ср. др.-в.-нем. *sumar* «лето», др.-инд. *sáma* «год», ирл. *sesc* «сухой», валл. *hysb*, брет. *hesp*; ср. авест. *hiśku* «сухой» и т. д. Переход *s*>*h* характерен также и в других позициях.

В италийских языках **s*, так же как и в германских языках, остается неизменным, если отвлечься от явлений синкопирования, озвончения и связанного с ним ротацизма. Факт отсутствия в италийских и германских языках сдвига *s* в *h* объясняется, если рассматривать фонологическую систему этих языков в целом. **s* не могло здесь развиваться в сторону заднеязычного глухого спиранта, так как в том же направлении изменялись в указанных языках индоевропейские гуттуральные; ср. и.-е. *gh*> лат. *h*, например лат. *hostis* «враг», гот. *gasts*, русск. *гость*, и.-е. *k*>герм. *h*, например греч. δέκα, гот. *taíhun* «десять». Таким образом, в германском и италийском столкнулись две фонетические тенденции, причем одержала верх региональная итало-германская тенденция.

За исключением хеттского, фракийского, италийских и германских языков, везде в различных позиционных условиях первоначальное **s* давало звук типа [x], который либо палатализовался и давал шипящий, либо переходил в придыхание [h], либо, наконец, оставался заднеязычным щелевым [x]. И при отражении **s* как шипящего *š* последний артикуляторно остается близок к заднеязычному спиранту (ср. выше, например, авест. *xštat*). Подробнее фонетический процесс мы можем представить следующим образом. Первоначальное **s* приобретало все более заднюю артикуляцию и ослаблялось до [x]; одновременно могла происходить палатализация [x] в [x']. При дополнительной палатализации после *k* или сонантов в индо-иранском и между гуттуральным или сонантом и гласным переднего ряда в славянском это [x'] становилось трудным для произношения, теряло заднеязычную артикуляцию и переходило в шипящий с переднеязычной артикуляцией. Подобный процесс превращения заднеязычного в переднеязычный под воздействием палатализации мы видим в некоторых северорусских говорах, где сильно палатализованное [k'] дает [т'], например [жат'ётка] вместо [жак'ётка]. Логически столь же возможен и процесс [s]> [š]>[x], предполагаемый А. Мартине[1], однако линия развития [s]>[x], [h] при [s]>[x']>[š] в палатализующей позиции более вероятна. Прежде всего тенденция [s]>[x], [h], как следует из приведенного выше материала, распространена гораздо шире. Изоглосса [š] идет по палатализующим языкам (типа satəm)[2] и безусловно связана с палатализацией. В славянских языках мы имеем [š], а не [x] перед гласными переднего ряда (ср. **мехъ**, но **мышь**), т. е. как раз в позиции, где обычно наблюдается палатализация. Индо-иранское *š* после сонантов и *k* также хорошо объясняется палатализующим воздействием последних. Более заднее произношение **s* и его палатализация — это две стороны одного и того же процесса, хотя для превращения первоначального **s* в шипящий в славянском требуется бо́льшая ступень палатализации, чем в индо-иранском: в славянском шипящий возникает после сонантов и *k* перед гласными переднего ряда, в индо-иранском — *вне зависимости от воздействия* последующего гласного. Трудно сомневаться в том, что описанная тенденция имеет общеиндоевропейский характер. Она проявляется в очень широких хронологических и географических рамках — от индо-иранского до кельтских языков начала нашей эры. В целом ее распространение шло, видимо, по направлению с юго-востока на северо-запад, по диагонали евразийского материка.

[1] См. A. Martinet, Concerning some Slavic and Aryan reflexes of the Indoeuropean *s*, «Word», vol. 7, № 2, 1951; его же, Économie du changement phonétique, Berne, 1955.

[2] A. Meillet, Dialectes indo-européennes, Paris, 1922, стр. 3.

Какими причинами было вызвано возникновение этой тенденции? В индоевропейском не было, как известно, заднеязычного глухого спиранта [x], он развился позднее либо из *s, либо в отдельных словах очень ограниченной семантической группы из сочетания *k* с ларингальным (например, в индоевропейском глаголе «хохотать»— др.-инд. *kakhati*, греч. κακάζω, арм. *xaxankh*, ст.-слав. хохотъ). Это немногие слова по преимуществу звукоподражательного характера, и они не могли оказать существенного влияния на систему языка. Представляется абсолютно несомненным, что возникновение в индоевропейских диалектах тенденции [s]>[x], [h] связано с существованием или возникновением лакуны в индоевропейской фонологической модели на месте заднеязычной глухой щелевой артикуляции.

Очень важно с этой точки зрения, что индоевропейский *z — звонкий вариант *s, возникавший перед звонкими взрывными,— хотя и палатализуется в *ž* в индо-иранском, но нигде не отражается как заднеязычный звонкий спирант, так как близкая артикуляция уже имелась у так называемого звонкого придыхательного (спиранта?) *gh*.

Если индоевропейские языки не имели в какой-то определенный период [x] или [h], то очевидно, что любая «ошибка» в произношении *s, заключавшаяся в отведении языка назад, не вызывала нарушения коммуникации и, следовательно, не исправлялась языковым коллективом, так как смешения с какой-либо другой фонемой возникнуть не могло. Так возникала фонетическая тенденция ленизации и палатализации *s, приводившая к изменениям, конечными результатами которых были [x], [h], [š]. Если предположение В. Мерлингена[1] о более заднем и палатализованном произношении индоевропейского *s верно, то указанная тенденция становится еще более вероятной.

Можно задаться вопросом, почему же проявилась тенденция сдвига именно в сторону [x]: ведь в индоевропейском равным образом не было, по всей видимости, и зубного спиранта *f*. Думается, это можно объяснить тем, что заднеязычная спирантная артикуляция не была абсолютно чужда укладу органов речи в индоевропейском языке-основе. В индоевропейском существовал «ларингальный» или ряд «ларингальных» фонем. Некоторые данные заставляют предполагать, что ларингальные приближались артикуляторно и акустически к заднеязычному спиранту, поэтому возникновение и распространение в различных индоевропейских диалектах тенденции [s]>[x], [h] представляется возможным связать с процессом выпадения ларингальных.

В компаративистике последних десятилетий в качестве рефлексов ларингальных рассматривается, помимо возникновения долгих гласных, также появление в индо-иранском, греческом и других языках ряда глухих придыхательных, появление протетической гласной в греческом, закон Хольцмана в германских языках. Нетрудно заметить, что хронологические рамки, к которым могут быть приурочены эти явления, хорошо согласуются со временем появления тенденции сдвига в сторону заднеязычной артикуляции у индоевропейского *s. Е. Курилович рассматривает возникновение *ph*, *th*, *kh*, из *pH*, *tH*, *kH* как индо-иранское явление[2]. Тенденция образования заднеязычного глухого спиранта из *s также, видимо, проявилась именно в позднем индо-иранском. Возникновение протетической гласной в греческом из ларингального и переход начального *s-* в густое придыхание — это также явления хронологически близкие. Хаммерих показал, что в греческом существовало систематическое противопоставление начальных *am-*, с одной стороны, и *m-*, *hm-*<*sm-*, с другой[3]. При этом то, что процессы перехода *s в придыхание и вокализация

[1] См. W. Merlingen, указ. соч., стр. 27.

[2] J. Kuryłowicz, Études indoeuropéennes, Kraków, 1935, стр. 46—56, 54—255.

[3] L. L. Hammerich, Laryngeals before sonants, København, 1948, § 5.

ларингальных в протетический гласный были хронологически смежными, доказывается некоторыми случаями, когда и.-е. *s отражается как протетическая гласная, например греч. ὀλίσταινω «я скольжу» от и.-е. корня *sleidh-; ср. др.-англ. slidan «скользить», русск. *след*; ср. также формы без протезы (греч. λεῖος «гладкий», λείμαξ «слизняк»). Здесь обычный случай беглого *s*-, которое перешло перед сонантом в *h* и потом отпало. Так как процесс возникновения протетического гласного из ларингального был еще достаточно живым в языке, начальное -λ- с выпавшим перед ним придыхательным было воспринято как -λ- с выпавшим ларингальным.

Если с исчезновением ларингальных связаны такие далеко отстоящие друг от друга явления, как закон Хольцмана и возникновение глухих придыхательных внутри индо-иранской группы, то очевидно, что это исчезновение происходит на базе уже отделившихся индоевропейских языков. Данные о времени появления в отдельных индоевропейских языках тенденции перехода *s в [x], [h] косвенно подтверждают это.

В целом для индоевропейских языков оказывается справедливым правило, согласно которому тенденция перехода *s* в *h* проявляется там, где произошло выпадение ларингальных или их заднеязычных щелевых рефлексов и ни одна из других фонем не испытывала сдвига в том же направлении. Изменение типа [s]> [h] закономерно следует в индоевропейских языках за выпадением ларингальных. Процесс выпадения ларингальных косвенно, через фонологическую систему языка, отражается на возникновении сдвига *s в заднеязычный глухой спирант. Из сказанного, конечно, не следует, что теоретически, при любых условиях, в языке, где отсутствуют [h] или [x], [s] должно дать [h] или [x]. Нам представляется, что возникновение такой тенденции в индоевропейских языках объясняется конкретными чертами праязыковой фонетической системы, где *s и ларингальные, объединяясь по способу образования как спиранты, имели большое количество позиционных вариантов, смежных с артикуляционной и акустической точек зрения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

Е. А. РЕФЕРОВСКАЯ

ЛАТИНСКАЯ «МЕДИАЛЬНАЯ» ФОРМА

(Посвящается акад. В. В. Струве. К 70-летию со дня рождения)

В индоевропейских языках на смену древнему противопоставлению актива и медиума, имевших свои особые сферы применения и свои специальные формы, постепенно пришло новое противопоставление актива пассиву. Последний выражался в древних языках сперва при помощи старых форм медиума, имеющих семантические точки соприкосновения с пассивом, а позднее — посредством именных предикативных конструкций. В новых европейских языках аналогичную роль играют отчасти те же предикативные конструкции, отчасти глагольные сочетания с возвратным местоимением, включающиеся в грамматическую систему в качестве залоговых форм.

Постепенное затухание медиума и развитие за его счет пассива отчетливо прослеживается на материале латинского языка. Весьма важно в этом отношении своеобразное развитие древней медиальной формы на *-r*. Вопрос о грамматическом характере форм на *-r* стал пользоваться особым вниманием со времени обнаружения памятников хеттского, а затем тохарского языков. Ознакомление с ними оживило дискуссию о происхождении латинских форм на *-r*[1].

Наиболее убедительна теория, сводящаяся к тому, что формы *fertor* и *ferontor*, представленные в историческую эпоху в виде *fertur* и *feruntur*, являются результатом контаминации древней формы безличности на *-r* (**bher* + гласная + *r*) и медиальной формы (**bher-to* — 3-е лицо ед. числа и **bher-onto* — 3-е лицо мн. числа)[2]. Действительно, значительная часть латинских депонентных глаголов может быть сведена к категории древних media tantum и соответствует медиальным формам индоиранских и древнегреческого языков[3]. Особенность латинских депонентных глаголов заключается в том, что они существуют в форме на *-r* и не имеют соответственных форм актива.

Значение и употребление форм на *-r*, главным образом в ранние периоды латинского языка, с очевидностью подтверждают предположения о том, что этимологически они восходят к сращению древних форм медиума с показателем безличности *-r*. В самом деле, в древнем латинском возможно безличное употребление формы на *-r* как для непереходных, так и для переходных глаголов, даже сопровождаемых прямым дополнением:

---

[1] См. C. H. Balmori, Observaciones para el estudio de los verbos deponentes, «Emerita», t. II, Sem. 1—2, Madrid, 1934; E. F. Claflin, The nature of the Latin passive in the light of recent discoveries, «American journal of philology», vol. XLVIII, 2, Baltimore, 1927; ее же, *Videor* as a deponent in Plautus, «American journal of philology», vol. LXIV, 1, 1943; ее же, The middle voice in the de Senectute, «American journal of philology», vol. LXVII, 3, 1946; A. G. Hatcher, Reflexive verbs: Latin, old French, modern French, Oxford, 1942.

[2] См. A. Ernout, Recherches sur l'emploi du passif latin à l'époque républicaine, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», t. XV, fasc. 5, Paris, 1909; J. Vendryes, Les formes verbales en *-r* du tockharien et de l'italo-celtique, «Revue celtique», vol. XXXIV, № 2, 1913.

[3] См. J. Charpentier, Die verbalen *r*-Endungen der indogermanischen Sprachen, Uppsala, 1917 (см. особенно стр. 70—101).

«incerte errat animus, praeter propter vitam vivitur» (Ennius, Trag. 190[1]); «pessumis me despicatur modis» (Plaut., Cas., 177). В классической латыни безличная (вернее, неопределенно-личная) форма употребляется уже только от непереходных глаголов: «Eorum ego vitam mortemque iuxta aestumo quoniam de utraque siletur» (Sall., C. Cat., II).

Форма на *-r*, постепенно превращавшаяся в форму пассива, сохраняла старые связи с категорией безличности. В наиболее древних памятниках латинского языка она употребляется как пассив, преимущественно в форме 3-го лица ед. числа, т. е. в той самой форме, которая служит выражением безличности: «inde nunc aufugit, quoniam capitur oppidum» (Plaut., Poen., 665); «Palaestrionis somnium narratur» (Plaut., Mil. gl., II, IV). Особенно близка к безличной форме такая форма личного пассива, при которой не выражен агенс[2]. Именно эта конструкция преобладает в классической латыни: «Igitur domi militiaeque boni mores colebantur» (Sall., C. Cat., IX); «mors Sex. Roscii quatriduo, quo is occisus est, Chrysogono nuntiatur» (Cic., Rosc. Am., 37, 105). Форма на *-r* может выступать и как носитель древнего медиального значения. В латинском языке оно гораздо менее богато, разнообразно и живо, чем в греческом, и сводится, в сущности, к «остаткам» возвратного и взаимного значений и медиума «заинтересованности».

Возвратное значение[3] передают глаголы, относимые к разряду медиопассивных: «umquam concessamus lavari aut fricari, aut tergeri, aut ornari, poliri, expoliari, pingi, fingi» (Plaut., Poen., 220—221). Незначительное число глаголов на *-r* сохраняет значение взаимного залога: «copulantur dexteras» (Plaut., Aulul, 116). Оба эти значения, как правило, подчеркивались в предложении также и лексически[4]: «Sed memet morer» (Plaut., Cist., IV, II); «Nil cessarunt ilico osculari atque amplectari inter se» (Plaut., Mil. gl., V, I).

Так называемый «медиум заинтересованности» пред-

---

[1] В статье приняты следующие сокращения: Caes, B. G.— «C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico», Leipzig, 1871; Cic., Acad.— «M. T. Ciceronis academicarum questionum», Paris, 1817; Cic., Cacc.— «M. T. Ciceronis orationes»—«Oratio pro Caecina», Oxford, 1911; Cic., Ep. Att.— «M. T. Ciceronis epistulae ad Atticum», Paris, 1817; Cic., Ep. Quint. fr.— «M. T. Ciceronis epistulae ad Quintum fratrem», Paris, 1817; Cic., Nat. deor.— «M. T. Ciceronis de naturae deorum», Lipsiae, 1869; Cic. Rosc. Am.—«M. T. Ciceronis pro Sexto Roscio Amerino oratio», в кн. «Ciceros Reden», Berlin, 1867; Ennius, Trag.— «Tragicorum romanorum fragmenta»— «Ennius», Lipsiae, 1871; Fredeg., Chr.— «Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici», Hannover, 1888; Fredeg., Chr. cont.— то же, *continuationes*, Hannover, 1888; Gesta Theodor. — «Gesta Theodorici regis», Hannover, 1888; Hist. Daretis Frigii de orig. franc.— «Historia Daretis Frigii de originibus francorum», Hannover, 1888; Lib. hist. franc.— «Liber historiae francorum». Вариант A, Hannover, 1888; MGH — «Monumenta Germaniae historica»; Mulom. Chiron.— «Mulomedicina Chironis», Heidelberg, 1910; Passio ep. et. mart. Arverni — «Passio episcoporum et martyrum Arverni», Hannover, 1906; Plaut., Aulul.— «T. M. Plauti Aulularia», Lipsiae, 1881; Plaut., Cas — «T. M. Plauti comoediae»,— «Casina», Hannover, 1887; Plaut., Cist.—«T.M. Plauti comoediae»— «Cistellaria», Paris, 1832; Plaut., Mil. gl.— «T. M. Plauti comoediae»—«Miles gloriosus», Paris, 1832; Plaut., Poen.—«T. M. Plauti comoediae»—«Poenulus», Lipsiae, 1896; Sall., C. Cat.— «C. Sallustius Crispus *conjuratio Catilinae*», M., 1947; Tac., Ann.—«Cornelii Taciti annales», Lipsiae, 1872; Tac. Hist.—«Cornelii Taciti historiarum libri», Lipsiae, 1957; Vitae Caesar.— «Vitae Caesarii episcopi Arelatensis», Hannover, 1896; Vitae Columb.—«Vitae Columbani abbatis», Hannover, 1902; Vitae Desid.—«Vitae Desiderii episcopi Viennensis», Hannover, 1896; Vita Eligii — «Vita Eligii episcopi Noviomagensis», Hannover, 1902; Vita Galli Vet.— «Vita Galli vetustissima», Hannover, 1902; Vita Sigir.— «Vita Sigiramni abbatis Longoretensis», Hannover, 1902.

[2] Наиболее древние формы пассива не сопровождаются ни подлежащим, ни агенсом. Впрочем возможность появления агенса при пассиве относится еще к очень отдаленным временам: А. Мейе приводит пример из трагедии Невия: *laetus sum laudari me abs te, pater, laudato viro* (A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine, Paris, 1931).

[3] См. F. Stolz, J. Schmalz, Lateinische Grammatik: Laut- und Formenlehre, Syntax und Stilistik, München, 1928, стр. 544.

[4] См. G. Reichenkron, Passivum, Medium und Reflexivum in den romanischen Sprachen, Jena — Leipzig, 1933.

ставлен в языке всего двумя глаголами[1]: *liceor* «назначать свою цену за покупаемый товар» и *pigneror* «брать в залог». В некоторой мере сохраняют оттенок старого медиального значения глаголы, выражающие внутренние процессы духовной жизни человека, а также непосредственно примыкающие к ним глаголы, обозначающие акт речи: *recordor*, *arbitror*, *suspicor*, *miror*, *reor*, *miseror*, *loquor*, *for*, *hortor* и др.

Таким образом, в классическую пору форма на *-r* оказывается грамматически многозначной. Казалось бы, наиболее четко залоговое значение формы на *-r* должно было бы выступать в тех случаях, когда глагол имеет обе формы: на *-o* и на *-r*. Последняя могла бы либо быть пассивом, либо передавать один из оттенков медиального значения. Однако в ряде случаев значение обеих форм идентично; например: *domino* — *dominor*, *sciscito* — *sciscitor*, *modifico* — *modificor*, *contemplor* — *contemplo*, *populor*— *populo*, *comperio* — *comperior* и т. д.

Не только Плавт и Теренций, но и Цицерон употребляли, по-видимому, безразлично ряд глаголов как в «медиальной», так и в «активной» форме[2]. Иногда более древней является форма на *-o*: *amplecto*, *arbitro*, *contemplo*, *populo* (Плавт); иногда она возникает позднее и оттесняет старую форму на *-r*: *communico*, *comperio*, *punio*[3].

У поздних авторов засвидетельствованы: *abominor* (у Ливия), *admurmuror* (у Фронто), *aggeniculor* (у Тертуллиана) и др. Причина существования таких глагольных «дублетов» заключается в утрате формой на *-r* медиального залогового значения, в результате чего употребление формы на *-o* или на *-r* могло казаться безразличным, если последняя не служила пассивом. Ср. у Цицерона: «ita meruisse illum de me puto, ut...» (Cic., Ep. Att., IX, 7); «Ciceronem, et ut rogas, amo, et ut meretur et debeo» (Cic., Ep. Quint. fr., III, 9). У Тацита: «maiores mei meruerant ut posteros haberent» (Tac., Ann., 2, 37); «habitune et incessu an illo muliebri ornatu mereretur imperium (Otho)». (Tac., Hist., II, 30). У Цезаря: «si quid vellent, ad Ides Apriles reverterentur...» (Caes., B. G., I, 7); «Ubi ea dies, quam constituerat cum legatis, venit, et legati ad eum reverterunt...» (там же, I, 8).

Грамматическая двусмысленность форм на *-r* приводила к «недоразумениям». Иногда депонентным глаголам приписывалось пассивное значение. Ср. *abominor*, *hortor* у Варрона, Апулея, Присциана; *polliceri* у Ульпиана и Амброзия; *criminor* у Цицерона. Утрачивая свое старое залоговое значение, форма депонентных, а также и медиопассивных глаголов становится равной по своему залоговому содержанию форме действительного залога, не имеющей специального залогового показателя. Ср. *errare per agros* и *vagari per agros*; *revertor ex provincia in Italiam* и *redeo ex provincia in Italiam* или *remeo ex provincia in Italiam*. *Moveor* и *vertor* совершенно равнозначны с *moveo* и *verto*, употребленными в непереходном смысле.

*

Медиальные глаголы наряду с выражением специфических оттенков отношения между субъектом и действием обозначали это действие как сосредоточенное на субъекте и ограниченное сферой субъекта. Форма на *-r* в непереходных глаголах, утратив значение медиума, сохранила грамматическое значение непереходности, и именно как форма непереходности она осталась свойственна глаголам движения: *proficiscor*, *orior*, *vagor*, *labor*, *moveor*, *vertor*. Становясь формой непереходности, форма на *-or*

[1] См. F. Stolz, J. Schmalz, указ. соч., стр. 544.

[2] См. G. Reichenkron, указ. соч., стр. 9—11; A. Draeger, Historische Syntax der lateinischen Sprache, Bd. I, Leipzig, 1878, стр. 153.

[3] См. A. Meillet, J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris, 1948, стр. 242; O. Riemann, H. Goelzer, Grammaire comparée du grec et du latin, Paris, 1897, стр. 242.

противопоставляется форме на *-o* в плане этого грамматического значения и начинает служить средством формальной дифференциации переходных и непереходных действий.

В классической латыни много пар глаголов, в которых форма на *-o* обозначает переходный, форма на *-r* — непереходный вариант действия: *delecto — delector*, *moveo — moveor*, *relinquo — relinquor*, *colligo — colligor*, *verto — vertor*. С точки зрения выполняемой ими грамматической функции весьма показательно сопоставление глаголов, оформленных окончаниями *-or*, *-o*. Так, форма *moveo* может иметь два грамматических значения: переходности (при наличии прямого дополнения): «Parmenides ignem (dixit esse) qui moveat terram» (Cic., Acad., II, 37) и непереходности: «haec autem scribebam... XIV die postquam ille Canusio moverat» (Cic., Ep. Att., IX, I).

Форме *moveor* могут соответствовать также два значения: непереходность и пассивность; последнее значение — преимущественно в присутствии агенса или обстоятельства причины, выраженных дополнением в аблативе: «quod (Aristoteles) omnia quae moventur aut natura moveri censuit aut vi aut voluntate» (Cic., Nat. deor., II, 15, 44).

При отсутствии дополнения-агенса восприятие формы *-or* как пассивной ничем не оправдано формально, а иногда и по существу: «Stellae tum occultantur tum rursus aperiuntur tum celerius moventur tum tardius tum omnino ne moventur quidem (Cic., Nat. deor., II, 20, 51)[1].

Таким образом, как форма залога форма на *-o* (= действительному залогу) противопоставляется форме на *-or* (= страдательному залогу)[2]. Как форма непереходности форма на *-or* противопоставляется форме на *-o*, выражающей переходное действие. В последнем случае залоговое значение одинаково: *moveo* «я двигаю (что-то)», *moveor* «я двигаюсь».

У большей части глаголов, выступающих в форме на *-o* и в форме на *-r*, последняя может иметь пассивное значение, обычно поддерживаемое в предложении агенсом. У некоторых глаголов форма на *-o* и переходна, и непереходна. Ср.: 1) *relinquo* как переходный глагол: «...qui signa relinquere aut, pulsi, loco cedere ausi erant...» (Sall., C. Cat., IX); 2) *relinquor* как непереходный глагол: «Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis invitis propter angustias ire non poterant» (Caes., B. G., I, 9); но и 3) *relinquor* как пассив: «usicapio fundi non a patre relinquitur, sed a legibus» (Cic., Caec., 74).

*

В поздней латыни процессы, связанные с преобразованием отношений между формой на *-o* и формой на *-r*, расширяются и углубляются. Изменение самих форм и их употребления в языке этого периода обычно принято считать «путаницей», «неясностью»[3], которые то приписывают отдельным авторам, то рассматривают как характерную черту языка эпохи. Возможна другая точка зрения. Следует учитывать, что в этот период язык, освобожденный от стеснения литературной нормы, живет в устах народа, почти не регулируется письменной традицией, которая не может теперь оказывать сколько-нибудь эффективного влияния на его развитие. Большинством населения латинский язык воспринят сравнительно недавно, что тоже не способствует сохранению старых норм его употребления. Все эти условия обеспечивают языку возможность свободного развития, интенсивного, быстрого, но, как правило, идущего в том же направлении, которое наметилось в более древние периоды. Формы на *-r* продолжают

[1] Впоследствии местоименная форма взяла на себя функцию обозначения непереходного действия. Выражение пассивного действия осталось временно за формой на *-or*. Окончательная утрата формы на *-or* произошла уже в период поздней латыни.

[2] Ср. *moveo* «двигаю» (или «сам двигаюсь») — *moveor* «меня двигают».

[3] Ср. A. Hatcher, указ. соч., стр. 24.

то движение, которое началось значительно раньше и которое в новых условиях привело к полному их исчезновению: появляются формы на *-r* для ряда непереходных глаголов, имевших прежде «активные» формы, а бывшие депонентные и медиопассивные глаголы получают формы на *-o*. Процесс замены форм на *-r* формой на *-o* поддерживается фонетическими закономерностями, но необходимым условием для исчезновения форм на *-r* являлась утрата ими медиального значения и замена их в значении пассива другими наличными средствами. В инфинитивах такие замены основаны отчасти также на фонетическом слиянии конечных *e* и *i* — явлении, получавшем особое значение в условиях забвения семантики форм на *-r*[1].

Замены форм на *-r* формами на *-o* в поздний период представляются совершенно закономерными для депонентных глаголов, форма которых давно уже не несла никакой специальной смысловой нагрузки (ср. *conare* вместо классического *conari*, *arbitrare* вместо *arbitrari*, *adgredere* вместо *aggredi*, *utere* вместо *uti* и т. п.). При этом глаголы третьего спряжения получают аналогичную форму инфинитива на *-re*: «...ego vivens hinc non revertar, si non potuero necem illius ulciscere» (Hist. Daretis Frigii de orig. franc., MGH II, 198); «...vasculum argenteum, quem tuere debuerat, furtim abstulit...» (Passio ep. et mart. Arverni, 19, MGH V, 237); «...dum se sub specie Christum diceret confitere...» (Vita Desid., 2, MGH III, 638); «Quem regat, ut...legationem fungere curet...» (Vita Columb., I, 30, MGH IV, 108); «Igitur cum indignus digna optem prosequere...» (Vita Desid., 1, MGH III, 638).

Если в замене форм инфинитива еще можно усматривать отчасти результат фонетического слияния конечных *e* и *i*, то замена личных форм дает убедительное подтверждение забвения старой роли формы на *-r*. Да и естественно, форма, особое значение которой, в сущности, уже давно утрачено, постепенно все больше забывалась. Ср. у Фредегария: «Quescumque de gentem nobilem repperiret, totusque humiliare conabat» (Fredeg., Chr., IV, 27, MGH II, 131); «Judas Gallileos ad revelandum Judaeos quoortat» (там же, II, 33); «His auditis Bellesarius, cum arbitraret inpossebile Wandalos superare... ad propriam remeavit» (там же, II, 62). Ср. также: «...princeps navale proelium praeparavit, qualiter eos ad internitionem persequeret» (Fredeg., Chr. cont. 32, MGH II, 182); «Et cum post tanta et talia tempestate quassatus... cunctaret in Domino...» (Vita Desid., 7, MGH III, 640). В Рейхенаусском глоссарии приводятся формы на *-o* некоторых глаголов, бывших прежде депонентными: 275 — *ortaret*; 413/3 — *preco*; 449,9 — *moliebat*, *meditabat*, *conabat*[2].

Вытеснение формы на *-r*, начавшись в области депонентных глаголов, где она, не поддержанная содержанием, была наиболее слаба, распространяется и на те случаи, когда ею выполняется вторая ее функция, более поздняя и устойчивая. В значении пассива форма на *-r* заменяется описательными формами, передвинувшимися от перфектного значения к инфектному.

Отожествление грамматического осмысления форм на *-o* и на *-r* приводит также к тому, что нередко глаголы, имевшие в классическом языке форму на *-o*, выступают в поздних текстах в форме на *-r*. Как правило,

---

[1] Ср. M. Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours, Paris, 1890; J. Vieilliard, Le latin des diplômes royaux et chartes privées de l'époque mérovingienne, Paris, 1927; O. Haag, Die Latinität Fredegars, RF, Bd. X, Hf. 5, 1899; A. H. Salonius, Vitae patrum. Kritische Untersuchungen über Text, Syntax und Wortschatz, Lund — Leipzig, 1920; D. L. Norberg, Syntaktische Forschungen auf dem Gebiete des Spätlateins und des frühen Mittellateins, Uppsala, 1943; E. Löfstedt, Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Oxford — Uppsala — Leipzig, 1911.

[2] Ж. Вьейяр считает, что замена депонентной формы активной формой в языке хартий представляет собой редкость в силу того, что «писцы стараются сознательно ее избегать» (см. J. Vieilliard, указ. соч., стр. 160).

это глаголы непереходные[1], в которых форма на *-r* подчеркивает именно этот их грамматический характер: «claudicaretur assidue et paene diffideret se nulla posse sanandi invenire fortuna...» (Vita Desid., 11, MGH III, 642)[2].

Стремление некоторых исследователей непременно найти особые грамматические значения, помимо отмеченных выше, в форме на *-r* для поздней латыни представляется напрасным[3]. Равнозначность форм на *-o* и на *-r* подтверждается возможностью употребления их в одном и том же тексте в равном значении: «Eo tempore rex Chilpericus graviter egrotavit. Quo recuperante, filius eius... egrotare coepit... Deinceps Chlotbertus... cum nimis egrotaretur... basilicam sancti Medardi duxerunt» (Lib. hist. franc., A. 34, MGH II, 299—300). Неустойчивость формы на *-r* во все периоды развития латинского языка связана с недостаточной яркостью ее семантической окраски как формы залога. Можно наблюдать двукратное изменение этой формы для некоторых глаголов в период от архаической до поздней латыни. Так, архаический глагол *moro* в классический период стал депонентным; в поздней латыни он опять утратил эту форму: «Iunctus supradicto pontifici Arnulfo, cum ipso quantisper moravit» (Vita Columb., II, 23, MGH IV, 144). Утрата формой на *-r* ее старого медиального значения приводит к тому, что она начинает вступать в сочетание с местоимением *se*: «ex qua causa valde claudicet... portari se non facile potest» (Mulom. Chiron., II, XXIV); «Beatus pontifex... non potuit se contineri propter dolorem» (Vita Galli Vet., 5, MGH IV, 253); «Ravennam ingressus est ibique quibus se tueri posset adversus hostes municionum preparare obstacula cepit» (Gesta Theodor., 7, MGH II, 204); «Interea vero dum ita se agerentur nullatenus a nobis est reticendum» (Vita Sigir., 13, MGH IV, 613).

В период поздней латыни местоименная форма начинает перенимать грамматические значения формы на *-r*, в том числе и значение непереходности. Ср. «Ubi cum ingressus fuisset... ad orationem prosternitur...» (Vita Caesar. 2, MGH III, 484) и «...et ingressus domun, prostravit se in pavimento...» (Vita Eligii, II, 18, MGH IV, 709).

*

Таким образом, бывшая форма медиума по мере затухания ее старых медиальных значений выступала в классической латыни как форма пассива и непереходности. Некоторые значения медиума оставались в ней лишь как реликтовые. Так называемые депонентные глаголы уже в классическую пору, не обладая никаким специфическим залоговым грамматическим значением, сохраняют форму на *-r* как форму непереходного действия. Оформляя именно это грамматическое значение, форма на *-r* служит средством дифференциации действия по корреляции переходности. От оформления противопоставления актива медиуму она переместилась к оформлению противопоставления актива пассиву и переходности — непереходности. Впоследствии в значении пассива она вытеснится описательными конструкциями и в значении непереходности — превращающимся в глагольную форму сочетанием глагола с местоимением *se*.

---

[1] В виде исключения форма на *-r* сообщается иногда переходным глаголом. Ср. у Ж. Вьейяр (указ. соч., стр. 161): «haec auctoretas firmiorem obteniatur vigorem» (XIV, 13); «Ubi chorus virginum., carmena... canuntur» (T. 19, 7—8).

[2] Ср. *rideor* (у Петрония), *captor*, *gaudeor* (у Августина) и др. См. F. Muller, The passive voice in vulgar Latin, «Romanic review», t. XV, № 1—2, 1924.

[3] Так, например, А. Хатчер (указ. соч., стр. 31—34) утверждает, что форма на *-o* всегда выражает действие «самопроизвольное», «естественное» для субъекта; форма на *-r* — действие, «вызванное» чем-либо, «причиненное». Это могло бы быть справедливым только для случаев превращения формы на *-r* в пассив, ибо такое действие предполагает наличие агенса.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

В. И. АЛАТЫРЕВ

ГЛАГОЛЫ ПРИТВОРНОГО ДЕЙСТВИЯ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

В удмуртском языке — как в литературном, так и в его диалектах — употребляются глаголы с суффиксом *-мйаськ-* (орфографически *-мъяськ-*), до сих пор еще не рассматривавшиеся специально в лингвистической литературе. Оттенки в значении, привносимом суффиксом *-мъяськ-* в тот или иной глагол, зависят как от семантики глагола, так и от контекста. Глаголы на *-мъяськ-* с точки зрения их значения можно разделить на следующие три группы:

1. Глаголы на *-мъяськ-*, которые в одном контексте выражают значения мнимости, фиктивности, притворства в совершении действия, обозначенного корневым элементом, в другом контексте — скромность с оттенком уменьшительности в сообщении о совершении действия, производимого чаще всего самим говорящим, а также совершение действия не в силу своих возможностей. К этой группе относится большинство глаголов со значением различных действий, производимых деятелем. Например: *пичи нылме но араны ваи, тӥни арамъяське али* «и маленькую дочку привез жать, вон пытается жать...»; *нылоке но намер бичамъяське* «и доченька моя пытается собирать костянику (пытается собирать, но еще неумело)»; *гожъямъяськыны* «делать вид, что пишешь, записываешь»; «пытаться, делать попытку писать, записывать, но эта попытка не дает полного результата»; *етӥнамъяськыны* «делать вид, пытаться теребить лен, но эта попытка еще не дает полного эффекта»; *кокчамъяськыны* «делать вид, что клюет (о птицах); пытаться клевать»; *корамъяськыны* «делать вид, что рубишь (дрова и т. д.); пытаться рубить»; *кырӟамъяськыны* «делать вид, что поёшь; пытаться петь; петь (скромно о себе)», *кыскамъяськыны* «делать вид, что дёргаешь; пытаться дёргать»; *лобамъяськыны* «делать вид, что летаешь; пытаться летать»; *ужамъяськыны* «делать вид, что работаешь; пытаться работать, работать (говоря о себе, о своих близких)»; *усыямъяськыны* «делать вид, что боронишь; боронить (скромно о себе, о близких), пытаться боронить»; *уямъяськыны* «делать вид, что плаваешь; пытаться плавать»; *вераськемъяськыны* «делать вид, что разговариваешь; пытаться разговаривать».

2. Глаголы на *-мъяськ-*, выражающие только значения мнимости, фиктивности, притворства в совершении действия. В эту группу входят глаголы, корневой элемент которых обозначает независимое от воли индивида психо-физиологическое состояние (процесс). Примеры: *изeмъяськыны* «делать вид, притворяться, что спишь»; *дырекъямъяськыны* «делать вид, что дрожишь, притворяться дрожащим», *куалекъямъяськыны* в том же значении; *черламъяськыны* «делать вид, что болеешь, притворяться больным»; *адӟемъяськыны* «делать вид, что видишь, притворяться видящим»; *бӧрдэмъяськыны* «делать вид, что плачешь, притворяться плачущим»; *гуньдэмъяськыны* «делать вид, притворяться, что подавился»; *кудӟемъяськыны* «делать вид, что опьянел, притворяться пьяным».

3. Глаголы на *-мъяськ-*, которые обозначают, что действие совершалось не в полную меру возможностей, и в которых суффикс *-мъяськ-* служит для ограничения и уменьшения сферы действия (в дальнейшем

даем: уменьшительность в совершении действия). В эту группу входят глаголы, корневой элемент которых обозначает процессы, совершающиеся в природе. Например: *туннэ нунал шунытамъяськиз* «сегодняшний день немного (ожидали больше) потеплел»; *куазь зорыны уг зоры, зоремъяське гинэ* «дождь идти не идет, только видимость создает, т. е. немного, чуть-чуть дождит»; *тысямъяськыны* «появиться зернам (о злаковых растениях) в небольшом количестве»; *шепамъяськыны* «появиться (немного и кое-где) колосьям»; *вожектэмъяськыны* «немного, чуточку зеленеть;» *пиштэмъяськыны* «немного, чуточку светить (о солнце)»; *лымыямъяськыны* «чуть-чуть идти снегу».

Специфическими для глаголов на *-мъяськ-* являются значения мнимости, фиктивности, притворности; остальные значения, как то: уменьшительность, действие не в полную силу возможностей и т. д., представляют собою вторичное явление, ответвление от первого.

Во всех приведенных примерах значения фиктивности, уменьшительности в совершении действия и т. д. выражаются синтетически. В удмуртском языке имеется также лексический, или, как мы его назовем, аналитический способ выражения этих значений. Например: *ужаны ӧз мыны, висем улэ аналскиз* «на работу не ходил, притворился больным». (*Висем улэ аналскиз* буквально: «под болезнь притворился».) В народной речи синтетический и аналитический способы выражения указанных категорий существуют параллельно, и сочетание *висем улэ аналскиз* по своему основному значению адекватно глаголу *висемъяськиз*. Различие между ними только стилистическое. Пример: *Со куспын ӟичы воргоронлэсь лыктэмзэ адӟем. Кусӥнак гинэ выдэм. Изем улэ аналскыса сор-сор шока, пе* («Удмурт калык сказкаос», Ижевск, 1940) «В этот момент лиса увидела, что идет мужик. Легла, тут же свернувшись. Притворяясь спящей, похрапывает»; здесь *изем улэ аналскыса* (буквально: «под спанье притворяясь») имеет эквивалент *иземъяськыса* «притворяясь спящим; делая вид, что спишь», который и употребляется в других вариантах этой народной сказки.

Имеется несколько глаголов, к которым суффикс *-мъяськ-* не присоединяется. Сюда относятся в основном глаголы, обозначающие состояния и процессы, которые осмысливаются как независимые от желания индивида, например: а) глаголы первого спряжения: *бездыны* «вылинять, выцвести, поблекнуть»; *восьмыны* «худеть, похудеть»; *вужмыны* «износиться, обветшать», «зачерстветь»; *ӟӧкмыны* «стать толстым, толстеть»; *зынмыны* «загнивать, протухнуть, испортиться (о продуктах), разлагаться»; *кизермыны* «разжижаться, становиться жидким»; *нюрмыны* (*нюромыны*) «отсыреть, увлажниться, отпотеть»; *пасёмыны* «продырявиться»; *сисьмыны* «гнить»; *ылъӟыны* «преть, сыреть, мокнуть»; б) глаголы второго спряжения: *долканы* «набить оскомину»; *кӧсаны* «стать сухим»; *моторанны* «стать красивым», *нюланы* «потеть, вспотеть, отпотеть».

*

По своему происхождению суффикс *-мъяськ-* является сложным и состоит из следующих суффиксов, сопоставляемых с соответствующими грамматическими показателями: *-м-*, *-й*, *-а-*, *-ськ-*. Основа глагола, к которой присоединяется *-мъяськ-*, может оканчиваться на *-э-* (*-е-*), если глагол относится к первому спряжению (*изъыны* «спать» — *иземъяське* «делает вид, что спит, притворяется спящим»; *выдыны* «ложиться»— *выдэмъяське* делает вид, что ложится»), и на *-а-*(*-я-*), если это глагол второго спряжения (*араны* «жать» — *арамъяське* «делает вид, что жнет»; *гожъяны* «писать» — *гожьямъяське* «делает вид, что пишет»).

Входящий в состав суффикса *-мъяськ-* компонент *-м-*, по нашему мнению, тот же самый суффикс, что и в глагольных формах: *изем* (*со*) «оказывается, он спал», *выдэм* (*со*) «оказывается, он лёг», *арам* (*со*) «ока-

зывается, он жал», *гожьям* (*со*) «оказывается, он писал». Аффикс *-й-* орфографически обозначается слитно с суффиксом *-а-*, т. е. знаком *ъя*; *-й-* — это тот же самый суффикс, что и в глаголах: *гожйаны* «писать» (орфографически *гожъяны*; ср. *гожтыны* «написать, записать»), *басьйаны* «брать, покупать» (орфографически: *басьяны*; ср. *басьтыны* «взять»), *вошйаны* «менять, обменивать» (орфографически: *вошъяны*; ср. *воштыны* «обменить, сменить, заменить, отменить»). Суффикс *-а-* — тот же самый суффикс, что и в словах *ар-а-ны* «жать», *вер-а-ны* «сказать, говорить», *уж-а-ны* «работать» и т. д.; этот суффикс в приведенных словах, как и в составе сложного суффикса *-мйаськ-*, исторически восходит к *-ал-* (*л* восстанавливается при изменении глаголов; ср. *араны* «жать», *арасько* «жну», но *соос арало* «они жнут», *мон арало* «я буду жать» и т. д.). Компонент *-ськ-*в составе *-мйаськ-* представляет собой так называемый возвратный суффикс (ср. *шунтыны* «согреть», *шунтй-ськ-ыны* «согреться», *вордыны* «воспитать», *ворд́й-ськ-ыны* «родиться», *леканы* «бодать», *лекаськ-ыны* «бодаться»), в силу чего все глаголы, снабженные суффиксом *-мъяськ-*, являются возвратными.

Таким образом, в составе суффикса *-мйаськ-* нет ни одного аффикса, который бы представлял собою новообразование или был заимствованным из других языков (как, например, тюркский суффикс *-чи*: *арганчи* «гармонист», *пöечи* «обманщик, лгун», *сюанчи* «участник свадьбы»). Сочетание древних суффиксов *-м-*, *-й-*, *-а-*, *-ськ-* (*-мйаськ-*), каждый из которых в отдельности может употребляться самостоятельно и иметь свои особые функции, стало выражать совершенно новое значение «делать вид, притворяться делающим» и т. д., которое ни одним из указанных суффиксов в отдельности не выражается. Правда, суффикс *-м-* (*ем-*, *-ам*) выражает модальное значение «оказывается», например: *мон мынйськем* «я, оказывается, шел», *тон мынэмед* «ты, оказывается, шел», *со мынэм* «он, оказывается, шел». Модальное значение «оказывается» (неочевидность или неуверенность) имеет определенные связи со значением «делать вид, притворяться», несмотря на их неадекватность. Возможно, что указанная модальность на *-м* могла служить в известной мере одним из факторов при формировании значений глаголов на *-мъяськ-*.

Сложный суффикс *-мйаськ-* — это качественно новое образование, значение которого не есть простая сумма «значений» отдельных суффиксов *-м-*, *-й-*, *-а-*, *-ськ-*[1]. От глаголов на *-мйаськ* - можно образовать причастия, деепричастия и существительные (как и от обычных корневых глаголов). Правда, некоторые из таких деепричастий (на *-тозь*, *-тэк*) от глаголов на *-мйаськ-* образуются редко.

Глаголы на *-мъяськ-* изменяются по всем наклонениям, временам, числам и лицам; при этом суффикс *-мъяськ-* последовательно сохраняется. Проследим изменения глагола *иземъяськыны* «делать вид, что спишь, притворяться спящим» по всем наклонениям, временам, числам и лицам.

Утвердительные формы

Настоящее время: *мон иземъяськисько* «я делаю вид, что сплю, я притворяюсь спящим»; *тон иземъяськиськод* «ты делаешь вид, что спишь, ты притворяешься спящим» и т. д.

Будущее время: *мон иземъясько* «я буду делать вид, что сплю, я притворюсь спящим»; *тон иземъяськод* «ты будешь делать вид, что спишь, ты притворишься спящим» и т. д.

Прошедшее время I (имперфект): *мон иземъяськи* «я делал вид, что спал; я притворялся спящим»; *тон иземъяськид* «ты делал вид, что спал; ты притворялся спящим».

---

[1] Грамматическими омонимами глаголов на *-мъяськ-* являются глаголы, производные от имен, основы которых оканчиваются на *-м*, например: *кум* «кум» — *кумъяськыны* «становиться кумовьями», *йылпум* «конец, начало» — *йылпумъяськыны* «завершаться, заканчиваться».

Прошедшее время II (прошедшее неочевидное): *мон иземъяськеме* «я, оказывается, делал вид, что спал; я, оказывается, притворился спящим»; *тон иземъяськемед* «ты, оказывается, делал вид, что спал; ты, оказывается, притворился спящим» и т. д.

Условное наклонение

Мон иземъяськысал(ым) «я бы делал вид, что сплю; я притворился бы спящим»; *тон иземъяськысал(ыд)* «ты бы делал вид, что спишь; ты притворился бы спящим».

Повелительное наклонение

Тон иземъяськы «ты делай вид, что спишь; ты притворись спящим»; *со мед иземъяськоз* «он пусть делает вид, что спит; пусть притворится спящим».

Отрицательные формы

Настоящее время: *мон уг иземъяськиськы* «я не делаю вида, что сплю; я не притворюсь спящим»; *тон уд иземъяськиськы* «ты не делаешь вида,что спишь; ты не притворяешься спящим».

Будущее время: *мон уг иземъяськы* «я не буду делать вида, что сплю; я не притворюсь спящим»; *тон уд иземъяськы* «ты не будешь делать вида, что спишь; ты не притворишься спящим».

Прошедшее время I (имперфект): *мон ӧй иземъяськы* «я не делал вида, что спал (сплю); не притворялся спящим»; *тон ӧд иземъяськы* «ты не делал вида, что спал (спишь); не притворялся спящим».

В прошедшем времени II (прошедшем неочевидном), как известно, отрицание может быть выражено аналитически и синтетически. При аналитическом способе частица *ӧвӧл* «нет, не», которая может выступать как в препозитивном, так и в постпозитивном положении, присоединяется к спрягаемой форме прошедшего неочевидного времени глагола на *-мъяськ-*.

Препозитивное положение частицы *ӧвӧл*	Постпозитивное положение частицы *ӧвӧл*
Мынам ӧвӧл утчамъяськеме «Я не делал вида, что искал»	*Мынам утчамъяськеме ӧвӧл* «Я вида не делал, что искал»

Синтетический способ выражения отрицания (в прошедшем неочевидном) осуществляется посредством суффикса *-тэ-*, который вклинивается внутрь сложного суффикса *-мъяськ-*. Например: *тодэмъяськыны* «притворяться знающим; делать вид, что знаешь» — *тодымтэяськыны* «притворяться незнающим; делать вид, что не знаешь». Таким образом, здесь имеем сложный суффикс *-мтэяськ-*, который служит для выражения притворства в несовершении действия. Глаголы с указанным суффиксом ведут себя как самостоятельные глаголы и также изменяются по всем наклонениям, временам, числам и лицам; характерно, что этот тип глаголов может в свою очередь присоединять отрицательные частицы, например: *мон ӧй валамтэяськы* «я не делал вида, что не понял»; *тон ӧд валамтэяськы* «ты не делал вида, что не понял». Таким образом, получается двойное отрицание: первое отрицание относится к значению притворности, второе — к лексическому значению соответствующего глагола[1].

[1] Не следует указанные глаголы на *-мтэяськ-*, выражающие притворство в несовершении действия, смешивать с глаголами, производными от именных основ и отличающимися расположением суффиксов: *-тэ* здесь не вклинивается в суффикс *-мъяськ-*, а предшествует ему; фактически тут следовало бы говорить об именном аффиксе *-тэм* и глаголообразующем *-йаськ-*. Ср. *азь* «перед», *азьтэм* буквально: «без переда» > «ленивый», *азьтэмъяськыны* «лениться»; *йыр* «голова», *йыртэм* буквально: «безголовый» > «озорной, шаловливый», *йыртэмяськыны* «заниматься озорством, шалить».

От глаголов на *-мъяськ-* могут образовываться залоговые формы, например форма понудительного залога, который выражается посредством суффикса *-ыт-* (*-т-*). Интересно отметить, что показатель залога *-ыт-* обычно стоит после суффикса *-мъяськ-*. Например: *мон сое изeмъяськытӥсько* «я его заставляю притворяться спящим».

Глаголы на *-мъяськ-* в форме модальности на *-ем* могут сочетаться с оборотом *кадь кариськыны* (*кадь* «как будто, подобно»; *кариськыны* «сделаться, превратиться, стать каким-либо, становиться»), например: *мон изeмъяськем кадь кариськи* буквально: «я притворившись спящим как будто сам сделался», т. е. «я как бы сам сделался притворяющимся спящим». При этом *кариськыны* служит вспомогательным глаголом и изменяется по числам, лицам и временам, может принимать различные видовые и залоговые показатели. Слово *кадь*, являясь связующим звеном между *изeмъяськем* и *кариськыны*, усиливает значение «делать вид», «притворяться». Основная же семантическая нагрузка в рассматриваемой конструкции падает на глагол *изeмъяськем*. В подобных конструкциях в роли вспомогательных могут выступать и другие глаголы, например *луыны* «быть, стать, становиться, мочь»— *мон изeмъяськем кадь луи* «я как бы стал притворяющимся спящим».

В большинстве финно-угорских языков специальной глагольной формы, выражающей значения мнимости, притворности, не имеется. Но в отдельных финно-угорских языках такие формы встречаются. Например, в финском языке имеется синтетическая (т. е. структурно близкая к удмуртской; употребляется она гораздо реже последней) форма типа *oli nukkuvinaan* «он делал вид, что спит; он притворялся спящим». В марийском языке для выражения значений мнимости, притворности используется аналитическая конструкция: спрягаемый вспомогательный глагол *койам* «показываюсь» или *лиям* «бываю, буду, делаюсь» плюс причастная или деепричастная форма смыслового глагола, например: *лудшын коям* «показываю вид, что читаю»; *лудшын коят* «показываешь вид, что читаешь»; *лудшын кояш* «показывает вид, что читает»[1].

Данные, приведенные нами относительно глаголов на *-мъяськ-*, позволяют поставить вопрос о их месте в грамматической системе удмуртского языка. Следует ли считать их глаголами, имеющими модально-видовые признаки, или глаголами, выражающими значение наклонения? Не представляют ли собой эти глаголы особой грамматической формы, еще не выявленной в грамматике удмуртского языка?

Глаголы на *-мъяськ-* нельзя назвать модально-видовыми, прежде всего учитывая их значения. Кроме того, для выражения видовых отношений в удмуртском языке имеются иные способы. В глаголах на *-мъяськ-* основным является указание на отношение действия субъекта к действительности — они означают притворное действие субъекта. В этом смысле глаголы на *-мъяськ-* можно было бы назвать глаголами притворного наклонения. Но эти глаголы имеют такие специфические черты, которые выходят за рамки обычных представлений о наклонении. Значение модальности, выражаемое ими, весьма широко и своеобразно. Глаголы на *-мъяськ-* выражают не только значение притворности, но и значение уменьшительности, скромности в передаче действия, действие не в силу своих возможностей; определяющим моментом в выборе того или иного значения этих глаголов является ситуация речи. Как известно, эти значения не свойственны глаголам изъявительного, повелительного и сослагательного наклонений (если исключить переносное, экспрессивное употребление их). Существует ряд глаголов, которые вообще не употребля-

[1] Примеры взяты нами из рукописи еще не опубликованного труда В. М. Васильева «Курс научной грамматики марийского языка».

ются с аффиксом *-мъяськ-* и не могут, следовательно, выражать значений притворности, уменьшительности и т. д. Формы сослагательного или повелительного наклонений образуются абсолютно от всех глаголов, в том числе и от глаголов на *-мъяськ-*. Если признать глаголы на *-мъяськ-* особым наклонением, то получается нагромождение одного наклонения на другое. Эта особенность не присуща ни сослагательному, ни повелительному наклонениям. Далее, от глаголов на *-мъяськ-* могут быть образованы существительные, причастия и большинство деепричастий (*ужамъяськон* «притворная работа», *ужамъяськись* «притворно работающий», *ужамъяськем мурт* «притворно работавший человек» или «человек, притворно работавший», *ужамъяськыса* «притворно работая», *ужамъяськытэк* «не работая притворно» и т. д.). Как известно, от глаголов повелительного и сослагательного наклонений существительные, причастия и деепричастия не образуются. Глаголы на *-мъяськ-* могут иметь двойные отрицания, из которых первое (*öд*) относится к значению притворности, второе (*-тэ-*) — к лексическому значению глагола. Этой особенностью также не обладают глаголы повелительного и сослагательного наклонений.

Глаголы притворного действия в системе формообразования и словообразования ведут себя точно так же, как глаголы изъявительного наклонения. Все то, что свойственно в структурном отношении глаголам, имеющим видовые и залоговые формы, характерно и для глаголов притворного действия. Исходной формой изменения глаголов притворного действия является основа инфинитива. В структуре слова суффикс *-мъяськ-* (*-мйаськ-*) занимает такое же место, что и залоговые и видовые аффиксы. Как от глаголов, имеющих залоговые и видовые формы, можно образовать существительные, причастия и деепричастия, точно так же от глаголов притворного действия образуются существительные, причастия и деепричастия. Как от глагольных основ образуются видовые и залоговые формы, точно так же от этих основ образуются глаголы притворного действия.

По всем этим причинам глаголы на *-мъяськ-*, по нашему мнению, нельзя считать формой особого наклонения. Выражая весьма своеобразную модальность, глаголы на *-мъяськ-* не укладываются полностью ни в одну из известных грамматических категорий удмуртского языка. Поскольку большинство глаголов на *-мъяськ-* выражает именно значение притворного действия, будет точнее их и назвать глаголами притворного действия.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

В. И. АБАЕВ

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

ДРЕВНЕРУССКОЕ *КЪРЧИЙ* «КУЗНЕЦ» И ТОПОНИМ *КЕРЧЬ*

В большинстве славянских языков наименование кузнеца представляет простое образование от глагола *ковать*: ст.-слав. *коваль*, *ковачь*, др.-русск. *коваль*, *ковачь*, укр. *коваль*, белорусск. *коваль*, польск. *kowal*, чеш. *kovář*, *kováč*, серб. *kòvār*, *kòvāč*, болг. *ковач*. Формы *коваль*, *ковач* употребительны и в русском языке, в диалектах и говорах. Даль отмечает *коваль* для южных говоров, а *ковач* — для восточных. У него же дана форма *ковец* для псковского. В русском литературном языке закрепилось другое слово — *кузнец*. Оно образовано от того же глагола *ku-*, *kov-*, но не непосредственно, а через производное **ku-sni-* «кузня» [1]. Наконец, в древнерусском известно еще одно название для кузнеца, которое не может быть поставлено ни в какую связь с *ковать* и имеет какое-то иное происхождение: *кърчии*, *корчии*. В древнерусском оно было довольно обычным, употребляясь наряду с *кȣ́знець* (*кȣ́зньць*, *кȣ́узньць*) и *ковачь*.

Заимствуем из «Материалов» И. И. Срезневского несколько случаев употребления слова *кърчии*: «Бѣ же нѣкто моужь в веси тои искоусенъ корчи» (Жит. Фед. Сик. 27. Мин. Чет. апр. 396); «Яко же желѣзо кръчии...» (Ио. Леств. XII в.); «Кол'ма биваема есть наковална млатом ѿ корчїа» (Жит. св. XVI в.); «... кръчиѥ, иже дѣлают' коуюжде вещь» (Ио. экз. Шест. 1263) [2]. Производным от *кърчии* является др.-русск. *кърчииница* «кузница» [3].

Этимологию слова *кърчии* нельзя считать прочно установленной. Большинство авторов (Фик, Остгоф, Бернекер, Эндзелин, Траутман, Педерсен) усматривают в этом слове и.-е. корень **kʷer-* «делать» и приводят др.-инд. *kr̥n̥ōti*, *karōti* «делает», литов. *kuriù*, *kùrti* «строить», кимр. *peri* «делать», *prydydd* «поэт», ирл. *creth* «поэзия» [4]. Эту этимологию не принимают Брюкнер и Сольмсен, на которого ссылается Брюкнер [5]. Разумеется, от глагола с абстрактнейшим значением «делать» можно вывести все, что угодно, в том числе «кузнеца» и «поэта», поскольку и кузнец, и поэт что-то делают. Однако в ближайше родственных балтийских языках можно было бы ожидать большей семантической близости. От литов. *kùrti* «строить» до «кузнеца» смысловая дистанция слишком велика.

Известное неудовлетворение, которое оставляет данная этимология, побудило Кнутссона предложить другое разъяснение. Он видит в *кърчии* заимствование из тюркского, имея в виду тюрк. *qu(r)č* «острый», «сталь»

---

[1] Ср. E. Zupitza, Miscellen, KZ, Bd. XXXVII, Neue folge, Bd. XVII, Hf. 3, Gütersloh, 1901, стр. 397.

[2] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. I, М., 1893, ст. 1412.

[3] Там же.

[4] К этой точке зрения присоединяется и М. Г. Долобко, не приводя, однако, никаких новых доводов в ее пользу (см. его статью «Славянский суффикс *-i-m*», «Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского», сб. ОРЯС, т. CI, № 3, 1928, стр. 229).

[5] A. Brückner, Über Etymologien und Etymologisieren. II, KZ, Bd. 48, Hf. 3—4, Göttingen, 1918, стр. 191 и сл.

и суффикс действующего лица *-či*. Исходное значение было бы в этом случае «кузнец по стали»[1]. Этимология была бы убедительной, если бы или на тюркской почве встречалось слово *kurčči* «кузнец по стали» или в славянском — заимствованное тюркское *kurč* (*кърч-*) в значении «сталь». Ни того, ни другого нет в действительности, т. е. не хватает необходимого посредствующего звена. К тому же для русского заимствование тюркского *kurč* «сталь» было бы мало оправданным излишеством, так как в нем имелось для «стали» оригинальное *уклад* и заимствованное из тюркского *булат*. Нет также никаких указаний, что в древнерусском *кърчии* обозначало кузнеца именно по стали.

В целом вопрос о происхождении слова *кърчии* нельзя считать решенным, и новые попытки его разъяснения с привлечением новых материалов представляются поэтому нелишними. Нам кажется, что лучшие перспективы для этого открывает привлечение осетинского *kurd* «кузнец». При учете древней скифо-славянской близости полное совпадение значения и чрезвычайная близость формы (*кърчии* можно возводить к **kur-tjo-*, а осет. *kurd* к **kur-to-*) вряд ли могут быть случайными. Скорее всего, перед нами одна из скифо-славянских изоглосс.

Осет. *kurd* нельзя фонетически связать с и.-е. **kʷer-* «делать». Здесь следует исходить из корня **kur*. Такой корень действительно имеется на иранской почве со значением «огонь», «кузнечный горн» и пр. Мы имеем в виду прежде всего перс. *kūra* «кузнечный горн», «кузница», «очаг». Среднеперсидская форма восстанавливается в виде **kūrak*. Армянское *krak* (из *kurak*) «огонь», которое Гюбшман считает оригинальным армянским словом[2], могло быть заимствованием из среднеиранского. Далее сюда относятся др.-инд. *kūḍayati* «жжет», «палит» (из **kūr-d-*), ст.-слав. *kuriti* «дымить», *kurenьje* «горящие угольья», русск. *курить* «жечь что-либо, производя дым», *курить вино* «гнать водку», укр. *печкур* «истопник», *курачити* «выжигать уголь», словен. *kuriti* «топить», словац. *kurit'* «топить», литов. *kùrti* «топить», латыш. *kurt* «топить», гот. *hauri* «уголь» (мн. число *haurja* «горящие угольья»), др.-сев. *hyrr* «огонь».

Осет. *kurd* можно возводить к **kurta-*, т. е. рассматривать как отглагольное имя от несохранившегося др.-иран. **kur-* «разжигать огонь» и пр. Хотя причастия на *-ta* имеют обычно пассивное значение, но есть вполне надежные случаи активного значения; например, *sinon-xast* «виночерпий», буквально «носящий (*xast*) кубок (*sinon*)[3]. Можно было бы исходить также из имени действующего лица **kurtar-*, но в этом случае во множественном числе мы ожидали бы *kurdæltæ* (как от *mad* «мать» — *madæltæ*), в действительности же имеем *kurdtæ*. Во всяком случае отглагольное происхождение формы *kurd* вряд ли может вызвать сомнение, а таким глаголом мог быть только глагол **kur-* «разжигать огонь», выступающий в приведенной выше группе слов. Но если так, то поиски этимологии славянского *кърчии* привели нас, через осетинский и иранский материал, снова на славянскую почву, к глаголу *kuriti* «разжигать огонь». Конечно, нет необходимости возводить слово *кърчии* обязательно к индоевропейской словообразовательной модели (тип **kur-tjo-*[4]). Если считать вместе с Бернекером, что *kuriti* вторичное образование от *kъrti*[5], то *кърчии* оказывается в ряду таких отглагольных имен, как *зодчий* (<**zьdъčii*) от *здать*, *гончий* от *гнать*, *ловчий* от *ловить*, *стряпчий* от *стряпать* и т. п. Относительно этих образований нет единодушия.

[1] K. Knutsson, Zur slavischen Lehnwörterkunde, ZfslPh, Bd. 4, Hf. 3—4, 1927, стр. 387—388.

[2] H. Hübschmann, Armenische Grammatik, T. I, Leipzig, 1897, стр. 462.

[3] См. статью «О залоговой недифференцированности причастий» в сб.: В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949, стр. 570—571.

[4] О форманте *-tjo* см., например, W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, Bd. I, Göttingen, 1906, стр. 444.

[5] E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1924, стр. 652.

А. И. Соболевский усматривал в них заимствованный тюркский суффикс деятеля *-čі*[1]. Другие считают возможным видеть здесь вторичные образования от имен деятеля на *-ьць-* (*ловьчий* от *ловьць* и т. п.)[2]; ср. такие русские пары, как *ловец — ловчий*, *кравец — кравчий*, *гонец — гончий*, *певец — певчий* и др. Бернекер считает *кърчии* производным от **кърьць*[3], но никаких следов слова **кърьць* пока в памятниках не обнаружено.

Таким образом, словообразовательная сторона нашей этимологии допускает несколько вариантов. Одной из возможностей является возведение к **kurtjo-* с последующим ассимилирующим влиянием имен деятеля на *-чии*. Однако детали словообразования не имеют для нас здесь особого значения. Существенны два положения: 1) др.-русск. *кърчии* нельзя отделять от скиф. **kurt-* (осет. *kurd*); 2) в основе этих слов следует видеть не *kr̥-* «делать», а *kur-* «разжигать огонь».

Семантическая сторона предложенного разъяснения не может, как нам кажется, вызвать возражения. В работе кузнеца налицо два важнейших действия: разжигание огня в горне и ковка металла. Славянские *ковач*, *кузнец* и пр. определяют кузнеца по последнему действию, *кърчии* — по первому. И в других языках при наречении профессии кузнеца выступает на первый план либо то, что он имеет дело с металлом, либо то, что он имеет дело с огнем. Так, в персидском обычным словом для кузнеца является *āhangar* от *āhan* «железо». Но наряду с этим есть *ātašgar*, *ātaškar* «кочегар», «кузнец» от *ātaš* «огонь».

Но если в славянском с давних пор кузнец назывался терминами, производными от *ковать* (*ковач*, *коваль*, *кузнец*), зачем понадобилось еще слово *кърчии*? Ведь известно, что язык не любит излишеств, он, как правило, не терпит двух слов с совершенно идентичным значением, в особенности в области материальной культуры. Возможно, между *кърчии* и *ковач* и пр. было какое-то различие значения. Оно, несомненно, было связано с какими-то реальными различиями в ремесле кузнеца.

Археологические данные позволяют думать, что в эпоху меди обработка металла состояла не в ковке, а в плавке и литье. Лишь с появлением железа ковка стала основным элементом работы кузнеца[4]. Естественно, что для наименования кузнеца, занимающегося преимущественно плавкой и отливкой металла, совершенно не подходили производные от глагола *ковать*. Зато огонь был и в этом случае необходимым и неотъемлемым элементом кузнечного дела.

Можно высказать догадку, что *кърчии*, производное от **kur-* «огонь», и было первоначально обозначением кузнеца, занимавшегося не ковкой, а плавкой и литьем металла. В этом случае этот термин мог быть очень древним и общеславянским, лишь со временем вытесненным образованиями от *ковать*. Иначе говоря, *кърчии* — это кузнец эпохи меди и бронзы, тогда как *коваль*, *ковач*, *кузнец* отражают новый этап кузнечного ремесла, связанный уже с эпохой железа.

*

Город *Керчь* в Крыму назывался в древнерусском *Кърчевъ*, *Корчевъ*. В известной надписи на Тмутороканском камне читаем: «В лѣто 6576 (=1068) индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмуторокани до Кърче-

---

[1] А. Соболевский, [рец. на кн.:] С. Булич, Церковно-славянские элементы в современном литературном и народном языке, ЖМНП, 1894, май, стр. 218 первой пагин.

[2] A. Meillet, Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, pt. 2, Paris, 1905, стр. 352.

[3] E. Berneker, указ. соч., стр. 671.

[4] M. Much, Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Kultur der Indogermanen, 2. Aufl., Jena, 1893, стр. 353 (приводим по книге: O. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Bd. II, Berlin und Leipzig, 1923, стр. 329—330).

ва — 8054 сажен»[1]. Это название возводят к русск. *корчевá* «место, расчищенное от пней и кустарника», ср. *корчевать*[2], сопоставляя с названием городка *Корчева* в Калининской области (ныне на дне Московского моря)[3].

Перед нами неплохой пример того, к каким курьезам приводит игнорирование реалий в этимологических разъяснениях. Можно подумать, что русские, появившись впервые в районе Керчи, нашли здесь дремучий лес, и первой их заботой было корчевание пней для расчистки земли под поселение. Исторические и археологические данные рисуют совсем другую картину. Район Керчи был одной из древнейших культурных областей, какие известны на территории Советского Союза. Еще в VI в. до н. э. греческие колонисты, выходцы из Милета, заложили на месте нынешней Керчи город Пантикапей (Παντικάπαιον). С первых веков нашей эры этот город под названием Боспора был столицей Боспорского царства. К первому веку н. э. относится описание Страбона VII 4: «Пантикапей представляет собою холм, со всех сторон заселенный (περιοικούμενος)». Область Пантикапея Страбон рисует не как богатую лесом, а как богатую хлебом (σιτοφόρος)[4]. О каких-либо лесных зарослях в районе города ничего не известно. Зато известно, что керченская земля была богата железной рудой, а город славился ремеслами. Русским в древнем Пантикапее должно было броситься в глаза не обилие пней, а обилие железа и кузнецов. Совершенно очевидно, что *Кърчев* — производное от *кърчии* «кузнец» и на современном языке означает «Кузнецк».

Нынешнюю форму *Керчь* нельзя рассматривать как органическое развитие на русской почве древнерусской формы *Кърчев*[5]. Когда, с концом Тмутороканской Руси, связи русского населения с восточным Крымом временно были прерваны, русское название *Кърчев* в устах нерусского населения было искажено и в виде *Керчь* снова вошло в русский язык, но уже без осознания его русской этимологии, чему способствовало, конечно, то, что слово *кърчии* «кузнец» вышло из употребления.

---

[1] Цитируем по книге: «Повесть временных лет», ч. 2, М.— Л., 1950, стр. 394.

[2] Ср.: B. Unbegaun, Les noms des villes russes: la mode grecque, RESl, 1936, t. 16, fasc. 3—4, стр. 226; M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953, стр. 552, 636.

[3] M. Vasmer, указ. соч., стр. 637.

[4] См. В. В. Латышев, Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, т. I, СПб., 1890, стр. 124.

[5] Вопреки М. Фасмеру (указ. соч., стр. 552).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

КОНСУЛЬТАЦИИ

В. И. ГРИГОРЬЕВ

ЧТО ТАКОЕ ДИСТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ?

Понятие дистрибутивного анализа введено в языкознание структуралистами. Под дистрибутивным анализом понимается прежде всего метод классификации языковых форм на основе общностей и различий в характере их распределения относительно друг друга в потоке речи. Именно отношением к классификации языковых фактов определяется большое значение дистрибутивного анализа в системе структуральных методов исследования языка. В традиционной грамматике языковые факты классифицировались на основе ряда критериев, важнейшим из которых является семантический критерий, иначе говоря критерий общности значения. При семантическом подходе к грамматике обозначаемые языковыми формами явления действительности подводятся под логические категории субстанции, признака, действия, состояния и т. п., которые и признаются общими значениями этих форм. Семантический критерий оставляет структуру языка за пределами анализа и является постоянным источником субъективизма в языкознании. В фонетике основным критерием классификации являлся критерий фонетического сходства, при котором также не учитывается структура языка и допускается возможность чисто субъективных оценок. В своем стремлении избавиться от элементов субъективизма в исследовании языка структуралисты обратили внимание на объективно существующие различия в характере сочетаемости языковых форм, которые и были положены в основу дистрибутивной классификации.

Принципы, на которых строится дистрибутивный анализ, действительны не только для языкознания; они применимы и в других науках. Классическим примером применения принципов дистрибутивного анализа в естественных науках может служить пример классификации людей по группам крови.

Как известно, при переливаниях крови допустимы лишь строго определенные сочетания групп крови дающего кровь (донора) и принимающего кровь (реципиента), которые на следующей таблице отмечены плюсами:

		реципиент			
		I	II	III	IV
до-нор	I	+	+	+	+
	II		+		+
	III			+	+
	IV				+

Каждая из четырех групп крови характеризуется специфичной для нее диаграммой сочетаемости, т. е. специфичным распределением плюсов на таблице. Этот признак и лежит в основе классификации, которая строится на анализе характера сочетаемости крови для большого числа доноров и реципиентов. Существо этого анализа сейчас может быть понято как обобщение сходных диаграмм сочетаемости (сходных распределений плюсов) для большого числа опытов. Так, если исходить только из десяти доноров и десяти реципиентов, то можно было бы получить, например, следующую таблицу распределения, имеющую, конечно, чисто иллюстративное значение:

		реципиент									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
донор	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	3			+		+		+		+	
	4				+	+			+	+	+
	5					+				+	
	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	7			+		+		+		+	
	8				+	+			+	+	+
	9					+				+	
	10				+	+			+	+	+

В результате обобщения сходных по распределению рядов и колонок данная таблица приводится к виду таблицы I, и классификацию для этого случая можно считать законченной.

Аналогичным образом производится дистрибутивная классификация языковых форм в рамках структуральной лингвистики. Выявляются возможные и невозможные сочетания исследуемых форм в потоке речи, производится анализ общностей и различий в диаграммах распределенности форм относительно друг друга, на основании которого выделяются классы форм с общим характером распределения. Так, анализируя возможности чередования фонем в пределах фонетического слова для русского языка, можно составить следующую таблицу распределения русских согласных [b], [d], [g], [p], [t], [k] относительно друг друга.

		Последующий согласный					
		b	d	g	p	t	k
Предшествующий согласный	b	+	+	+			
	d	+	+	+			
	g	+	+	+			
	p				+	+	+
	t				+	+	+
	k				+	+	+

На этой таблице вертикальный ряд занимают предшествующие согласные, горизонтальный ряд — последующие согласные. Плюсами отмечены допустимые для русского языка сочетания согласных в пределах фонетического слова. Распределение плюсов на таблице позволяет разбить эти согласные на две группы: I (*b*, *d*, *g*) и II (*p*, *t*, *k*), в результате чего таблица распределения для отдельных согласных сведется к таблице распределения для групп согласных типа:

	I	II
I	+	
II		+

В данном случае выделенные группы соответствуют традиционному делению на глухие и звонкие согласные. Однако дистрибутивные критерии требуют, например, выделения из класса звонких согласных фонемы [v], на которую не распространяются общие ограничения сочетаемости с глухими согласными (ср. *свет*, *твой*, *квадрат*).

Конечно, в дистрибутивной классификации элементы, размещенные по вертикали таблицы распределения, необязательно должны противостоять тем же элементам в горизонтальном ряду. Напротив, чаще всего элементы языка классифицируются по их распределению относительно элементов другого типа или даже другого порядка. Так, согласные фонемы могут классифицироваться по их распределению относительно гласных фонем, основы слов классифицируются по их распределению относительно окончаний, морфемы и слова классифицируются по их распределению относительно сложных контекстов (окружений) в виде целых словосочетаний и фраз. Само составление таблиц распределения, хотя и служит полезным средством дистрибутивного анализа, не является обязательным. Более того, составление таблиц становится делом затруднительным, когда число классифицируемых элементов слишком велико.

Поэтому, например, при морфемном анализе в целях дистрибутивной классификации просто выявляются характерные контексты (окружения), после чего классифицируемые морфемы испытываются на возможность подстановки в эти контексты. При таком подходе распределение элемента определяется как сумма всех контекстов (окружений), в которых этот элемент появляется, а дистрибутивные классы выявляются как подстановочные классы элементов, способных появляться в аналогичных контекстах (окружениях). Существо дистрибутивной классификации при этом не меняется.

Выявленные в процессе дистрибутивного анализа классы элементов в дальнейшем используются для обобщенного описания конструкций, в которые эти элементы входят, для составления формул слога, производных слов, предложений и так далее. В структуралистских работах понятие дистрибутивного анализа иногда распространяется и на это обобщенное представление конструкций языка в виде формул, в которые в качестве единиц входят обозначения классов элементов; оно распространяется даже на самый процесс идентификации элементов языка. В этом смысле вся методика структурального анализа языка понимается как методика, дистрибутивная по своей природе. Нужно сказать, что для такого широкого понимания дистрибутивного анализа имеются определенные основания. Например, формула слога выражает ограничения, накладываемые структурой языка на сочетаемость фонем в пределах слога, следовательно, является обобщенным выражением распределения фонем. С другой стороны, при идентификации элементов используется критерий дополнительного распределения, который тесно связан с дистрибутивной классификацией. Однако, допуская возможность более широкого толкования понятия дистрибутивного анализа, нужно всегда иметь в виду, что дистрибутивная классификация составляет стержень этого анализа, отражает его сущность.

Иногда дистрибутивную классификацию отождествляют с классификацией по отношению вообще. Такое отождествление недопустимо. Классификация по отношению вообще является довольно распространенным типом классификации. Например, животные делятся на диких и домашних, хищных и нехищных на основании определенных отношений действительности. Однако отношения при этом могут быть совершенно разнородными, и при классификации учитывается как раз качество этих отношений. Специфика дистрибутивной классификации состоит в том, что она строится на однородных отношениях (совместимость групп крови, сочетаемость форм), а критерием классификации служит характер распределения этих однородных отношений по классифицируемым объектам. Конечно, эта специфика дистрибутивной классификации ни в какой мере не может служить основанием для объявления языковых форм чистыми элементами соотношений. Наука пользуется разнообразными методами описания и объяснения действительности, и тот факт, что методы дистрибутивного анализа оказались столь плодотворными в применении к языку, отнюдь не ставит язык в особое положение по отношению к объектам других отраслей науки.

ЛИТЕРАТУРА

P. Diderichsen, The importance of distribution versus other criteria in linguistic analysis, «Reports for the Eight International congress of linguists», vol. I, Oslo, 1957.
H. Spang-Hanssen, Typological and statistical aspects of distribution as a criterion in linguistic analysis (там же).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ ХИНДИ

Индийская лексикографическая традиция уходит в глубокую древность. Три тысячелетия назад одновременно с грамматикой стали зарождаться индийская лексикология и лексикография. В процессе грамматического анализирования (vyakaraṇa) у древних грамматистов вырабатывались представления о фонетических законах, о словах древнеиндийского языка с их корнями и аффиксами. Приблизительно в начале I тысячелетия до н. э. были составлены списки слов, которые можно считать первыми индийскими словарями: глоссарии к Ведам — Нигханту. В этих списках с помощью синонимов толковались имена, глаголы и неизменяемые части речи раннего ведического языка. Кроме толкования слов, Нигханту содержали образцы их правильного произношения. К ранней индийской лексикографии можно отнести и разделы санскритской грамматики, содержащие списки групп слов, обладающих различными морфологическими особенностями (gaṇapāṭha), систематические списки корней (dhātupāṭha), списки имен, классифицированных по родам (liṅgānuśāsana), и др. В дальнейшем, с развитием санскритской поэзии стали составляться собственно словари (kośa): синонимические (ekārthakośa) и омонимические (nānārtha-kośa), входившие по традиции в поэтическую литературу. В отличие от своих предшественников — первых индийских глоссариев, они не содержали глаголов и были написаны стихами — шлоками. Древнейшим и наиболее важным из дошедших до нас санскритских словарей считается «Амаракоша», составленный Амарасинхой в VI в. н. э. Этим словарем пользовались позднейшие индийские лексикографы; в XII в. Моггаллана перевел значительную часть его для своего словаря пали «Абхидханапрадипика»; в XVIII в. поэт хинди Бхикхари Дас использовал его для своего словаря «Амара-пракаша». Словарь «Амаракоша» сослужил большую службу санскритской лексикографии в Европе, в частности, он был использован для составления так называемого большого петербургского словаря О. Бётлингка и Р. Рота[1]. До сего дня «Амаракоша» остается авторитетным источником, к которому обращаются и составители толковых словарей современных литературных языков Индии.

Кроме общих словарей, санскритская средневековая лексикография создала ряд словарей специальных: медицинско-ботанических, астролого-астрономических, буддологических и др. Памятниками живой научной мысли, интереса к своему языку и литературе и неутомимого трудолюбия являются и пракритские словари, созданные в X—XII вв. н. э. и представляющие большую ценность для индийского языкознания. Старейший из дошедших до нас пракритских словарей «Пайялаччхи Намамала» («Pāiyalacchī Nāmamāla») составлен Дханапалой в 972 г. Позже, в XII в., этот словарь был использован знаменитым ученым, джайнским монахом Хэмачандрой при составлении словаря пракритских слов «Дешинамамала». Эти словари являются по большей части единственными источниками пракритской лексики (а иногда и глагольных форм), поскольку сочинения, на материале которых построены словари, не сохранились или не обнаружены.

Переводные словари в Индии появляются позже. Первым переводным двуязычным словарем, вероятно, был словарь персидских терминов («Параси бхашанушасана»), составленный в середине XVI в. (до 1544 г.). Этот словарь издан в 1945 г. в Лагоре. При Акбаре был составлен словарь «Параси-пракаша» Кришна Даса. Немного позже, примерно в 1676 г., по инициативе Шиваджи, пандит Рагхунатха составил словарь несанскритских терминов — «Раджавьявахара-коша». Этот словарь был издан в Пуне в 1880 г. Следует отметить, что в XVI—XVII вв. в Индии были составлены важные тюркские (чагатайские) толковые словари[2].

Колониальное положение Индии затормозило развитие индийской филологии в самой стране. За редким исключением, университеты и колледжи Индии предназначались для изучения западных литератур и наук. Только к концу XIX в. в связи с растущим национальным самосо-

[1] O. Böhtlingk und R. Roth, Sanskrit-Wörterbuch, Tl. 1—7, St.-Petersburg, 1855—1875.

[2] Сведения об этом были любезно сообщены чл.-корр. АН СССР А. К. Боровковым.

знанием начинается оживление в области научного изучения индийских языков и лексикографии. Средневековая словарная традиция к этому времени исчезает, для индийских лексикографов образцами становятся лучшие словари, составленные европейцами, такие, как словарь санскрита О. Бётлингка и Р. Рота, как словари хинди С. Фаллона и Дж. Платса.

Прекрасным образцом санскритского толкового словаря нового типа может служить «Ньяя-коша» («Nyāya-kośa or the dictionary of the technical terms of the Nyāya philosophy»), составленный Бхимачарья Джхалакикаром. (Первое издание словаря было в 1874 г., второе в 1893 году в Бомбее.) Это словарь философских терминов. В отличие от средневековых санскритских словарей, слова в нем расположены по алфавиту, словарная статья содержит разные, помечаемые цифрами значения, которые подкреплены выдержками из текста.

С начала XIX в. или даже с конца XVIII в. начинают создаваться европейцами (преимущественно англичанами) и самими индийцами переводные словари с современных индийских языков на европейские (в основном, английский). Эта лексикографическая деятельность получила оценку в высказывании Дж. Бимза: «Характерно, хотя это и не делает нам чести как нации, что после столетнего управления Индией мы создали там мало хороших словарей для этой группы языков» (индо-арийских.— *В. Б.*)[1]. Да и через 75 лет после этого, в 1946 г., Дж. Фёрт (Firth) — крупный фонетист из Оксфордского университета — в предисловии к учебнику разговорного хиндустани[2] выражал сожаление по поводу того, что в Индии англичане до сих пор смотрят на индийские языки как на народные диалекты.

В последние десятилетия XIX в. и особенно в первые десятилетия XX в. лексикографическая работа в Индии стимулируется нарастающим подъемом национального движения, развитием национальных языков и литератур. В этот период создаются филологические и литературные общества, выходят крупные исследования индийских лингвистов и литературоведов. Для этого периода характерна работа над толковыми словарями, над собиранием богатств своего языка, противопоставляемого языку колонизаторов — английскому.

Борьба за развитие национального языка и современной литературы в порабощенной стране была составной частью национально-освободительного движения. Новая патриотическая интеллигенция в развитии национального языка видела одно из главных средств достижения независимости. Яркий выразитель передовых стремлений во второй половине XIX в., основоположник современной литературы хинди, поэт и драматург, глашатай свадеши, Бхаратенду Хариш Чандра (1850—1885) в одной из своих речей призывал соотечественников: «Довольно полагаться на иностранные товары и иностранный язык. Идите к процветанию своей страны, пользуясь своим собственным языком»[3]. По сей день часто цитируются его известные стихи, ставшие лозунгом:

«Только успех родного языка — основа всех успехов,

Без знания родного языка не избавиться от страданий»[4].

В борьбе с засильем английского языка, символизировавшим империалистическое закабаление, придается исключительное значение хинди как распространеннейшему языку Индии. В связи с развивающейся художественной, публицистической и научно-просветительской литературой на хинди создаются небольшие одноязычные словари хинди. Первый национальный толковый словарь хинди «Вивек-кош», составленный Байджу Дасом, вышел в Банкипуре в 1892 г. За ним в конце XIX в. и в начале XX в. последовал ряд небольших словарей («Gaurī nāgarī-koš», «Maṅgal-koš», Лакнау, 1890, «Śrīdhar-koš», «Hindī vaijñānik-koš», Бенарес, 1906, и др.). Возникшее в 1893 г. Бенаресское научное общество Нагари прачарини сабха — старейшее учреждение, пропагандирующее язык и литературу хинди,— в 1908 г. приступило к составлению многотомного толкового словаря «Хинди шабда-сагар», издание которого закончилось в 1928 г. «Хинди шабда-сагар» был первым толковым словарем индийского языка большого объема, построенным на современной научной основе. Он содержит около 100 тысяч слов и терминов из современного литературного и разговорного языка и из средневековых поэтических диалектов (брадж, авадхи). Статьи словаря включают этимологические пометы; различные значения слова разделены цифрами и подтверждаются фразеологическими примерами, оборотами, пословицами, поговорками и цитатами. Хотя принцип толкового словаря не был твердо выдержан составителями (статьи, содержащие мифологические имена, географические названия, названия праздников, названия металлов и др., часто превращались в статьи-справки энциклопедического типа), этот словарь положил начало научной лексикологии хинди. После огромной работы, проделанной по отбору слов для словаря и разработке значений, следующим лексикографам было уже легче идти по проложенной дороге. К сожалению, очень многие из них пошли по пути простого списывания. Даже значительное количество словарей, вышедших после образования республики, были списаны с «Хинди шабда-сагара» и почти не содержали нового[5]. Правда, во многом это объясняется отсутствием у составителей—

[1] J. Beames, A comparative grammar of the modern Aryan languages of India, vol. I, London, 1872, стр. 28.

[2] См. A. Harley, Colloquial Hindustany, Oxford, 1944.

[3] «Bhāratendugranthāvalī», т. III. Бенарес, 1953, стр. 903.

[4] Там же, т. II, стр. 731.

[5] См. об этом: H. Jošī, Šabda aur šabda-koš, «Ājkal», V, 1956, стр. 24.

частных лиц — средств на дорогостоящую роспись и собирание новых материалов. Таким образом, последовавшие за «Хинди шабда-сагар» одноязычные и переводные словари хинди в подавляющем большинстве могли свидетельствовать только о растущей потребности в словарях этого языка, а не о движении вперед лексикографии хинди. Эти словари были столь мало самостоятельны, что масса неологизмов и новых значений у старых слов оставалась не включенной в них.

Только в республиканской Индии, когда под влиянием провозглашения хинди государственным языком словарная работа получает новый стимул, усилия крупнейших лексикографов заметно восполняют этот пробел. Ветеран лексикографии хинди, единственный из оставшихся в живых составителей «Хинди шабда-сагар» Рам Чандра Варма к концу 40-х годов заканчивает многолетнюю работу над сокращенным изданием «Хинди шабда-сагар» («Saṅkṣipta hindī šabda-sāgar»). Кроме этимологических и грамматических уточнений и исправлений, работа Рама Чандры Вармы над этим словарем, уже выдержавшим несколько изданий, заключалась в удалении той части, материал которой почерпнут из средневековой поэтической литературы, и в существенном пополнении словаря лексикой из произведений авторов начала XX в., а также современными неологизмами. Действуя в этом же направлении, Рам Чандра Варма в 1950 г. опубликовал первое издание своего «Праманик хинди-кош» («Prāmāṇik hindī-koš»). В предисловии к нему он писал, что в течение 10—12 лет собрал 7—8 тысяч слов, употребляющихся в старой и новой поэзии, в современных газетах и пр. Важнейшие из них включены в этот словарь. Через несколько лет вышло второе дополненное издание.

Пятидесятые годы ознаменовались выходом в свет продукции лексикографов, на протяжении долгих лет ревниво следивших за расширением словарного состава. В том же 1950 г. был издан большой однотомный словарь Наланда («Nālandā viśāl šabda-sāgar», Дели), содержащий 150 тысяч слов. Его составитель Навалджи включил в него 18 тысяч новых слов и значений, выбранных им из современной научной литературы, газет, журналов и новых терминологических словарей. Третьим крупным событием новейшей лексикографии хинди был выход в 1952 г. в Бенаресе первым изданием (второе было в 1956 г.) «Брихат хинди-кош» («Bṛhat hindī-koš»), охватывающего 136 тысяч слов. Начало работе над этим словарем было положено помощником главного редактора бенаресской газеты «Адж» Каликапрасадом. В составлении его принимали участие Раджаваллабха Сахай, Мукундилал Шривастав и др. Вскоре, в 1954 г., Мукундилал Шривастав издал «Джнян шабда-кош» («Jñān šabda-koš»), сокращенный вариант «Брихат хинди-кош», содержащий 71 тысячу слов. Сокращение произведено за счет сравнительно редко встречающихся санскритских, персидских и арабских слов. На преодоление отставания лексикографии от быстро развивающейся политической и общественной жизни была направлена деятельность ученых и литераторов; была создана серия специальных словарей, таких, как словарь административных терминов («Prašāsan šabda-koš») проф. Рагху Виры, словарь правительственных терминов («Šāsan šabda-koš») махапандита Рахул Санкритьяяны, словарь газетного языка доктора Сатьяпракаша («Samācārpatra šabda-koš», Аллахабад, 1950), терминологический словарь Мукундилал Шривастава («Pāribhāṣik šabda-koš», Бенарес, 1953) и др. В этот же период выходят в свет словари языка средневековых поэтов-классиков и словари языков средневековой поэзии, что свидетельствует о развитии новоиндийской филологии. Словари этого рода издаются научными учреждениями, например, в 1950 г. университет Лакхнау издал «Браджбхаша Сур-кош» («Brajbhāṣā Sūr-koš») — словарь к произведениям Сур Даса и других поэтов, писавших на брадже; в 1954 г. аллахабадская Академия хиндустани издала «Тульси шабда-сагар» («Tulsī-šabda-sāgar»), составленный Х. Тивари под редакцией Бх. Тивари, — словарь к сочинениям Тульси Даса, содержащий 22 тысячи слов. В подготовке этого словаря принимали участие крупные лингвисты Дхирендра Варма, Балдеопрасад Мишра и Матапрасад Гупта. В 1955 г. Академия хиндустани издала «Авадхи-кош» («Avadhī-koš») — словарь языка авадхи, составленный на основе материалов народной литературы (составитель Рамаджня Двивэди Самир). Надо отметить, что в последние годы в Индии основательно изучаются грамматики и фольклор языков, не имеющих современной письменной литературы (бходжпури, раджастхани).

Упомянутые только что крупные словари, изданные за последнее десятилетие, являются достижениями индийской лексикографии. Для них характерен объективный подход к словарному составу и следование тем научным методам, примером применения которых является «Хинди шабда-сагар». В то же время имеются и другие тенденции: находятся лексикографы, которые стараются придать хинди «чисто индийский характер», пытаясь избавить его от арабских, персидских, английских и других заимствований. Искусственно ограничивая исторически сложившийся словарный состав, фразеологию и идиоматику, объективно эти лексикографы препятствуют свободному развитию национального языка.

Примером такого искусственного ограничения словарного состава языка может служить «Образцовый словарь хинди» Патхака («Ādarš hindī šabda-koš»), изданный в Бенаресе в 1950 г. (3-е издание). По-видимому, Патхак, чувствуя всю бессмысленность словаря, предназначаемого для учащихся и широкой читающей публики и не имеющего важных, употребительнейших слов, не решился обойтись совсем без исторических заимствований и дал их в виде приложения в конце, пояснив, что здесь находятся слова, которые «постепенно выходят из упо-

требления после того, как хинди стал государственным языком» (rāṣṭra-bhāṣā). Таким образом, обычные слова, вроде *mazdūr* «рабочий», *zamīn* «земля», *šaram* «стыд», *bīmār* «больной», *javāb* «ответ», *kursī* «стул», *kārxānā* «фабрика», *jahāz* «пароход», *prūf* «корректура», находятся, будучи приговоренными Патхаком к смерти, в отдельном списке, а не на своем алфавитном месте среди других слов хинди. Патхаку не удалось последовательно справиться с поставленной им задачей, так как многие заимствованные основы давно натурализовались в хинди. Например, *kabūl* «согласие» и глагол *kabūlnā* «соглашаться» он поместил в приложение, а каузативы *kabūlānā* и *kabulvāna* — в словарь; в словарь же помещен, например, ряд гибридных сложных слов с персидским *kamar* на первом месте: *kamar-ṭūṭā*, *kamar-peṭā*, но само *kamar* с фразеологией *kamar ṭūṭnā*, *kamar kasnā* и др. помещено в списке; отсутствующее в словаре *āsmān* «небо» дается в приложении с богатой фразеологией и пословицами. Кроме этого, персидские и арабские слова встречаются и в словаре в составе фразеологии. Единственную положительную сторону словаря Патхака можно видеть в том, что составитель материалом словаря убедительно показал ошибочность своих установок и бесплодность усилий отделаться от давно ассимилированных слов. К тому же установки Патхака противоречат наблюдаемой в последние годы тенденции включить классические произведения литературы урду в литературу хинди. Под предлогом обогащения хинди — государственного языка — и расширения сокровищницы литературы хинди на деванагари издаются стихи и проза лучших писателей урду [1]. Согласно этому и вопреки описанной пуристской тенденции, некоторые лексикографы хинди действуют в направлении утверждения лексики урду в современном словаре хинди.

В этом смысле показательна работа составителя многих словарей хинди Кэдарнатх Бхатты, издавшего «Урду-хинди-кош» (Аллахабад, 1955), основанный на литературных текстах урду. В предисловии к своему словарю К. Бхатта пишет, что он подготовил этот словарь потому, что урду является индийским языком, который будет продолжать жить в Индии и после раздела. Он считает, что патриотам следует поддерживать жизнь языка, на котором писали Мир, Галиб и другие блестящие поэты. «Нам следует считать и урду драгоценным сокровищем страны и беречь его как наше достояние», — пишет он. По-видимому, дело клонится к поглощению в Индии стиля урду стилем хинди и вместе с этим к закреплению в словаре хинди лексического богатства урду.

[1] См., например, «Gujrāt Vidyāpīṭh Granthāvalī», издающуюся в Ахмедабаде. Показательно также, что «Hindī Bhāṣā-sār (gadyabhāg)» (составители Лал Бхагвандин и Рамдас Гаур, Аллахабад, 1950) содержит отрывок из «Зерцала невест» Назир Ахмеда, напечатанный шрифтом деванагари.

Весьма большое место в современной лексикографии хинди занимает вопрос о создании научной и общественно-политической терминологии. Колониальная страна, в университетах, в научной литературе, в политической жизни которой употреблялся английский язык, оказалась вследствие задержавшегося развития национальных литературных языков не подготовленной к широкому распространению современных научных знаний на родном языке. Хинди, как и другие языки Индии, столкнулся с трудной задачей создания новых слов для множества новых понятий и вещей. В разных провинциях усилиями отдельных ученых стали создаваться терминологические словари. В южной и северной Индии при департаментах просвещения были созданы специальные Комиссии по научной терминологии. В независимой Индии в условиях новой государственности, в условиях открывающихся возможностей развития экономики и науки нужда в индийской терминологии стала ощущаться еще острее. Особое значение придается выработке терминологии на хинди.

Проф. Хазари Прасад Двиведи, заведующий кафедрой хинди Бенаресского университета, подсчитал: для того чтобы заменить английские научные и технические термины отечественными, в течение ближайших 10 лет ежегодно следует создавать 20 тысяч новых слов и выражений хинди [2]. В связи с тем, что, согласно конституции, хинди через 15 лет должен во всех сферах общественной жизни Индии полностью вытеснить английский язык, Министерство просвещения выработало программу, по которой создание научной и технической терминологии завершается в течение первых 10 лет. Словарная работа и создание научных оригинальных и переводных книг материально поощряются центральным правительством и правительством штата Уттар Прадеш. К 1965 г. предполагается выпустить большую энциклопедию на хинди объемом 50 тыс. страниц.

Хотя терминологическая работа велась в разных местах Индии отдельными учеными или отдельными группами ученых, она имела общую черту — термины строились на основе санскрита и, благодаря этому, могли быть использованы любым языком Индии, так как литературные индоарийские языки, да и дравидийские, содержат значительную часть санскритской лексики. Избрание санскрита как основы для построения новых терминов получило одобрение ряда таких научных обществ и учреждений, как Нагари прачарини сабха, Бангия Сахитья-паришад, Калькуттский университет, Гуджарати Видьяпитх (Гуджаратское научное об-во в Ахмедабаде), Махараштра Сахитья-паришад в Пуне и др. Это положение санскрита было зафиксировано и в одной из статей Индийской конституции, где говорится, что Индийскому Союзу следует развивать хинди «черпая для его словаря, если необходимо

[2] «The Hindustan times», 30 XII 1955, стр. 9.

и желательно, слова главным образом из санскрита, а затем из других языков». Благодаря структурной ясности слов, производимых при помощи внутренней флексии, префиксов и суффиксов, санскрит представляет для создания новых слов хороший материал, к тому же известный разным индийским языкам.

Первой серьезной попыткой выработать методы построения новых терминов и дать полную терминологию, правда одной науки — химии, был «The great English-Indian dictionary», составленный в 1943—1946 гг. ученым-эрудитом, нынешним директором Интернациональной академии индийской культуры проф. Рагху Вирой. Словарь состоит из четырех частей, содержащих термины неорганической химии, органической химии, названия химической аппаратуры и названия химических красок. Так как словарь предлагался для всеиндийского пользования, все термины приводились в четырех написаниях: деванагари, бенгали, каннада и тамили. Приблизительно в это же время Сукхсампаттилал Бхандари из Аджмира составил словарь технической терминологии на хинди, при создании новых слов прибегая в основном к санскриту, что сделало возможным использование словаря носителями других языков[1]. В 1948 г. в Пуне был издан «Śāstrīya paribhāṣā-kōš», или «The English-Indian dictionary of scientific terminology», составленный двумя крупными маратхскими учеными-лексикографами Яшвант Рамкришна Датэ и Чинтаман Ганеш Карвэ. В указанном словаре английские термины также переводились преимущественно на санскрит, немногочисленные переводы на маратхи отмечались особой пометой. Это был первый словарь, наиболее широко охватывающий разнообразную научную терминологию. Составители использовали для него ранее опубликованные в Махараштре лексикографические работы. Словарь включал термины экономики, права, политики, философии, религии, математики, физики, химии, астрономии, геологии, географии, навигации, биологии, зоологии, физиологии, анатомии, ботаники, медицины, хирургии, филологии и других специальных областей.

Разработка новой терминологии на основе санскрита происходила в обстановке борьбы мнений. Многие считали, что следует оставить и принять английскую международную научную терминологию. Но стремление придать национальную форму новым понятиям и названиям, пришедшим с Запада, взяло верх. Правда, не все то, что предлагается лексикографами, употребительно и имеет перспективу на применение. Строгая последовательность в построении новых терминов только на санскритском материале приводит часто к нелепым крайностям. Только практика может проверить пригодность того или иного нового термина. Необходимо отметить, что до сих пор авторы научных статей и книг продолжают сопровождать употребляемые ими новообразованные термины английскими словами-прототипами в скобках. По замечанию Рамчандра Вармы, сделанному им в предисловии к первому изданию «Праманик хинди-кош» в 1950 г., во многих областях страны «образуется масса слов хинди, равнозначных важным английским терминам. Но не все эти новые синонимы хинди до сих пор получили всеобщее признание, да большинство из них никогда и не смогут стать общепризнанными».

В 1955 г. вышел в издании Интернациональной академии индийской культуры большой словарь «A comprehensive English-Hindi dictionary...», составленный проф. Рагху Вирой и Локеш Чандрой в сотрудничестве с другими учеными и помощниками. Словарь содержит более 100 тысяч слов и выражений из многочисленных областей науки, техники, политики, администрирования и т. п. Выходу этого словаря предшествовало издание целой серии специальных словарей, составленных проф. Рагху Вирой и его сотрудниками. Под редакцией Рагху Виры в штате Мадхья Прадеш были изданы десятки школьных и университетских учебников на хинди и маратхи по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, химии, зоологии, ботанике и другим предметам.

Общим принципом для составления упомянутого большого словаря Рагху Виры является заимствование терминов из санскрита или построение их на санскритском материале. Только в редких случаях в качестве единственного эквивалента дается обычное употребительное слово; например: «деревенский масляный пресс» (*country oil mill*) — *kolhū*; «столовая вилка» — *kāṇṭā*. Немного чаще без санскритского перевода остаются обычные обороты и выражения, которые в словаре помещаются по алфавиту, например: *in the mean time* — *is bīc meṅ*, *itne meṅ*; *in the neighbourhood* — *paṛos meṅ* и т. п. Вообще же, как правило, английское слово переводится на санскрит, и этот санскритский перевод выносится на первое место, если при этом имеется и перевод на другой из языков Индии. Например, *threshing floor* «ток» переводится в первую очередь совершенно неупотребительным словом, извлеченным из средневекового санскритского словаря Халаюдхи: *khaladhānya*, а затем, на втором месте, помещается обычное, всем известное слово *khalihān*; *country cart* «деревенская повозка» переводится сначала санскритским *grāma-śakaṭa*, затем — хинди *bailgāṛī*; *hammer* «молот» — *ayoghan* (встречающееся у Панини), затем *hathauṛā*. Перевод на санскрит по возможности обосновывается фактом наличия соответствующего санскритского слова в древней или средневековой литературе. Например, *octroi* «пошлина» — сначала *drārādeya* (из «*Rājataraṅgiṇī*»), затем обычное современное слово хинди *cāṅgī*. В результате словарь в качестве терминов предлагает высокопарные архаизмы.

Нельзя согласиться с выдвинутым Рагху Вирой положением о том, что «техническая терминология, построенная на санскрите, приво-

[1] См. об этом «Annals of the Bhandarkar oriental research institute», vol. XXX, 1949, стр. 145—150.

дет к единству научную и литературную мысль. Древние кирпичи для литературы и науки должны быть одними и теми же. Будущиенаучные индийские выражения образуют неразделыное целое с литературными выражениями, существовавшими ранее» (стр. 24). Такая точка зрения не учитывает наличия развитых стилей в живом современном языке. Представляется утопичной попытка архаизировать современные литературные языки, хотя бы и во имя богатого прошлого индийской культуры.

Одним из изложенных во введении к словарю принципов является требование, чтобы каждый термин имел смысловое содержание, отмечал семантически характерную черту предмета или понятия. Следование этому принципу заставляет составителей словаря переводить и все те термины, перевод которых излишен и только искажает смысл, тем более что в этих случаях часто берется слово, древность которого исчисляется тысячелетиями. Например: «железнодорожная станция» *steśan* современного хинди предлагается заменить словом *sthatra*, взятым из X мандалы Ригведы; «карандаш» *pensil* — санскритским новообразованием *aṅkanī*; «стол» *mez* или *tebul* — древним санскритским *paṭala*, которое никак не означает «стол»; «пианино» *pyāno* — санскритским *mṛdu-vādya*, буквально «тихий инструмент»; широко употребляемое заимствование из английского *rabar* «каучук, резина» словарь заменяет семантическим переводом *ghṛṣi*, что значит «стирающий» от санскритского корня *ghṛṣ* «тереть». Крайности проведения принципа перевода проявляются и в переименовании многих стран. Например, Азия названа *Jaṁbudvīpa* — название одного из семи материков в Пуранах или буддийское название Индии; Америка — *Pātāla* — название одного из семи пуранических подземных миров; Австралия — *Mahālaṅkā*, буквально «Большой Цейлон»; Африка — *Kālā dvīpa* «Черный остров»; Сибирь — *Śivāvarta*, что означает: «страна Шивы» (*āvarta* по аналогии с *Āryāvarta*; по индийской мифологии обитель Шивы находится на снежных вершинах Гималаев); Нидерланды — *Nimnavarṣa* по аналогии с *Bhāratvarṣa*; Япония — *Ūdayavarṣa* «страна восходящего солнца»; названий России или Советского Союза в словаре вообще нет. Думается, напрасно были потрачены усилия на переименование электрических единиц: ампер — *dyuvahī*, вольт — *dyušakma*, фарада — *dyukṣama*, кулон — *dyumātrā* и т.д., хотя этим переводам нельзя отказать в последовательности и системности.

Здесь подвергнуты переводу как раз те иностранные слова, о которых Ф. Энгельс писал в предисловии к «Развитию социализма от утопии к науке», что «необходимые иностранные слова, представляющие собою большей частью общепринятые научно-технические выражения, вовсе не были бы необходимы, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод искажает смысл; вместо того, чтобы пояснить, он сбивает с толку» [1].

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, 1933, стр. 624.

Принцип буквального перевода в словаре соблюдается наряду с принципом калькирования, тесно с ним связанным. Например, *microphone* — *anubhāṣa*; *microscope* — *anvīkṣa*; *cooption* «кооптирование» — *sahavaraṇa*; *coopted* «кооптированный» — *sahavṛta*; *hydrogen* «водород» — *udajana*; *hydrology* «гидрология» — *jalavijñāna*; *hydrophobia* «водобоязнь» — *jalabhī*; *hydroplane* «гидроплан» — *jalavimāna* и т. п. При калькировании префиксы и суффиксы английских научных терминов последовательно передаются соответствующими санскритскими префиксами и суффиксами. Например: *pari* соответствует *peri* (*perimeter* «периметр» — *parimāpa*); *anu* соответствует *sub* (*subgenus* «подрод» — *anuprajāti*); *saṁ* соответствует *con* (*condence* «сгущение» — *saṅghanana*); *apa* соответствует *ab* (*abrade* «стирать» — *apagharṣaṇa*); *prati* соответствует *anti* (*antibody* «антитело» — *pratikāy*); *dus* соответствует *dys* (*dyspnoea* «одышка» — *duḥšvasana*) и т. д.

Наличие в санскрите множества аффиксов и гибкость основ позволяют широко применять калькирование, а также конструирование новых слов. Рагху Вира пишет, что при помощи 520 корней, 20 префиксов и 80 суффиксов можно создать миллионы слов. Но составители следуют более моделям, выработанным в европейской научной терминологии. По аналогии они пользуются различными усеченными основами, изобретают новые суффиксы. Так, *jāraka* «кислород», которое образовано от древнего слова, относящегося к алхимии, *jāraṇa* «окисление», может быть усечено до *jār*, соответствующего части европейского термина *oxy-*; *jā* — *ox-*; *jā* — *oxa-*; *jar* — *oxo-*. Примерами новых суффиксов могут служить *-ātu*, получившийся из *dhātu* «металл» и калькирующий суффиксы *-ium* и *-um* в химии, например, «радий» *radium* — *tejātu*; суффикс *-āti* от слова *vāti* «газ» калькирует европейский суффикс *-on*, например, «аргон» (греч. «вялый») *mandāti*. В минералогии новый суффикс *-ij* от *khanij* «минерал» калькирует англ. *-ite*, например, *anthracite* — *vikṣāmij* (*vikṣām* «уголь сгоревший»); *apatite* «апатит» — *cūrṇabhāsvij* (здесь ряд усечений: *cūrṇa* < *cūrṇātu* «кальций», *bhāsva* < *bhāsvīya* «фосфатный»).

Сделанные замечания по обширному словарю англо-хинди далеко не исчерпывают характеристику огромной, кропотливой работы над ним. К этой работе, по словам проф. Рагху Виры, были привлечены около 200 специалистов.

Результаты длительного труда над методами создания своей терминологии, несомненно, будут иметь большое значение для формирования индийских литературных языков, хотя, конечно, не все там предложенное будет принято. Распространение всеобщей грамотности среди народов Индии, повышение образованности масс, усиление демократических элементов в литературе — внесут свои поправки в создание современной терминологии. Этот вопрос будет решен самой жизнью.

Событием для лексикографии хинди было издание в прошлом году первого русско-хинди словаря, составленного Вир Раджендра Риши («Руси-хинди шабда-

кош», Новый Дели, 1957). Знаменательно для современного развития индо-советских культурных отношений, что словарь вышел в Индии почти одновременно с выходом первого русско-хинди словаря в Советском Союзе. В предисловии к словарю В. Р. Ришн пандит Дж. Неру пишет: «...русский язык, который сам по себе не только велик и богат, но и служит сегодня средством выражения научных, технических и других сфер человеческого мышления, до сих пор еще знают немногие в Индии. Я надеюсь, что изучение русского языка в Индии будет расширяться, и это будет способствовать лучшему пониманию русского народа и его великих достижений». «Руси-хинди шабда-кош», над которым составитель работал шесть лет, содержит 40 тысяч слов, сопровождаемых достаточно богатым иллюстративным фразеологическим материалом. Словарь В. Р. Ришн вместе с приложенным кратким очерком грамматики русского языка — крупный вклад в индийскую лексикографию, им положено начало созданию словарей переводных с русского на другие индийские языки.

В древней и средневековой лексикографии мы видим очень раннее, но яркое проявление духовной деятельности индийского народа. То, что сохранено этой традицией, представляет большую ценность для истории языка, для истории культуры. С XIX в. развиваются новые традиции, отражающие борьбу индийского народа за национальное освобождение от империалистического порабощения. Индийская филология становится одним из средств этой борьбы. В области лексикографии хинди, так же как и в других идеологических областях, сказываются буржуазно-националистические установки, однако преобладает научно-объективное направление, которое имеет прочную опору в самой жизни страны, вступившей на путь самостоятельного свободного развития в эпоху торжества социализма.

В. М. Бескровный

НОВОЕ В ЛИТУАНИСТИКЕ

В 1957 г. в Вильнюсе вышла из печати монография З. Зинкевичюса «Очерки по истории местоименных прилагательных литовского языка»[1]. Эта книга обращает на себя внимание не только благодаря значительности темы, представляющей интерес и для исследования балтийских, а также славянских языков, в которых представлен названный тип прилагательных, и для изучения других индоевропейских языков. Она отличается широким привлечением материала всех основных старых письменных памятников литовского языка и всесторонним использованием диалектных данных — как известных по печатным источникам, так и собранных автором в ходе его диалектологических изысканий. Вместе с тем автор постоянно учитывает факты других балтийских языков.

Основная часть книги, рассматривающая историю местоименных прилагательных в литовском языке, включает раздел о фонетических факторах, способствовавших нарушению регулярных связей местоименных прилагательных с краткими формами прилагательных и выделению их в качестве особого класса (здесь имеются в виду выпадение *j* после согласных, сокращение акутовых окончаний, выпадение тавтосиллабического *n* и др.); главу об особенностях склонения местоименных прилагательных (существенную часть здесь занимают разыскания в области унификации типов склонения); наконец, раздел о дальнейшей судьбе изучаемого типа прилагательных в говорах литовского языка. Очень полезными являются справочные разделы книги, включающие детальные указатели рассмотренных слов и форм, и статистические таблицы, характеризующие употребление местоименных прилагательных в старых памятниках и в современном языке.

Опубликование на русском языке подробной статьи автора на ту же тему[2] избавляет нас от необходимости более подробно излагать содержание богатой наблюдениями книги З. Зинкевичюса. Нам представляется целесообразным остановиться на значении исследованных в этой книге фактов для сравнительно-исторической грамматики балтийских и в целом индоевропейских языков. Автору удалось окончательно доказать поздний характер образования местоименных форм. Факты, привлеченные З. Зинкевичюсом для обоснования этого вывода, имеют существенное значение и для исследования функций и синтаксических позиций элемента **i̯o-* — не только в балтийских, но и в других индоевропейских языках. В соответствии с традицией автор считает, что старое относительное значение этого элемента в балтийских и славянских языках исчезло (стр. 12).

---

[1] Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai, Vilnius, 1957.

[2] См. З. П. Зинкевичюс, Некоторые вопросы образования местоименных прилагательных в литовском языке, ВСЯ, вып. 3, 1958, стр. 50—100.

Однако нам представляется нецелесообразным искать следы первоначального относительного значения *i̯o- не только для балтийских и славянских языков, но и для индоевропейских языков в целом. Собранные З. Зинкевичюсом факты являются веским аргументом в пользу теории о том, что элемент *i̯o- в древнейшую эпоху не имел этого значения[1]. Об этом свидетельствуют многочисленные данные различных групп индоевропейских языков, общие соображения о развитии относительных местоимений в индоевропейских языках и, наконец, обильные типологические сопоставления (ср., например, особенно показательные явления в абхазском языке)[2]. Что же касается балтийских языков, то для них тем более не имеет смысла искать следы относительного значения в элементе *i̯o-, поскольку в этих языках вообще нет относительного местоимения такого корня (которое в этой функции не было общеиндоевропейским). В славянских же языках относительное значение *i̯o- определяется целиком присоединением частицы *že*[3].

Для древнейшего состояния отдельных индоевропейских диалектов следует предполагать использование частицы *i̯o- для установления синтаксических связей между словами и синтагмами. Этой первоначальной функцией элемента *i̯o- объясняются многообразные значения восходящих к нему единиц в различных индоевропейских языках (часто эти широкие этимологические связи относительного местоимения *i̯o- не учитываются при изучении его истории). В эту обширную семью слов входят частицы самого разного назначения (усилительного, вводного, подчеркивающего и др.), союзы[4], местоимения (анафорические, указательные, относительные) и показатель -i̯o- в падежной флексии генетива основ на -o*-sio. В свете этих фактов указанную флексию представляется целесообразным рассматривать как старое сочетание окончания эргатива с частицей *i̯o-, еще сохранившей первоначальное общее значение[5]. Представляет интерес выяснение относительной хронологии образования этой флексии родительного падежа и выступающих в сходных синтаксических условиях форм прилагательных на *-i̯o-.

[1] См. о балтийских и славянских языках: N. van Wijk, Eine slavisch-germanische syntaktische Parallele, «Germanoslavica», Jg. III, Hf. 1—2, 1935; об индоевропейском: J. Gonda, The original character of the Indo-European relative pronoun i̯o-, «Lingua», vol. IV, 1, 1954.

[2] Эти абхазские параллели не были использованы Дж. Гондой, привлекшим в основном данные языков Южной Азии (см. J. Gonda, указ. соч.).

[3] Ср. Z. Rysiewicz, Studia językoznawcze (см. статью «De quelques pronoms relatifs»), Wrocław, 1956.

[4] См. интерпретацию союза ὅτε в статье J. Conda «The history and original function of the Indo-European particle $k^{u}e$, especially in Greek and Latin, «Mnemosyne», ser. IV, vol. VII, fasc. 3—4, Leiden, 1954.

По указанным соображениям нам представляется, что традиционный термин «местоименные прилагательные» можно употреблять лишь в условном смысле, отличающемся от обычного (т. е. имея в виду не происхождение этого класса слов, а его синхронические связи с указательными местоимениями).

Как показывают материалы монографии З. Зинкевичюса и другие новейшие работы[6], в литовском языке сохранились следы употребления i̯o- древнейшего индоевропейского типа. (Ср. в пределах самого литовского языка близкие по значению к прилагательным на i̯o- формы с частицей -ai типа *jis-ai*, *kurs-ai*, *geras-ai* и т. д.[7], где элемент -ai, присоединяющийся к разным классам слов, никогда не являлся местоимением.)

Особый интерес для сравнительно-исторического синтаксиса индоевропейских языков представляют собранные в диссертации формы прилагательных, где либо элемент -i̯o- вставляется между приставкой или отрицанием и корнем (*nu-jam-ludusam*, *pa-io-prasta* и др., стр. 8), либо элемент -i̯o- повторяется (*ne io-kalto-ia*, стр. 8), либо повторяется окончание при основе и при элементе i̯o- (*tikrosp-iosp*, *artimump-iump*, стр. 7). Эти факты, связанные с использованием местоименных энклитик в литовских глаголах, находят очень широкие соответствия в различных индоевропейских языках и помогают реконструировать место энклитик в индоевропейском предложении[8]. С другой стороны, их распределение в балтийском и славянском предложении находит, кажется, достаточно точное объяснение в свете установленных недавно хеттских фактов[9]. Уже приведенные выше соображения показывают, какие широкие перспективы открываются благодаря результатам, содержащимся в интересной книге З. Зинкевичюса[10].

[5] В связи с этим нуждается в поправке в общем верная интерпретация этой формы в статье И. Кноблоха (см. J. Knobloch, Zur Vorgeschichte des indogermanischen Genitivs der o-Stämme auf -sio, «Die Sprache», Bd. II, Hf. 3, 1951).

[6] H. Wissemann, Zur nominalen Determination. I. Die Grundfunktion des bestimmten Adjektivs im Baltischen und Slavischen, IF, Bd. LXIII, Hf. 1, 1957.

[7] См. A. Salys, The Lithuanian vocative singular in -ai, «Studi baltici», [IX], Firenze, 1952.

[8] Сходную позицию в предложении можно предположить и для различных указанных выше форм с-i̯o-; ср. место род. падежа на -sio, iže в старославянском предложении и т. д.

[9] См.: B. Rosenkranz, Zur Entstehungsgeschichte des bestimmten Adjektivs des Baltischen und Slavischen, «Die Welt der Slaven», Jg. III, Hf. 2, 1958; W. H. Held, The Hittite relative sentence «Language», vol. 33, № 4 (pt. 2). Suppl., 1957.

[10] Важным дополнением к исследованию З. Зинкевичюса служит диссертация А. Валецкиене (A. Valeckienė, Dabar-

Монография З. Зинкевичюса, как и ряд появившихся за последние два года очень ценных публикаций лингвистических исследований[1] и изданий старых литовских текстов и старых записей фольклорных материалов[2], свидетельствуют о больших успехах, достигнутых литовскими лингвистами.

Вяч. В. Иванов, В. Н. Топоров

---

tinės lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas, сб. «Literatūra ir kalba», II, Vilnius, 1957), рассматривающая функцию и значение *сложных прилагательных* в современном языке.

[1] См. сборники статей: «Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai», Vilnius, 1957; «Lietuvių kalbotyros klausimai», I, Vilnius, 1957; сб. «Literatūra ir kalba» (I—1956, II—1957, III—1958), а также полезные исследования И. Палиониса, К. Ульвидаса, А. Сабаляускаса, И. Сенкуса, А. Лайгонайте, Е. Гринавецкиене, А. Валецкиене и др. Большим событием является переиздание работ И. Яблонского по литовской грамматике (см. J. Jablonskis, Rinktiniai raštai, t. I, Vilnius, 1957) и начавшееся издание собрания сочинений выдающегося литовского лингвиста К. Буги.

[2] Наряду с появившимся еще в 1947 г. катехизисом Мажвидаса («Pirmoji lietuviška knyga», Kaunas) следует отметить издание первой литовской грамматики Клейна («Pirmoji lietuvių kalbos gramatika 1653 metai», Vilnius, 1957), рукописей Донелайтиса («Kristijono Donelaičio rankraščiai», Vilnius, 1955), хрестоматии по старой литовской литературе («Lietuvių literaturos istorijos chrestomatija», Vilnius, 1957; сюда включен ряд основных памятников старого литовского языка, большое место занимают фототипическое воспроизведение старых текстов и лингвистические комментарии). В настоящее время в Институте языка и литературы в Вильнюсе ведется подготовительная работа к изданию ценнейшего памятника литовского языка — библии Бреткунаса. Скорейшее завершение этой работы — одна из настоятельных задач лингвистики. Из публикаций старых диалектных текстов следует отметить: Antanas Juška, Lietuviškos dainos, tt. 1—3, Vilnius, 1955; Antanas Juška, Jonas Juška, Lietuviškos svotbinės dainos, tt. 1—2, Vilnius, 1955; Simonas Stanevičius, Dainos Žemaičių, Vilnius, 1954; J. Lebedys, Smulkioji lietuvių tautosaka XVII—XVIIIa., Vilnius, 1956 и др.

РЕЦЕНЗИИ

Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Изд. Института языкознания АН СССР. — М., 1957.

«Атлас», о котором идет речь, является лишь первой частью большого атласа говоров русского языка. Подробно представить отдельные русские диалектные явления на картах, охватывающих всю территорию данного языка, было бы невозможно, так как такие карты имели бы неудобный для употребления формат. Поэтому насыщенный (плотно населенный) район говоров русского языка в Европе был разделен на 10 частей; столько же будет и отдельных диалектологических атласов. Кроме названного атласа, уже готовы к печати, насколько мне известно, еще три: атлас говоров к югу от Москвы, на запад от Москвы и атлас говоров окрестностей Пскова, Великого Новгорода и Ленинграда.

Рецензируемый «Атлас» охватывает большой прямоугольник территории около 680 км длины и около 370 км ширины. В пространстве этого прямоугольника лежат Москва (на самой западной границе), Рязань, Владимир, Горький, Саранск, Чебоксары.

Вопросник данного «Атласа» является общим и для остальных атласов русских говоров, а также и для подготавливаемого уже атласа белорусских говоров. Следовательно, в будущем путем сопоставления соответствующих карт можно будет наблюдать состояние каждого явления, отмеченного в вопроснике, на территории распространения всех русских и белорусских говоров[1].

«Атлас» состоит из огромного собрания карт (формат 45 × 27 см, не считая легенд) и большого тома объяснений (вступительные статьи и комментарии), занимающих 1101 страницу формата восьмой части листа. Вступительный том включает ряд статей, объясняющих возникновение «Атласа», метод и специфику его составления и, наконец, научные выводы, вытекающие из этого большого труда. Затем следует список населенных пунктов, библиография работ о говорах к востоку от Москвы, наконец, полный вопросник «Атласа». Наибольшую часть вступительного тома (789 стр.) составляют комментарии к картам; эти комментарии значительно уточняют содержание карт.

Рассмотрим теперь вкратце вопросник «Атласа». На первый взгляд он кажется небольшим, так как содержит только 294 вопроса, из которых 67 по фонетике, 50 по морфологии (почти исключительно по словоизменению), 33 по синтаксису и 153 по словарному составу. Однако в действительности вопросник (занимающий 39 стр.) достаточно велик, и опрос по нему должен занять много времени. Это объясняется тем, что вопросы по фонетике, морфологии, а часто и по синтаксису являются сложными. Они имеют много подпунктов, а внутри каждого подпункта много примеров на более частные явления. Так, вопрос 1, касающийся аканья, занимает 16 строчек текста, вопрос 5 (старое *е* в предударном слоге и перед мягкой согласной) — 30 строчек. Так же обстоит дело с вопросами по морфологии. Вопрос 68 (какие окончания имеют род., дат. и предл. падежи ед. числа существительных жен. рода на *-а*) занимает 14 строчек. Более краткими являются вопросы по синтаксису, но и они имеют по нескольку строчек. По одному абзацу имеют только вопросы по лексике.

Основным стремлением авторов вопросника было отразить в нем все характерные черты фонетической, морфологической и синтаксической системы, отличающие русские говоры от соседних восточнославянских или различающие говоры внутри русского языка. При составлении вопросника, видимо, руководствовались уже ранее полученными данными о таких особенностях.

Вопросник содержит вопросы, касающиеся, видимо, всех важнейших проблем из области фонетики и словоизменения. Однако поражает почти полное отсутствие вопросов по словообразованию. Мало ориентируясь в словообразовании русских говоров, я с трудом могу понять причину такой диспропорции. Кажется, русское словообразование мало дифференцировано географически, однако, с другой стороны, возможно, у авторов «Атласа» в период составления вопросника были еще недостаточные сведения о словообразовании. Также относительно мало вопросов и по синтаксису, но это авторы «Атласа» объясняют большой однородностью синтаксиса русских говоров, с одной стороны, и недостаточными сведениями об этом синтаксисе — с другой.

[1] Украинский диалектологический атлас, подготавливаемый в настоящее время в Киеве, имеет особый вопросник, по-видимому, в связи с иной языковой проблематикой на Украине; в известной мере это затруднит сопоставление украинских языковых фактов с русскими и белорусскими.

Безусловно, не помешали бы дополнительные вопросы и по лексике. Причиной их относительно небольшого числа также были слишком ограниченные сведения о лексических различиях в русских говорах, имевшиеся в период составления вопросника. Определенные лексические факты выявляются, правда, в фонетической и морфологической части вопросника, а именно в тех случаях, где речь идет о лексикализированных фонетических и морфологических явлениях. Но тут, собственно, мы имеем дело со словами, которые с точки зрения лексики идентичны на всей территории распространения русского языка (*комар — комар'*, *грип — грып*, *плат'ит'— плот'ит'* и т. п.). Лексические вопросы делятся на две группы. В первой группе вопросов речь идет о предмете и выясняется его название. Например: «Как называется крестьянский дом (*изба, хата, курень*)?». Во второй же группе вопросов за основу берется слово, и вопрос ставится примерно следующим образом: «Существует ли слово *борошно* и что оно обозначает?». Разумеется, и тот и другой тип вопросов необходим для хорошего вопросника.

Сетка населенных пунктов, в которых собирался материал для «Атласа», насчитывает 965 деревень, из которых на карты нанесено 938. Остальные 27 не учтены или в результате слишком большого скопления пунктов в некоторых районах, или по причине недостаточности или ненадежности записанного материала. Для атласа, охватывающего такое большое пространство, сетка очень густа; наибольшая отдаленность двух пунктов друг от друга — в среднем 15 км, а иногда еще меньше. Мало пунктов лишь в районах слабо заселенных и там, где немногочисленные чисто русские села расположены в районе распространения других языков (северо-восток).

Насколько можно судить по перечню, помещенному в томе комментариев, все деревни, выбранные как пункты для «Атласа», являются старыми в том смысле, что они уже были в списках, изданных в 1862—1877 гг. Это очень важно, так как собирание материала в новых деревнях, в которые население прибыло недавно и из разных районов, дало бы совершенно случайный и поэтому не представляющий ценности материал. Но жаль, что не дается даже краткой характеристики каждого пункта. Ведь может встретиться и такая старая деревня, в которую за последнее время прибыло население и из других районов. В таком случае в деревне господствует хаотическое смешение говоров, и материал из этой деревни не может быть использован в «Атласе». Наиболее удачным является положение, когда в деревне, где собирается материал, население живет с очень давних времен. В такой деревне современный диалект, несмотря на влияние литературного языка или соседних диалектов, является действительным продолжением местного диалекта прежних поколений.

К сожалению, в комментариях не говорится о принципах подбора информаторов. Нет сомнения, что информаторами были только те люди, которые родились в исследуемой деревне. Однако необходимо было бы указать, здесь ли родились и родители информатора. В противном случае может быть записан диалект хотя и местный по своей основе, но часто с сильными примесями другого диалекта. Полная автохтонность информатора часто может быть более важной, чем его возраст.

Собирателями материала были чаще всего студенты высших учебных заведений Москвы и других городов. Наибольшее число пунктов (265) обследовали студенты Московского пединститута им. Потемкина; Московский университет собрал материал из 154 пунктов; 137 пунктов целиком обработали сотрудники Института языкознания АН СССР, которые, кроме того, принимали участие и в экспедициях, организованных другими учебными заведениями Москвы. Остальной материал собрали другие педагогические институты Москвы и городов, расположенных в изучаемых районах.

Большой в сущности вопросник и огромное число географических пунктов, разумеется, требовали большого числа исследователей на местах, поскольку процесс собирания материала не мог происходить бесконечно. Однако, как ясно видно по комментариям к «Атласу», использование для работы студентов, т. е. людей недостаточно квалифицированных, в какой-то степени отрицательно отразилось на качестве собранного материала. От некоторого количества плохо обработанных пунктов пришлось отказаться, да и в пунктах, нанесенных на карту, иногда встречается неполный или недостаточно хорошо записанный материал.

Контрольные поездки, осуществленные квалифицированными сотрудниками Института языкознания, не смогли — как это следует из комментариев — полностью устранить эти недостатки. Впрочем все погрешности реализации программы работы над «Атласом» подробно оговорены на 75—84 страницах тома комментариев.

Я не нашел в томе сведений о методе опроса информаторов. Частным образом я узнал, что в основном записывание материала происходило во время непринужденных бесед. Затем обследователи, оставаясь в исследуемом пункте, разносили собранный материал по соответствующим номерам вопросника. Только после этого недостающий материал собирался путем постановки наводящих вопросов (при этом наблюдатель сам не произносит форму, которая его интересует). Метод записывания при свободной беседе имеет безусловно большое преимущество, так как в такой беседе записывающий меньше всего влияет на язык информатора. О времени, затрачиваемом на записывание материала, я также смог узнать лишь частным образом. Мне сообщили, что оно равнялось 5—7 дням. Этого безусловно достаточно для собирания ответов на все вопросы.

Фонетическая транскрипция, используемая при записях, основана на кирилловском (гражданском) алфавите с добавле-

нием нескольких дополнительных знаков. Эта транскрипция является простой, не вникающей в фонетические детали, но достаточной для обнаружения всех существенных черт изучаемых диалектов.

Сборник карт, т. е. собственно сам «Атлас», насчитывает 279 карт. Первые восемь имеют вспомогательный характер. Эти карты необходимы для действительно научного использования всех карт. Первая из вспомогательных карт показывает территорию говоров к востоку от Москвы, другая — распространение славянских и финских племен X—XI вв. на данной территории, третья — территорию русских феодальных княжеств в XIV и XV вв., пятая — локализацию названий исследуемых деревень, четвертая, седьмая и восьмая — старое и современное адм. деление, шестая — карту Московской диалектологич. комиссии 1915 г., в которой говоры рассматриваемой территории делятся на южные, северные и переходные; эта карта дает сведения о плотности населения, русского и нерусского, на территории к востоку от Москвы в начале XX в.

Затем следуют специальные диалектологические карты (241), показывающие распространение различных фонетических, морфологических, синтаксических и лексических явлений. Разумеется, степень подробности этих карт является очень различной. 35 первых карт посвящены различным явлениям, связанным с влиянием динамического ударения на произношение безударных гласных. Тут закартографированы явления очень общие и относящиеся к отдельным словам (например, *о* вместо *а* в словах *боран*, *зобота*, выступающие часто в «окающих» диалектах). Следующие 36 карт относятся главным образом к проблемам консонантизма (произношение *г* или $\gamma \leq г$, произношение старого *в*, явление цоканья и родственные ему и т. д.). Последующие карты до № 92 посвящены более частным фонетическим чертам, выступающим в отдельных словах (*л* и *р* твердые или мягкие, *и* или *ы*, например, в словах *вишня*, *высокий* и т. д.). Затем идут морфологические карты. До 116-й карты включительно они посвящены различным типам существительных. Меня заинтересовало здесь фонетико-морфологическое явление: переход $х > ф$ в окончании предложного падежа мн. числа *-ах* (*в домаф*, *на поляф*). Выступает оно полосой на юго-восток от Москвы, а также встречается и на юге, северо-востоке и северо-западе исследуемой территории. Аналогичные формы выступают в горских говорах Южной Польши, но там переход $х > f$ имеет всеобщий характер и является результатом слабого произношения *х*. Такого слабого произношения *х*, по-видимому, нет в русских говорах. Морфологическим выравниванием (по отношению к прилагательным) можно, напротив, объяснить родительный падеж мн. числа типа *огурцох*, выступающий на довольно большом пространстве на юге, охватывающем давнюю Мещеру. Следующие карты до № 140 посвящены окончаниям прилагательных и местоимений. Для польского диалектолога, вероятно, интересным будет окончание *-ех* родительного падежа мн. числа (*молодэх*, *глухех*), напоминающее окончание *-ех* (*dobrex*) в польских северо-восточных говорах, засвидетельствованное там еще в средние века. Карты с № 141 по № 166 демонстрируют явления в глагольных окончаниях; наконец, следуют лексические карты 168—241, дающие часто очень интересные сведения. Среди них находится не столько лексическое, сколько морфологическое и даже синтаксическое явление, а именно — употребление постпозитивного артикля существительных (типа *дом-от*), засвидетельствованное на всей территории, за исключением крайнего юго-запада.

Языковые факты обозначены на картах исключительно значками (кружки, треугольники, квадраты). В зависимости от потребности значки могут быть только черными (закрашенными и незакрашенными) или цветными: красными, голубыми и желтыми. Красный цвет обозначает факты, совпадающие с литературным языком или наиболее распространенные. В легенде используется фонетическое написание только там, где оно необходимо.

Связь между картами и вопросами программы не является непосредственной. Так, например, карта № 3 основана на отдельных подпунктах вопросов 3, 4, 5, 6 и 7, карта № 7 — на 6 и 7 вопросах и т. д. Разумеется, это не вызывает возражений: собирание материала и его картографирование — это разные вещи. Хуже то, что ответы на некоторые вопросы не картографировались по причине неполноты или неправильности собранного материала. Если речь идет об отдельных словах, то был еще один повод не картографировать часть материала. Так, только в период работы над «Атласом» было обнаружено, что различные слова, о которых идет речь в вопроснике, обозначают различные предметы, встречающиеся или на различных, или на одной и той же территории. Может быть, лучше было бы не отказываться от картографирования и этого материала, хотя я сознаю, что сделать это было бы нелегко. Также не были закартографированы и те явления, которые не дифференцировались по всей исследуемой территории. Впрочем сведения об этих явлениях даны в комментариях (стр. 84—88). К подобным явлениям относятся: произношение *о*, *е* (из ъ, ь) вместо *ы*, *и* в словах типа *мою*, *крою*, *шея*, *пей*, *бей*; характерное для русского языка отсутствие отвердения *р'* в таких формах, как *рядом*, *сухарь*; отсутствие мягких («шепелявых») *с*, *з*; отсутствие синтаксического оборота «у него нога сломавши» и т. д. Из области лексики, разумеется, не картографировались слова, не встреченные на данной территории, а также названия предметов, которые там не употребляются.

Особо следует остановиться на сводных картах, показывающих расположение изоглосс. На каждой карте представлены сходные или в той или иной степени связанные между собой явления. Следует под-

черкнуть, что и сами авторы «Атласа» отмечают, что лишь небольшое число изоглосс совпадает со старой границей между вятичами и кривичами, которая, впрочем, представлена только на крайнем западе. Более отчетливо происходит совпадение с границами древнего Рязанского княжества, причем на востоке ясно видны следы колонизационной экспансии, направленной из этого княжества и несшей на восток южнорусские языковые элементы. С северной границей Рязанского княжества совпадают границы таких важных южнорусских явлений, как изменение *г* в γ или окончания 3-го лица ед. и мн. числа *-т'*, а не *-т*. Сюда относятся также некоторые лексические и фразеологические изоглоссы, например *песни играть* вместо северного *песни петь*. В районе вятичей распространено, например, аканье, хотя трудно предположить, чтобы это явление было здесь исконным и относилось бы ко времени племенного периода.

Сводные карты, так же как и частные, свидетельствуют о большом своеобразии говоров на восток от Рязани, на территории старого финского племени Мещеры. Здесь отсутствует общерусский переход *е* > *о*, представлен результат выравнивания глагольных основ — ср. формы 1-го лица ед. числа *ход'ю, прос'ю*. Для этих говоров характерна также особая передача старого *в* (типа *праўда, трахка, хпер'от, уместе, унук, удова* и т. д.), замена *f* на *х*, *хv*, произношение *ипять, итнять* вместо *опять, отнять*, формы *ššo, ščo* вместо *što* и т. д. Указанные отличия в говоре старой Мещеры авторы «Атласа» приписывают влиянию давно уже русифицированного финского субстрата. Это не исключено, хотя и следует признать, что влияние субстрата было бы довольно сложным. Например, можно предположить, что русифицирование Мещеры произошло до перехода *е* в *о*, а произношение *е* у русифицированных финнов препятствовало переходу его в *о*. Это было бы сохранением архаизма под влиянием иноязычного субстрата. Также в случае с развитием праславянского *v* следует предположить, что русифицирование Мещеры произошло еще в тот период, когда это *v* было билабиальным *w*. Такой тип произношения частично сохранился до наших дней в диалектах старой Мещеры и постепенно привел к тому странному для русского языка произношению старого *v*, о котором мы говорили выше.

Следует, однако, помнить, что совершенно аналогичные явления (типа *praŭda, h mis't'i, x pol'u, unuk, udova*) встречаем в юго-западных украинских говорах (части лемковских и бойковских), которые до сих пор сохранили билабиальное произношение *v* (*wода, трawa* и т. д.). Области же Карпат, в которых выступают эти явления, были заселены лишь в XVI в., и поэтому в данном случае трудно говорить о каком бы то ни было субстрате.

Много изоглосс, по-видимому, совпадает со старой южной границей суздальско-нижегородского княжества. Примерно здесь проходит граница между типом *запрег* (на север от нее) и типом *запрёг* (дальше на юг), или старым типом в форме 3-го лица мн. числа *ходят* (на севере) и новым типом *ходют* (дальше на юг), или, наконец, между женским типом склонения существительных (*дедушка*) на север от данной границы и сохранением первоначального типа склонения на юг от нее.

Восточная часть данной территории была колонизирована поздно, только после XVI в. На севере колонизация проводилась только носителями севернорусских диалектов, на юге же, к востоку от реки Мокша, сталкивались два потока — северный и южный, что привело к образованию значительной языковой пестроты в этом районе. Иногда, правда, можно путем сравнения изоглосс] предположить, откуда пришли колонисты в ту или иную часть данного района. Поражают, например, общие черты пяти пунктов «Атласа» (703, 705, 737, 740 и 742) с диалектами юго-западной части исследуемой территории, а именно — с диалектами старой Мещеры. Вероятнее всего эти деревни были заселены населением, жившим к востоку от Рязани. Весьма возможно, что более тщательный анализ частных и сводных карт мог бы вскрыть немало подобных фактов по истории колонизации, безусловно важных и для языкознания.

На картах встречаются белые пятна, очевидно чаще всего обозначающие безлюдные леса или болота. В дальнейшем, учитывая прежний опыт, следует давать в атласе и карты с обозначением географических условий исследуемой территории (лесов, болот, рек). Самые крупные белые пятна встречаются на северо-востоке, на востоке и на западе от города Горького (б. Нижний Новгород). Белые пятна на крайнем северо-востоке, видимо, объясняются тем, что здесь большинство составляет нерусское население, а русские деревни встречаются редко. Пятна же возле г. Горького, по-видимому, обозначают леса или болота. Не заполнено также пространство от г. Ардатова до нижней границы карты. Пустые территории возле Горького иногда являются границами языковых явлений (например, типа *запрег*//*запрёг*, женского склонения существительных типа *дедушка*, произношение типа *ясница, молосный*), чего нельзя сказать о незаселенных областях на юге.

Распространение цоканья, представленное в «Атласе», опровергает гипотезу Шахматова (что отмечают авторы комментариев) о «ляшском» происхождении этого явления. Совершенно не цокают на территории древних племен вятичей и кривичей, и это явление выступает лишь на территории, ранее занятой финскими племенами. Влияние финского субстрата здесь довольно правдоподобно. Также опровергается старое утверждение, что цоканье является специфически севернорусской чертой. На картах «Атласа» цоканье занимает значительную часть южных и среднерусских говоров.

В общем «Атлас» дал много новых неизвестных фактов и ряд ранее известных показал в новом свете. Так, например, только теперь мы можем с уверенностью утверждать, что существует довольно большая исконно русская территория, на которой не произошло изменения *е* в *о*, до сих пор считавшееся общерусским явлением. В новом свете представляются нам факты появления узких гласных или дифтонгов на месте праславянских *ě* и *о* под старой акутовой интонацией. Оказалось неправильным утверждение, что узкие долгие гласные из *ě* под акутом являются севернорусской чертой. Очень интересным является открытие типично «мещерских» языковых явлений. Таких интересных фактов, представленных «Атласом», можно было бы назвать очень много.

Несмотря на ошибки, о которых хорошо знают и авторы «Атласа» и которые являются результатом неудачной для языкознания ситуации (марризм!), господствовавшей в Советском Союзе в период, когда собирали часть материала для «Атласа», можно смело утверждать, что уже издание первого тома является действительно большим и важным событием. С нетерпением ожидаем появления следующих томов «Атласа» и в первую очередь готовых к печати атласов областей к югу от Москвы, на запад от Москвы и окрестностей Пскова и Новгорода. Материал этих атласов сможет показать нам русские диалекты в совершенно новом свете, разрешит многие проблемы сравнительного славянского языкознания и прежде всего поможет в окончательном решении вопроса о возникновении и формировании русского литературного языка.

Возникает еще одно замечание. Мне кажется, что после издания или хотя бы после подготовки к печати всех десяти томов атласа говоров Европейской части России было бы целесообразно издать единый том общих карт, в которых путем показа изоглосс была бы представлена дифференциация русских диалектов. Такие карты форматом 50 × 50 см могли бы значительно облегчить знакомство с основными результатами работ над атласами русских диалектов.

Зд. Штибер

Перевела с польского *Л. Е. Бокарева*

Рецензируемое издание — долгожданная первая публикация атласа русских народных говоров. В составлении «Атласа» принимали участие многие сотрудники Института языкознания (ранее — Института русского языка): Р. И. Аванесов, С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, А. К. Васильева, С. С. Высотский, Л. П. Жуковская, К. Ф. Захарова, О. Н. Мораховская, Е. В. Немченко, В. Г. Орлова. Общая редакция и вступительные статьи принадлежат чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесову.

Как издание в 1915 г. «Опыта диалектологической карты русского языка в Европе» Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколова и Д. Н. Ушакова составило эпоху в изучении русских говоров, так данное издание «Атласа» есть следующая эпоха в разработке русской диалектологии. Значение «Атласа» действительно громадно. С одной стороны, вышедшая часть помогает вскрыть прошлое языка Московской области и прилегающих к ней с востока районов, с другой стороны, данный том и следующие за ним тома должны послужить лучшему изучению истории русского языка. «Атлас»— издание в полном смысле коллективное. В подготовке материала в течение ряда лет принимали участие все вузы страны. Материал собирался на основании предварительно разработанной программы.

Техническая сторона издания основных карт не оставляет желать ничего лучшего. Только о сводных картах приходится сказать, что они не вполне «читабельны». Может быть, в показе их лучше было прибегнуть к многокрасочности? Нередко половинчатые кружки одного или двух цветов (их значение понятно) в пояснениях к картам почему-то не обозначаются. Отмечу, кстати, что на 118 карте я не нашел знака ⊖.

Выше сказано, что «Атлас» в цельном виде — незаменимое по богатству и ценности материала пособие при составлении истории языка. Но и один вышедший том дает материал для разных лингвистических и исторических соображений. Например, картина распространения аканья, данная в томе, как будто свидетельствует о происхождении его на диссимилятивной базе (карта 8). Есть основания думать, что непереходу *е* в *о* каким-то образом препятствовало диссимилятивное аканье (карта 15). Деепричастные формы на *-мши* распространены почти на всей территории тома, но кое-где тут вкраплены формы на *-вши* (карта 166). Можно предполагать, что эти формы на *-еши* и послужили источником для образования форм на *-мши*. Формы вин. падежа ед. числа (прилагательных и под.) на безударное *-уя*, очевидно, не первоначальные, а возникли на основе форм на ударяемое *-у́я* (карты 120 и 121) и т. д. и т. п. Везде данные «Атласа» дают точное определение распространения той или иной черты, например аканья (карта 8) или *к'* после мягких и шипящих согласных (карта 56) (материалы тома вносят уточнение в показания Д. К. Зеленина) и т. д.

В процессе образования Русского государства северновеликорусы постепенно двигались в область южновеликорусского наречия. В «Атласе» имеются любопытные свидетельства этого движения северновеликорусов. Особенно показательна тут лексика. Так, на московской территории по-северновеликорусски известны: *квашня* (не *дежа*, карта 187), *ковш* (не *корец*, карта 188), *суягная* и под. (не *котная* и др., карта 220), *петь песни* (не *играть песни*, карта 231), *бревговать* (не *гребовать*, карта 235), *прятать* (не *хоронить*, карта 236); вовсе не знают здесь *понёвы* (карта 197). Также совсем не знают в московском говоре *кочета* (говорят *петух*, местами *пеун*, карта 218), или вместо *стежки* говорят *тропа*, *тропинка* и др. (карта 230). Но любопытно, например, что постпози-

тивная частица *-от*, типично северновеликорусская, не привилась в московском говоре (карта 182).

На подготовку «Атласа» ушло 7 лет, для его выхода в свет оказалось нужным почти еще столько же, и когда может выйти весь «Атлас»— трудно сказать. Техника издания очень сложна, и потому на периферии томы «Атласа» издаваться не могут. Надо надеяться все же, что, несмотря на все трудности, издание «Атласа» будет доведено до конца.

Обратимся теперь к некоторым критическим замечаниям. «Атлас» составлен с большим размахом. В этом отношении отдельные карты, свидетельствующие об одинаковом явлении, но иллюстрированные различным словесным материалом, могли быть поданы в более компактном виде, будучи сведены к меньшему числу карт. Ср., например, ряд карт о стяжении гласных, о произношении *чн*, о глаголах типа *садить*, *платить* и т. д., об отдельных морфологических явлениях, таких, как твор. падеж ед. числа *ночью́й* (карта 99; ср. *палкуй*, карта 96), дат. и предл. падеж ед. числа *грязе* (карты 98 и 100) и т. д.

В некоторых случаях карты в собственном смысле излишни: например, переход конечного *г* в *к* или *х* (карта 39). Нужно ли давать слово *калякать* (карта 237)? То же самое касается и слова *медведь* (карта 226): ведь чисто фонетически это слово повсюду могло измениться в *ведмедь*; или *кокушка* (карта 229), которое ассимиляционным процессом везде могло приводить к *кукушка*. Излишне и слово *сундук*, при котором дается *сѫндук*: это слово заимствованное (ср. араб. *ṣандиḳ*), поэтому оно могло получить понаслышке второй вариант. О северновеликорусском слове *кербь* (карта 239), как и глаголах, связанных с процессом дерганья льна (карта 210), нужны сельскохозяйственные сведения (где сеется самый лен).

В приложении к картам дана диалектологическая библиография. Хорошо было бы в издании «Атласа» отразить в той или другой форме и итоги предшествующей разработки русской диалектологии, в области которой сделано было немало. Такое добавление повысило бы удельный вес «Атласа». Тогда и помещение диалектологической библиографии полностью бы себя оправдало.

В заключение мелкие замечания. Почему на карте 165 приведена форма страдательного причастия прошедшего времени *выдат*? Эта форма, как и аналогичные образования от других глаголов, имеет повсеместное распространение (более редкое в северновеликорусском). Читатель может подумать, что диалектная форма этого типа свойственна лишь сложению данного глагола с префиксом *вы-*.

На карте 190 приводится (от автора) слово в форме *крынка*. Это областная, не литературная форма слова. Даже Даль дает слово в форме *кринка*. У Ушакова в словаре оба варианта. Поэтому оба варианта, не мудрствуя лукаво, дают и в «Орфографическом словаре русского языка» издания 1956 г. Но большой академический словарь, считаясь с показаниями писателей, правильно приводит слово в одной форме: *кринка*.

Приведу также замеченные опечатки. На карте 1-й (внизу, в пояснениях, строка 2): *оканье* — надо *аканье*; на карте 100-й (внизу, в пояснениях): *к грязе* — надо *в грязе*.

Следует пожелать скорейшего выхода из печати «Атласа русских народных говоров центральных областей к западу от Москвы» и других частей этой работы большого научного и культурного значения.

С. П. Обнорский

«Труды Института языкознания» [АН СССР]. Т. VIII. — М., Изд-во АН СССР, 1957. 517 стр.

Восьмой том «Трудов», посвященный всецело вопросам древнерусского языка, распадается на два отдела. Первый составляют исследования памятников древней Руси со стороны их палеографии, орфографии и фонетики: Л. П. Жуковская, Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV в. (Фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.); О. А. Князевская, К истории русского языка в северо-восточной Руси в середине XIV в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г.) и Т. Н. Кандаурова, К истории древнепсковского диалекта XIV в. (О языке Псковского пролога 1383 г.). В состав второго отдела входят статьи, посвященные синтаксису и морфологии древнерусского языка: В. И. Борковский, Бессоюзные сложные предложения в древнерусских грамотах; С. В. Бромлей, К истории образования форм сравнительной степени в русском языке (История взаимодействия двух типов образования форм сравнительной степени: с суффиксом **-jьs-* и с суффиксом **-ějьs-*) и Н. С. Рыжков, Морфология и семантика именных (отсуществительных) наречий в древнерусских памятниках XI—XIV вв.

Близкие по тематике и структуре первые три статьи начинаются с палеографического описания памятников. Наиболее исчерпывающий палеографический анализ памятника дан в статье Л. П. Жуковской. Поскольку исследуемый Л. П. Жуковской памятник датирован и место написания его известно, целью палеографического его описания было, по словам автора, «проверить свидетельство записи о времени и месте написания рукописи», «возможно более точно установить границы работы отдельных писцов» и «выявить черты, свойственные всем писцам данного списка, для определения в будущем особенностей палеографии и графики рукописей середины XIV в., написанных на территории, примыкающей к Галичу» (стр. 10). Все поставленные автором задачи успешно выполнены. Л. П. Жуковская с большим мастерством и знанием дела исследовала

разлиновку памятника, способ нумерации тетрадей, употребление киновари в заголовках, инициалы, миниатюры, форму букв, почерк писцов. На основании всестороннего анализа Л. П. Жуковская убедительно показала, что рукопись была написана четырьмя писцами (до сих пор было лишь известно, что рукопись является делом разных рук). В конце описания дана сводка «некоторых графических норм писцов Галичского евангелия 1357 г.». Палеографическое описание Л. П. Жуковской является не только ценным вкладом в разработку русской палеографии XIV в., но по способу подачи материала может служить методическим руководством для других подобного рода работ. Описания рукописей, данные в двух других статьях, тоже вносят много ценного в изучение графической системы и норм орфографии XIV в., хотя в смысле полноты и методичности уступают описанию Л. П. Жуковской.

Во второй части каждой из первых трех статей дается фонетическое исследование памятников. И формулировка научных задач, стоящих перед исследователями, и метод самого исследования у различных авторов различны. Как явствует из заголовка, Л. П. Жуковская ставит своей целью восстановить фонетику галичского говора на основании Галичского евангелия 1357 г. В двух других статьях, на первый взгляд, преследуются более скромные цели: палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г. (О. А. Князевская); анализ написаний памятника с точки зрения отражения в них произносительных особенностей писцов с целью «сообщить материалы еще совершенно не изученного, но безусловно интересного памятника древней письменности» (Т. Н. Кандаурова, стр. 179). Однако в другом месте О. А. Князевская формулирует задачу своего исследования как попытку «представить фонетическую систему московского говора середины XIV в.» (стр. 109), а в «Заключении» говорит о воссоздании по материалам памятника живой речи Москвы середины XIV в. Также и Т. Н. Кандаурова на стр. 281 пишет: «На основании написаний памятника... мы можем сделать заключение не только о фонетической системе, характерной для данного писца, но и распространять свое заключение на характеристику фонетической системы одного из древнепсковских говоров в целом».

Статьи Л. П. Жуковской и О. А. Князевской основаны на материалах церковно-канонических памятников, статья Т. Н. Кандауровой — на материале памятника церковно-учительной литературы, однако списка с более раннего оригинала. Возникает вопрос, правомерно ли на основании памятников, написанных церковнославянским, т. е. «русифицированным старославянским» языком, ставить перед собой задачу восстановления фонетической системы великорусских говоров XIV в. и вообще возможно ли такое восстановление? Мы сомневаемся в этом. Неверно, что язык церковноканонических памятников XIV в. «испытал известное влияние старославянской письменной традиции» (О. А. Князевская, стр. 109). Наоборот, будучи старославянским (древнеболгарским), он подвергался влиянию произносительных особенностей, определяющихся диалектной принадлежностью писца. Поэтому трудно говорить об отражении диалекта середины XIV в. в описываемом памятнике (О. А. Князевская, стр. 176) и можно только говорить об отражении в памятнике произносительных особенностей писцов (Т. Н. Кандаурова).

Фонетический анализ памятников во всех трех статьях проведен с большой тщательностью и научной добросовестностью. Авторы хорошо знакомы с литературой предмета и с данными других памятников и современных говоров, с которыми сопоставляются черты исследуемого памятника. Однако иногда создается впечатление, что черты памятника истолковываются автором так, чтобы подтвердились заключения, сделанные раньше на основе диалектных данных. Это главным образом относится к статье Л. П. Жуковской. Например, различение букв *ѣ*, *е*, *и* в соответствии с этимологией в памятнике, являющемся списком более раннего текста, едва ли можно считать достаточным доказательством существования в галичском говоре середины XIV в. особенного звука, обозначаемого буквой ѣ (стр. 60). Заключение сделано, очевидно, на основании данных современного костромского диалекта. Заключение о наличии [δ], так же как и взрывного [г], в говоре писцов Галичского евангелия сделано всецело на основании диалектных данных. Так же утверждение о переходе [е]>[о] перед твердым согласным базируется не на данных памятника. Интерпретация автором единичных случаев в памятнике неодинакова. Так, с одной стороны, Л. П. Жуковская считает, что написания с *о* вместо *е* после шипящих перед твердыми согласными «дают основание полагать, что... уже совершился процесс изменения [е] в [о] в положении под ударением перед твердыми согласными» (стр. 66). На основании трех отклонений от этимологического написания (*сьмиромь*, *дьвѣ*, *жатьвѣ*) делается заключение о смягчении этимологических твердых зубных в положении перед мягкими, хотя переход *ъ* > *ь* перед мягким согласным — явление обычное в церковнославянском языке[1]. С другой стороны, в п. 2 второй главы «Этимологическое *ě* и буква *ѣ*» и в п. 8 «Безударные гласные неверхнего подъема после мягких согласных» единичные случаи смешения *ѣ* с *е*, *и* или мены букв *е*, *и* в заударном слоге не принимаются во внимание. Встречаются в статье и мало обоснованные заключения (п. 4 третьей главы «Долгие шипящие») и даже заключения, сделанные, сказали бы мы, вопреки свидетельству приведенных фактов: материал статьи говорит в пользу гипотезы А. М. Селищева о более позднем переходе

[1] Ср. А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 65.

ху в *хі*. Против утверждения автора об отвердении смягченных зубных перед твердыми зубными говорит приведенный материал. Если допустить, что спорадическое написание буквы *с* вместо этимологического *з* было следствием иноязычного происхождения IV писца (стр. 97), то, принимая во внимание, что ему принадлежит вся вторая часть рукописи (листы 116—177), 1) остается непонятным, почему только в этом пункте проявилось его иноязычное происхождение; 2) все предыдущие заключения, сделанные относительно фонетики галичского говора середины XIV в. на основе материалов IV писца, надо признать лишенными убедительности; 3) нельзя утверждать, что «говор писцов был единым» («Заключение», стр. 102). Приведенные примеры можно объяснить явлением гиперизма, вызванным стремлением противостоять тенденции позиционного озвончения согласных.

В статье О. А. Князевской несколько менее чувствуется тенденция прочесть в памятнике то, что наличествует в современном говоре. Но и тут заметно порой стремление анализировать правописание памятника и делать соответствующие выводы в направлении сближения языка памятника с современным диалектом: на основании одного случая написания *жоне* при постоянном *женъ* и т. п. делается вывод, что «обе буквы обозначают в этих условиях один звук — [о]» (стр. 150). Возможность описок или влияния орфографии оригинала не всегда принимается во внимание. И, наоборот, этимологически правильное употребление писцом, «твердо знающим орфографические нормы» (как неоднократно подчеркивается), например, буквы ѣ в безударном положении перед твердым согласным (стр. 160) или правильность употребления парных звонких и глухих на конце слова (стр. 174) рассматривается уже как отражение особенностей живой речи. Некоторые заключения, как и в первой статье, сделаны всецело на основании современных диалектных данных (например, о наличии взрыва при произношении долгих шипящих, стр. 168). Сравнительно редки случаи, когда автор затрудняется сделать выводы (стр. 171), а таких случаев, как нам кажется, представляется больше: вопрос мягкости или твердости шипящих (стр. 168—170), звонкость или глухость звонких согласных перед следующим глухим согласным и на конце слова (стр. 173—174).

О. А. Князевская, видимо, безоговорочно принимает теорию Л. Васильева о влиянии нейотированных гласных на предыдущий -ъ предлогов в галицко-волынских памятниках XIV в. (стр. 135), который будто бы в положении перед *а-*, *о-*, *у-*, *и-* следующего слова переходит в *-о* с одновременной утратой названными гласными слогового качества. Между тем факт ограничения этого явления почти исключительно церковными памятниками свидетельствует о его книжном характере. В галицко-волынских грамотах XIV в. нам встретился только один пример этого рода: *ото изъбищьного перевога*[1], в котором трудно представить себе потерю слогового качества начальным *и-* (даже если считать его в безударном положении) и возникновение группы согласных *-йзб*. В галицко-волынских грамотах XV в. мы встретили всего 4 аналогичных примера, наряду с которыми, как правило, выступают предлоги на -ъ, -ь или на согласный. Употребление предлогов на *-о* перед нейотированными гласными следующего слова отражает церковно-книжное, более старательное произношение (процесс писания слов, надо полагать, сопровождался мысленным, а может быть, действительным их произношением) и вызвано стремлением писца сохранить слогоделение, не допустить слияния предлога со следующим словом.

Статья Т. Н. Кандауровой, наиболее критичная в отношении исследуемого материала и наименее категоричная в формулировке выводов, в части, посвященной исследованию фонетики памятника, заслуживает, на наш взгляд, особенного внимания. Там, где Л. П. Жуковская начинает свое заключение относительно качества согласного *г* (засвидетельствованного в обоих памятниках сходным материалом) словами: «не остается сомнения...» (стр. 75), Т. Н. Кандаурова пишет: «можно полагать»; «впрочем, не исключена возможность» (стр. 271). Не находя очевидного подтверждения наличия в памятнике твердого *р*, автор оговаривает свою точку зрения: «мы все же считаем...» и т. п. Поэтому несколько удивляет приведенное нами заключение автора о возможности на основании памятника восстановить фонетическую систему древнепсковского говора. Т. Н. Кандаурова в ряде случаев предлагает новые и убедительные объяснения фактов [неразличение конечных [а], [е] в связи с характером произношения шипящих, возникшее до появления аканья (стр. 241—242); написания *про-* вместо *прѣ-(е)* как следствие твердости произношения [р] (стр. 267)], иногда противопоставляет свою точку зрения принятому толкованию [написания *и* вместо *е*, *ѣ* — не севернорусская черта (Шахматов), а явление безударного слога (стр. 249)]. Очень интересна и убедительно аргументирована мысль о перенесении аканья в Псковщину беженцами из южной части Тверской земли. Некоторые выводы статьи, однако, кажутся нам не вполне убедительными: утверждение о различении ударяемых [ѣ], [е] в произношении второго писца, несмотря на написания *е* вместо *ѣ* в слоге под ударением, только на основании отсутствия обратной замены (стр. 215). Засвидетельствованный у второго писца переход *кы*, *гы*, *хы*>*ки*, *ги*, *хи* и последовательное употребление первым писцом (писцом той же эпохи и близкого говора) *кы*, *гы*, *хы* скорее заставляют видеть в последнем случае отражение не произношения, а орфографической тра-

[1] В. Розов, Українські грамоти, т. I, XIV в. і перша половина XV в., Київ, 1928, стр. 4.

диции (стр. 272). Примеры смешения *ы—и* (стр. 255) вероятнее всего считать украинской чертой южнорусского оригинала Пролога. Такого же происхождения может быть и твердое конечное *-м* (стр. 269—270). В целом статья Т. Н. Кандауровой — ценное научное исследование с умелым анализом памятника и интересными обобщениями, с новым объяснением многих фактов.

Второй отдел «Трудов» открывает статья известного исследователя синтаксиса древнерусских грамот В. И. Борковского. Автор основывает свое исследование на материале грамот XI—XV вв., в том числе недавно открытых берестяных грамот и отдельных памятников XVI — начала XVII вв., причем в круг исследуемых памятников включает белорусские грамоты и украинские грамоты XIV в. Слишком широкое значение термина «древнерусский» встречается и в других статьях. Более того, в некоторых статьях (С. В. Бромлей, Н. С. Рыжков) прямо смешиваются понятия «древнерусский» и «русский». Так, С. В. Бромлей говорит то о «русском языке XI—XVII вв.» (стр. 351; получается, что можно говорить и об украинском, и о белорусском языке XI—XVII вв.?), то о «древнерусской письменности XI—XVII вв.» (стр. 355, сн. 9). Н. С. Рыжков к исследованию наречий в древнерусском языке привлекает и материал памятников XIV в., в том числе и древнеукраинских грамот, а для фактов древнерусского языка ищет аргументов исключительно в современном русском языке. Нельзя согласиться с отнесением к древнерусскому периоду памятников XIV в., характеризующихся появлением несомненных черт великорусского и украинского языков и развитием основных черт белорусского языка[1]. Еще меньше можно говорить об отнесении к древнерусскому языку памятников XV, XVI и XVII вв.

Исследование В. И. Борковского, посвященное изучению одной из разновидностей сложного предложения в древнерусских грамотах — бессоюзному предложению, отличается глубиной анализа и методичностью изложения. Выводы, сделанные на основе материала грамот, сопоставляются с данными других древнерусских памятников, с фактами современного русского литературного языка и современных русских говоров. Ценные наблюдения, новые выводы, коррективы, вносимые в высказывания предшественников, обогащают наши познания в области древнерусского синтаксиса. На основе сопоставления с новгородскими берестяными грамотами, представляющими собой частные письма, В. И. Борковский приходит к вполне убедительному заключению, что «в устной речи, где большую роль играет интонация, уже в древнейшую пору русского языка бессоюзные сложные предложения ...были широко распространены, значительно шире, чем в письменной речи» (стр. 296—297). Особенно редки в грамотах бессоюзные предложения со значением временной последовательности. Отмечая более частое употребление бессоюзных сложных предложений в художественных произведениях древней Руси, *тесно связанных с устным* творчеством, автор присоединяется к мнению исследователей, которые считают, что бессоюзные предложения употреблялись в них «с определенными стилистическими целями» усиления динамичности изложения (стр. 295). В основу классификации «бессоюзных сложных предложений, сопоставляемых со сложноподчиненными предложениями с союзами и относительными словами», автор положил синтаксическую функцию второй части бессоюзных сложных предложений и, надо сказать, сделал это с большим искусством, тем более что задача осложнялась наличием ценной структуры древнерусского сложного предложения, которая часто затемняет смысл и делает возможной различную интерпретацию предложения.

В некоторых случаях нам трудно присоединиться к мнению автора. Например, предложения типа *на семь гсне новгородъ всь. хрьстъ целуеть. княжение твое чьтьно дьржяти. по пошлине. безъ обиды* (стр. 299) В. И. Борковский относит к тем бессоюзным сложным предложениям, где вторая часть поясняет первую. По нашему мнению, здесь простое распространенное предложение. Мы не разделяем взгляда В. И. Борковского и на условные предложения с союзом *а* в протазисе. Автор относит их к бессоюзным предложениям на том основании, что «условность в предложениях с *а*, как и в предложениях без *а*, выражалась как порядком слов в обусловливающей части, так и ее местом (препозиция) по отношению к части обусловливаемой, а также соотносительным употреблением глагольных форм в обеих частях, в устной же речи — и интонацией. ...союз *а*...является начинательным, отграничивающим бессоюзное сложное предложение от предыдущего предложения» (стр. 316). Исходя из такой точки зрения, и современные предложения типа *если хочешь, поедем* можно отнести к бессоюзным предложениям. Тем более, думается, нельзя считать бессоюзными предложения с союзом *а* и относительными словами в протазисе типа *а кто, а где*, являющимися в сущности союзными словами. Не очень убедительны аргументы, на основании которых автор статьи сходные синтаксические конструкции склонен считать в одном случае бессоюзными сложными предложениями с определительным значением во второй части (типа *Се купи игуменъ василеи. у матфея. у назарова сна и у его брата. у самуили. на маломъ островке. орамои земли. гоны. с верьхного конца межа от еремеевы земли. а с нижнего конца. до васильевы земли. а сторону межа до ивановы пожни* (стр. 337), в другом же — бессоюзными слож-

[1] Ср. хотя бы три первые статьи в рецензируемом томе, а также: Л. А. Булаховський, Питання походження української мови, Київ, 1956, стр. 37; Е. Ф. Карский, Новый журнал по славянской филологии, ИОРЯС, т. XXIX (1924), 1925, стр. 411.

ными предложениями с присоединительным значением во второй части (типа *и еще есмъ далъ землю полосу на имя сокерку а межи по старым межамъ* (стр. 340). И первый, и второй типы предложений содержат аналогичную стереотипную формулировку, и если не считать ее самостоятельным предложением, такие предложения можно скорее рассматривать как «бессоюзные сложные предложения с добавочным замечанием или пояснением во второй части», по терминологии академической «Грамматики русского языка» (т. II, ч. 2-я, стр. 402). То же можно сказать о примерах на страницах 341—342. Наконец, хотелось бы, чтобы в статье были более подчеркнуты изменения, которые произошли в анализируемых предложениях на протяжении XI—XVII вв. Затрудняет чтение статей рецензируемого тома «Трудов» то, что не выделены другим шрифтом цитаты.

С. В. Бромлей в названной выше статье занимается вопросом способа образования форм сравнительной степени, судя по привлеченным к исследованию памятникам, в древнерусском и в древневеликорусском языках. Исходя из наличия в древнерусском языке двух типов образования форм сравнительной степени при помощи суффиксов *-ĭe//-ĭь-* и *-ĕĭe//-ĕĭь-*, автор пытается установить нормы распределения основ между двумя типами образования. Учитывая, что действовавшие в праславянском языке факторы, связанные с интонацией гласного корня, утратили свою силу в начале древнерусской эпохи, автор ищет на материале древнерусского языка новых критериев распределения типов образования форм сравнительной степени и приходит к заключению, что в древнерусский период типы образования форм сравнительной степени обусловливались качеством конечного согласного основы. Однако уже в древнейших памятниках прослеживается взаимовлияние обоих типов образования форм сравнительной степени. Автор устанавливает два вида этого взаимодействия: более древний, когда одна и та же основа могла оформляться по двум типам образования (*борѣе//борже*...), и более поздний, когда вследствие морфологизации чередования согласных в образовании форм сравнительной степени «во взаимоотношения вступают не типы образования в целом, а отдельные морфемы с признаками того или иного типа образования» (стр. 461) (тип *хуже-хужее*...). Трудно отнести за счет польского влияния исконную древнерусскую форму сравнительной степени *лѣпше* (стр. 363, 410), сохранившуюся до настоящего времени в украинском (*ліпше*) и белорусском (*лепши*) языках. Едва ли следует считать формы *кратошій*, *коротошій* (стр. 405) суффиксальными образованиями. Скорее надо полагать, что *-о-* вместо *-ъ-* является здесь результатом смешения букв *ъ—о*, частым в памятниках XV в. (ср. *Иваноко*, *Воитоко* в галицкой грамоте 1418 г.[1]). Возможно, что буква *-о-* в сознании писца выполняла здесь роль слогоделителя, предупреждающего слияние *т—ш*. Мало убедительно объяснение форм *старишии* и т. д., выступающих в одном и том же памятнике рядом с формами *старѣшему// старешыи* (стр. 447), как форм с редуцированным звуком и с ударением на основе. Параллельное употребление тех же форм с *ѣ*, *е* заставляет скорее предположить здесь смешение *ѣ—и*, *ѣ—е* в подударном слоге, встречающееся в великорусских памятниках XIV—XV вв.

Статья С. В. Бромлей в отношении богатства и способа подачи исследуемого материала, а также в отношении научных выводов — ценный вклад в разработку древнерусской и древневеликорусской морфологии. Однако эта работа значительно бы выиграла, если бы, в соответствии со столь дифференцированным во временном и в жанровом отношении материалом, который был положен в основу исследования (памятники древнерусские и древневеликорусские, церковно-канонические и светские), в ней были бы даны и более дифференцированные выводы. Неприятное впечатление производит небрежная подача примеров из польского и чешского языков [смешение и пропуск диакритических знаков, необозначение чешских долгих гласных (см. стр. 358, 359, 360, 366, 376, 378, 380, 385, 391)]. На стр. 433 под видом чешской приведена украинская форма.

В статье Н. С. Рыжкова рассматриваются наречия древнерусского языка, образованные путем адвербиализации беспредложных и предложных форм родительного и винительного падежей. И богатство приводимого автором материала, и вдумчивый его анализ, и научные выводы делают статью ценным вкладом в разработку морфологии древнерусского языка. Принимая во внимание большую продуктивность в древнерусском языке адвербиализации предложных конструкций, автор в статье больше места отводит именно этим образованиям, причем обращает внимание на неодинаковую степень их адвербиализации, на роль предлогов в семантическом оформлении наречия, дает классификацию предлогов по степени их способности входить в состав наречий.

Объясняя происхождение наречия *вчера* из формы родительного падежа единственного числа *вечера* перемещением ударения в слове, Н. С. Рыжков неверно аргументирует свое положение «естественной закономерностью русской адвербиализации» (стр. 474), упуская из виду, что образование наречия *въчера* — явление не русского и не древнерусского, а праславянского языка. В отношении наречия *дома* автор выдвигает компромиссную точку зрения, примиряющую теории аблативного и локативного его происхождения, и видит в нем продукт слияния обеих форм на *-о*, которые в праиндоевропейском «могли совпадать не только по форме, но и функционально» (стр. 476). Гипотеза Н. С. Рыжкова остается, конечно, только гипотезой. Отметим попутно, что не только в древнерусском и в древних славянских языках, но и в современном украинском

[1] В. Розов, указ. соч., стр. 89.

и польском языках одно и то же наречие употребляется как в значении «куда», так и в значении «где» (ср. укр. *де*, польск. *gdzie*). Нам кажется неубедительной точка зрения Н. С. Рыжкова, считающего сложные наречия *полоунощи*, *полоудьне* формами местного падежа. Восходя к формам родительного падежа в первой и второй частях, приведенные образования уже в старославянском языке могли выступать как сложные имена существительные, неделимые или делимые[1]. Рассматривая предлоги по их способности входить в состав наречий, автору следовало обратить внимание на большую сопротивляемость двух- и трехсложных предлогов, носителей ударения, и подчеркнуть зависимость превращения односложных предлогов в компоненты наречий от степени деэтимологизации формы существительного, с которым сочетается предлог. В наречиях *близъ(ь)*, *низъ*, возникших в праславянскую эпоху, надо видеть образования не от существительных, а от соотносительных имен прилагательных, основ на *-ĭ-*, распространенных впоследствии суффиксом *-ко-*[2].

Трудно согласиться с Н. С. Рыжковым, который видит в наречии *завътра* сочетание предлога *за* с формой винительного падежа существительного *оутро*. Удивляет аргументация, что «русскому языку не свойственно употребление форм родительного падежа имен существительных с предлогом *за*» (стр. 514). Автор упускает из виду, что древнерусский язык не является великорусским языком и что не все закономерности современного русского языка прослеживаются в древнерусском языке. Отметим попутно, что сочетание предлога *за* с формой родительного падежа унаследовал от древнерусского языка украинский язык (*за дня*, *за часу*, *за держави* и т. д.). Несостоятельность предполагаемого автором перехода формы *заоутро*>*заоутра* под влиянием акающих говоров видна хотя бы из сопоставления с украинским *завтра*. Вообще при чтении некоторых статей создается впечатление, как будто авторы их забывают, что древнерусский язык являлся древневосточнославянским, а не древневеликорусским языком. Было бы полезно для убедительности выводов о древнерусском языке, если бы Н. С. Рыжков ограничился материалами XI—XIII вв. Материалы XIV в., периода дифференциации древнерусского языка, могут только затемнить факты древнерусского языка. Так, например, на стр. 486, 512—513 автор приводит только из украинских грамот XIV в. слитные написания наречий *досыть*, *поперекъ*, свидетельствующие о полной адвербиализации предложных падежных форм и о деэтимологизации древнерусского существительного *сыть*.

Из «Предисловия» к VIII тому «Трудов Института языкознания» мы узнаем, что все статьи, за исключением работы В. И. Борковского, «принадлежат молодым авторам и представляют собой обработанные кандидатские диссертации или главы из них». Можно с уверенностью сказать, что в лице их авторов советское языкознание обогатилось талантливыми и серьезными исследователями в области древнерусского и русского языков.

Л. Л. Гумецкая

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ» В «СЛОВАРЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

В апреле 1956 г. в Ленинграде состоялось заседание Ученого совета Института языкознания с участием сотрудников Словарного сектора, посвященное обсуждению вопроса о состоянии работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка». Академик В. В. Виноградов, говоря о недостатках опубликованных томов, между прочим отметил, что «иногда искажается историческая перспектива»[3]. Доктор филол. наук Е. А. Бокарев также говорил в своем докладе о том, что «имеются случаи нарушения и даже искажения исторической перспективы при разработке отдельных слов»[4]. В дискуссии В. И. Борковский особо высказался за усиление элементов историзма в словаре. Это подчеркнул и Б. В. Томашевский, сказав, что «нет необходимости составлять словарь в 14 томов, отражающий только современную норму»[5]; к его мнению присоединились многие сотрудники института. Однако многие языковеды отмечали также, что «нормативность и историзм — несовместимые требования»[6]. Так, по мнению заведующего Словарным сектором Ф. П. Филина, «расположение значений слов в хронологическом порядке — требование при современном состоянии исторической лексикологии невыполнимое, а расположение цитат в хронологическом порядке есть очень наивное понимание историзма»[7].

---

[1] Например, *до полоу дьне* (Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Vindobonae, 1862, стр. 614).

[2] См. в том же томе «Трудов» стр. 456, а также: N. Troubetzkoy, Les adjectifs slaves en *-ъkъ*, BSLP, t. 24, fasc. 1 (№ 73), 1923, стр. 130—137; Fr. Miklosich, указ. соч., стр. 31 (*близъ* — adj. и *близъ* — adv.).

[3] См. Е. А. Земская, О состоянии работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка», ВЯ, 1956, № 5, стр. 95 и сл.

[4] Там же, стр. 97.

[5] Там же, стр. 99.

[6] Там же, стр. 100.

[7] Там же.

При обсуждении IV тома указанного словаря Ф. П. Филин опять говорил о невозможности при современном состоянии науки дать в словаре правильную историческую перспективу[1]. В «Лексикографическом сборнике» Ф. П. Филин пишет: «Академический словарь не является собственно историческим словарем русского литературного языка XIX—XX вв., хотя и содержит в себе элементы историзма»[2].

Соглашаясь с тем, что главной задачей словаря является изложение современных норм, не следует, однако, отказываться и от историзма. Это особенно важно для зарубежных специалистов по истории русского литературного языка, поскольку словари у нас, за недостатком подлинников, очень часто служат единственными источниками для получения верных данных о времени возникновения того или иного термина, развития того или иного значения слова. Приходится подчеркнуть, что справки, имеющиеся в вышедших томах, не удовлетворяют этим требованиям. Нередко составителями недостаточно использовались результаты даже новых советских работ. Так, словарь отмечает слово *договоренность* (т. III, стр. 880) как новое, ссылаясь на толковый словарь Ушакова, между тем как это слово употребляется в изданном П. Н. Берковым и В. И. Малышевым новонайденном памятнике XVIII в. «Повесть о гишпанском дворянине Карле и сестре его Софии»[3]. Для слова же *квасцы* отмечен как старейший источник Вейсманнов лексикон 1731 г., в то время как, согласно работе Т. Райнова «Наука в Россеии XI—XVII веков» (М.—Л., 1940), это слово встречается еще в химическом рецепте XV века: *сари, доколе раскипят квасцы*, а также в «Уставе ратных, пушечных и других дел» (1620): *квасцы, известь не гашеная*[4]. Там же отмечены и другие слова, приписываемые обыкновенно Ломоносову: *негашеная известь, сулема, селитра* и др.[5]

По мнению Е. А. Бокарева, картотека при определении значений слов используется недостаточно. По-видимому, имеются недостатки и в пополнении картотеки — вместо обработки материала оригиналов нередко используются факты старых словарей. При совместной работе всех специалистов, несомненно, можно прийти к «правильной исторической перспективе». Трудно согласиться с тем, что современное состояние науки не позволяет определить реальную перспективу, хотя бы приблизительно правильную.

Многое в этом отношении дает труд Г. Хютль-Ворт «Обогащение русского словарного состава в XVIII в.»[6]. Мы не будем здесь оценивать значение этой работы для изучения истории русского литературного языка вообще[7]. Заметим лишь, что было бы полезно проверить правильность предположения Г. Хютль-Ворт о том, что Н. М. Карамзину не принадлежала основная роль в реформе литературного языка, что он не является основоположником «нового слога». По мнению автора, новый порядок слов, сокращение предложений и ограничение церковнославянизмов — все, что связывается обыкновенно с именем Карамзина[8], — было введено в литературный обиход уже до этого блестящего представителя русского сентиментализма. Г. Хютль-Ворт, несомненно, удается доказать, что Карамзину не принадлежала ведущая роль в обогащении русской лексики — вывод очень важный для дальнейшего изучения истории русского литературного языка. На примере В. К. Тредьяковского, более всех склонного к созданию неологизмов, В. Н. Татищева, Н. И. Новикова и др. Г. Хютль-Ворт показывает, что предшественникам Карамзина принадлежит важнейшее место в эволюции русского литературного языка. Так, слова *будущность, развитие, утонченный*, приписываемые обыкновенно Карамзину[9], создал Новиков.

Нетрудно убедиться в правильности высказывания Г. Хютль-Ворт о том, что ряд справок в имевшихся в ее распоряжении I—III томах словаря «моложе», чем справки ее работы, причем нередко в словаре совсем отсутствует точное указание на источник или дается лишь намек, вроде *Ср.-русск.* (*XVII в.*) и т. п. Особенно ясно это при ссылках на первую фиксацию новосозданных слов. Так, слово *алчность*, для которого отмечен как старейший источник

---

[1] См. И. И. Ковтунова, Обсуждение IV тома «Словаря современного русского литературного языка», там же, стр. 106.

[2] Ф. П. Филин, Заметки по лексикологии и лексикографии, «Лексикографический сборник», вып. I, М., 1957, стр. 38.

[3] П. Н. Берков и В. И. Малышев, Новонайденное беллетристическое произведение первой половины XVIII века, «Труды отдела древнерусской литературы [Ин-та русск. лит-ры АН СССР]», IX, М.— Л., 1953, стр. 424.

[4] Г. Раб отмечает *kwastzi* «квасцы» у Н. Й. Марпергера (P. J. Marperger, Moscowitischer Kauffmann, Lübeck, 1705) (см. H. Raab, Die Anfänge der slawistischen Studien im deutschen Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung von Mecklenburg und Vorpommern, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Festjahrgang zur 500-Jahrfeier», Jg. V, 1955—1956, стр. 363).

[5] См. В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 100.

[6] G. Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien, 1956.

[7] См. рецензию Ю. С. Сорокина на указ. книгу Г. Хютль-Ворт (ВЯ, 1958, № 5); см. также мою рецензию в «Deutsche Literaturzeitung» (Jg. 79, Hf.10, Berlin, 1958).

[8] См. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 169—171, 178—181.

[9] См. там же, стр. 178; см. также Л. А. Булаховский, Исторический комментарий к русскому литературному языку, 3-е изд., Киев, 1950, стр. 63.

словарь Нордстета (1780)[1], встречается еще в «Слове о премудрости, благоразумии и добродетели» В. К. Тредьяковского (1752) и в «Российском Целлариусе или этимологическом российском лексиконе купно с прибавлением иностранных в российском языке во употреблении принятых слов... изд. М. Франциском Гелтергофом» (1771). То же можно сказать о словах *бездейственность* (словарь: 1847; Хютль-Ворт: «Тилемахида» Тредьяковского, 1766), *бурность* (словарь: 1789; Хютль-Ворт: «Тилемахида», 1766), *внимательность* (словарь: 1806; Хютль-Ворт: «О воспитании и наставлении детей» Новикова, 1783—1784) и других.

Правда, сознательная тенденция авторов I—III томов подавать слова гнездами затрудняет выявление того же недостатка по отношению к расширению значений слов, однако все же остается неясным, почему не отмечаются в сносках время или создатель нового значения слова. Так, у существительного *вкус* в словаре отмечено четыре значения, но ничего не говорится о том, когда развились третье и четвертое значения («художественная манера» и «склонность, интерес, любовь к чему-либо»). Приводится только др.-русск. *въкоусъ*... Поликарпов, Лекс 1704: *вк ꙋ съ*... На самом же деле в древнерусском языке слово *вкус* имело только первое и второе значения; в цитированном лексиконе Поликарпова находим лишь «gustus, gustatus, sapor». По Хютль-Ворт, новое значение встречается у Тредьяковского («Тилемахида»): «по *вкусу* нашего века» под влиянием франц. goût, как и в немецком языке «Geschmack, Sinn für das Schöne». К сожалению, работа по разгнездованию и приведению слов в строго алфавитный порядок, проведенная в IV и V томах, в этом отношении ничего не изменила.

Из приведенных примеров ясно, что расположение цитат в хронологическом порядке является не «наивным пониманием историзма», как полагает Ф. П. Филин, но необходимым условием для выявления правильной исторической перспективы.

Редактор IV тома А. М. Бабкин, остановившись на вопросе о перестройке словаря, сказал, что сочетание принципа нормативности с принципом историзма представляет большие трудности для составителей[2]. К сожалению, участники обсуждения не дали практических рекомендаций для преодоления этих трудностей. По сравнению с первыми тремя томами в IV и V томах можно найти целый ряд достижений, касающихся полиграфической стороны, подбора цитат, стилистической характеристики слов и др., но в отношении усиления историзма сделано мало. Если согласиться с предложением А. П. Евгеньевой «восстановить в последующих томах указания на части и главы цитируемых произведений, чтобы словарь мог быть использован в полной мере специалистами-филологами»[3], то тем более необходимо для филологов указывать произведения, в составе которых впервые употребляется новое слово или новое значение уже известного слова. Только тогда получатся верные выводы о процессе приспособления русской литературной речи к выражению западноевропейских понятий, о борьбе национальных стремлений с заимствованиями в области лексики, о поисках точных выразительных средств путем применения разных морфологических элементов (например, латинское *prudentia* передавалось Кантемиром в форме *благорассудствие*, Татищевым *благорассудность*, Сумароковым *благорассудие*, а Тредьяковским *благорассуждение*). Сближение смыслового строя русского литературного языка с семантической системой других языков осуществлялось не в словарях, но в собственно русских произведениях и в переводной литературе. Известно, что в словари далеко не всегда включаются все принятые в употреблении слова, не говоря уже о всех оттенках слов.

У Г. Хютль-Ворт можно найти более точные сведения о следующих, например, словах, включенных в IV и V тома: *жизненность* (словарь: Соколов, Слов. 1834; Хютль-Ворт: «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, 1784—1789), *законоведение* (словарь: Слов. Акад. 1809; Хютль-Ворт: Карамзин, 1803), *занимательный* (словарь: Слов. Акад. 1847; Хютль-Ворт: Карамзин, 1787), *занимательность* (Словарь: Слов. Акад. 1847; Хютль-Ворт: «Письма русского путешественника» Карамзина, 1791—1792), *затейливость* (словарь: 1809; Хютль-Ворт: Карамзин, 1802), *игривость* (словарь: 1809; Хютль-Ворт: «Письма» Карамзина, 1791—1792), *извращение* (словарь: Слов. Акад. 1789; Хютль-Ворт: Тредьяковский, 1760); для слова *изобретательность* даже отмечается толковый словарь Ушакова (1934), между тем как это слово употребляет Новиков («О торговле», 1783—1784): «изобретательность художников и соответствующий ей роскошный вкус»; далее: *изящность* (словарь: Росс. Целлариус, 1771; Хютль-Ворт: «Тилемахида» Тредьяковского, 1766), *коловратность* (словарь: Слов. Акад. 1792; Хютль-Ворт: заглавие басни Сумарокова), *круговращение* (словарь: Даль; Хютль-Ворт: Карамзин, согласно работе Поливанова «Русские прозаики и поэты..», М., 1884) др.

Очень интересными являются данные Г. Хютль-Ворт о развитии отвлеченных, переносных значений некоторых слов, например группы слов, употребляемых пер-

---

[1] Редакция словаря не предполагала давать для каждого отдельного случая указание на наиболее раннюю фиксацию слова в письменных источниках. Ссылки даются лишь на лексикографические и справочные издания, о чем сообщается в предисловии к 6-му тому словаря.— *Ред.*

[2] См. И. И. Ковтунова, указ. соч., стр. 102.

[3] Там же, стр. 104.

воначально в области живописи (*живописание*, *живописный*, *живописец* и т. д. Сюда относятся и слова *картина*, *кисть*, *краска* и др.). Они проливают свет на важный вопрос о закономерностях развития вторичных значений слов, о соотношении семантически близких слов, что может содействовать уяснению системного характера словарного состава языка[1]. И здесь приходится заметить, что справки в словаре даются без учета изменения значений слов. Например, в статье о слове *крылатый* в словаре как источник указан словарь Срезневского, в примерах из которого, однако, это слово употребляется в смысле «имеющий крылья». Согласно Хютль-Ворт, отвлеченное значение встречается впервые у Космы Грека (1710), затем у Тредьяковского («Тилемахида»), между тем как в словарях XVIII в. такое развитие значения слова не зафиксировано.

В предисловии к V тому сказано, что критические замечания и пожелания по случаю выхода IV тома, в частности об исторической перспективе, не могли быть целиком осуществлены в V томе; надеемся, что при подготовке следующих томов редколлегия усилит историческую сторону, чего можно достигнуть и без изменения типа словаря, но уделяя большее внимание языку писателей прошлого.

Курт Габка

M. Mayrhofer. **Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen.** — Heidelberg, Carl Winters Universitätsverlag: Bd. I (*A — TH*) — 1956, 570 стр.; Lf. 9—10 (*D—nij-*) — 1957, 160 стр.; Lf. 11 (*nijáḥ — pásyati*) — 1958, 79 стр.

Выход в свет первых одиннадцати тетрадей «Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка» (они охватывают, видимо, около половины всего словника) является важным событием в области *индологии и индоевропеистики*.

Не считая оригинальных, но в целом неприемлемых попыток ближней этимологии в древнеиндийской науке, приходится признать, что основы этимологии древнеиндийского языка были заложены в XIX в. Тогда же были предложены основные решения относительно этимологии тех или иных слов, которые и сейчас, разумеется, с соответствующими модификациями, составляют основу наших знаний о происхождении древнеиндийских слов. Бурное развитие этимологических исследований в области санскрита нашло свое выражение в фундаментальных работах А. Потта, А. Фика и прежде всего, конечно, в известном словаре К. Уленбека[2].

Словарь К. Уленбека появился шестьдесят лет назад, когда младограмматические принципы считались наиболее авторитетными. Естественно, что основной задачей автора было выявление индоевропейского фонда в древнеиндийской этимологии и установление словарных параллелей из других индоевропейских языков. Эта задача, если учесть, что словарь К. Уленбека претендует на краткость, для того времени была выполнена удовлетворительно. Однако очень скоро выяснилось, что дальнейший прогресс в области древнеиндийской этимологии резко замедлился или даже вовсе приостановился. Основной круг индоевропейских этимологий древнеиндийского языка был, по существу, исчерпан, и в этом направлении работа ограничивалась лишь уточнением деталей. Было установлено, что довольно значительная часть слов не имеет индоевропейских этимологий и что их нужно связывать с дравидийскими и австроазиатскими источниками, которых индоевропеисты, как правило, не знали.

Наконец, в начале XX в. в науке появились новые материалы (по хеттскому, тохарскому и др. языкам), со временем их количество увеличилось, что в свою очередь настоятельно требовало пересмотра и дополнения целого ряда древнеиндийских этимологий под новым углом зрения. Усовершенствование методов этимологического исследования вынуждало к тому же. Тем не менее в течение сорока с лишним лет в области древнеиндийской этимологии было сделано очень немногое, а все попытки создать новый этимологический словарь быстро оканчивались неудачей. Так было со словарем Э. и Ю. Лейманов[3], прервавшемся на первом выпуске (*a — jū*). То же произошло со словарем В. Вюста, содержащим обширное предисловие и лишь четыре статьи (*a* — указательное местоимение, *a* — аугмент, *a* — приватиное, *a* — междометие)[4]. Причины кризиса в этой области были довольно очевидными. Поэтому возникла необходимость выйти из него и определить главные направления в этимологических разысканиях с новой точки зрения.

В 30—40-х годах в основном и наметились новые пути анализа древнеиндийской этимологии. Одно из таких направлений связано с именами Т. Барроу, Ф. Б. И. Кэйпера, автора рецензируемого словаря и некоторых других ученых, которые придают большое значение анализу дравидийских и мундских элементов в древнеиндийском

---

[1] См. мою статью «О состоянии современного учения о „смысловых полях“» («Zum Stand der modernen Wortfeldforschung», «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Vorträge und Reden an der Philosophischen Fakultät anläßlich der 500-Jahrfeier», Jg. VI, 1956—1957, стр. 85 и сл.).

[2] C. C. Uhlenbeck, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache, Amsterdam, 1898—1899.

[3] E. und J. Leumann, Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit-Sprache, Lf. 1, Leipzig, 1907.

[4] W. Wüst, Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen (Altindischen), Lf. 1—3, Heidelberg, 1935.

словаре (справедливости ради сюда следовало бы отнести и В. Вюста, который, как показывает предисловие к его словарю, хорошо понимал важность изучения древнеиндийских слов в связи с субстратом); их трудами вскрыт и объяснен целый слой слов, понятных лишь при учете неиндоевропейского элемента. Другое направление наиболее очевидно представлено многочисленными статьями П. Тедеско, обращающего основное внимание на среднеиндийские элементы санскритского словаря и в связи с этим — на гиперсанскритизмы. Не чужд этому направлению и М. Майрхофер. Наконец, представители третьего направления, интересуясь в основном традиционным индоевропейским слоем древнеиндийской лексики, кладут в основу анализа соединение кропотливой филологической работы, имеющей целью предельно точное определение значения слова из ряда разнородных контекстов, с широким привлечением реалий (культурно-исторических, религиозных, вещественных). Именно такие методы более всего характеризуют исследования П. Тиме.

Этимологический словарь М. Майрхофера должен был подвести итог всем этим исканиям, отразить материалы, появившиеся после словаря Уленбека, и достаточно полно представить научную литературу в области древнеиндийской этимологии (у Уленбека она полностью отсутствует). Автор словаря — М. Майрхофер — молодой немецкий ученый (род. в 1927 г.) с широким кругом научных интересов (сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков, древнеиндийский язык, язык пали, буддизм, субстрат древнеиндийского языка и т. д.). Хорошая подготовка и осведомленность в научной литературе оправдывают смелое решение М. Майрхофера взяться за составление этимологического словаря древнеиндийского языка.

Словарю предпосланы предисловие, список библиографии и введение, в котором рассматриваются различные источники древнеиндийской лексики (индоевропейский фонд, среднеиндийские элементы и заимствования). Анализ различных исторических слоев лексики сопровождается кратким описанием фонетических особенностей, свойственных словам определенного происхождения.

Основные принципы составления словаря излагаются автором в предисловии. Повторяя слова Уленбека о том, что «время для этимологического словаря древнеиндийского языка, по праву носившего бы это имя, еще далеко не пришло», Майрхофер скромно называет словарь кратким, тем самым ограничивая определенным образом свои задачи. Общепринятые индоевропейские этимологии даются в словаре очень лаконично, как правило, со ссылкой на известные этимологические словари, а новые материалы, которые зачастую можно найти только в этом словаре, излагаются подробно. К их числу следует отнести древнеиндийские слова в языках Передней Азии (индийские имена митаннийских царей, индийские термины в трактате Киккули), многочисленные сопоставления с хеттскими, тохарскими, хотансакскими, согдийскими и крито-микенскими словами. Особенно много нового дает словарь в отношении выявления заимствований в древнеиндийском языке прежде всего из дравидийских и австроазиатских языков, а также из иранских, греческого и семитских языков (главным образом из арабского). В отдельных случаях сопоставления простираются вплоть до шумерского и аккадского языков [например, др.-инд. *Umā*—имя жены Рудры-Шивы; ср. шумерск. *umu* «мать»; др.-инд. *Urugulā* — имя змеи (не исключена возможность вавилонского происхождения) и некоторые др.]. Наряду с древними заимствованиями в словаре отмечаются также заимствования в санскрите позднего периода из английского и новоиндийских языков. Кстати, обратные заимствования индийских слов другими языками также не оставлены без внимания, начиная с древних времен (например, *áśmā* «камень» > кассит. *aśmi* — то же; *akāśáḥ* «пространство», «воздух» > греч. ὀλκάς «эфир») вплоть до отдельных современных заимствований английским языком новоиндийских слов, которые иногда приводятся в статьях, посвященных соответствующим древнеиндийским словам [например, др.-инд. *tásaram* «ткацкий челнок» > хинди *tasar* «чесуча» > англ. *tussah*; др.-инд. *tālaḥ* «винная пальма», ср. хинди *tāṛī* «пальмовое вино» > англ, *todd*y; др.-инд. *paryaṅkaḥ* «ложе» > португ. *palanquim* (видимо, через посредство дравидийских языков) > франц. *palanquin*, англ. *palankeen*, нем. *Palankin* и т. д.]. Любопытно, что отмечено даже индийское заимствование в русском языке *badmá* «Seerose», Nelumbium caspicum, проникшее в русский через посредство уйгурского и калмыкского языков

К новым материалам относятся также многочисленные среднеиндийские данные, гиперсанскритизмы и народные этимологии, слова диалектного происхождения, некоторые интересные случаи словообразования на индийской почве, интерпретация неправильных чтений Ригведы и пр.

Рецензируемый словарь намного превосходит по своему объему словарь К. Уленбека. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в нем на букву *a* на 130 слов больше, чем в словаре Уленбека. Если для Уленбека этимология санскритских слов представляла интерес главным образом с точки зрения отражения индоевропейского наследия, то в новом словаре этимология дается с точки зрения санскрита, в связи с чем в словарь включены самые разнородные слова, засвидетельствованные в санскрите, независимо от их происхождения, причем заимствования представляют для автора не меньший интерес, чем индоевропейские слова.

К достоинствам словаря следует отнести полноту и даже некоторую изысканность словника, хотя словарь и называется кратким. В нем есть целые разряды слов, не встречающихся у Уленбека, например: собственные имена людей и богов (среди них наряду с такими распространенными в санскритской литературе именами, как *Kunti*, *Go-*

bhila, *Nala* и др., следует отметить ряд имен, отражение которых в их «праиндийской» форме встречается среди имен митаннийских царей: *Indrotáḥ* — праинд. *Indaruta*, *Ṛtádhāmā* — праинд. *Artatama* и др.; названия народов (*Kurṇāṭāḥ*, *Kaliṅgāḥ*, *Draviḍāḥ* и др.); другие топонимические названия, многие из которых оказываются заимствованиями из языка-субстрата, например названия рек (*Gáṅgā*, *Gaṇḍakī*, *Citranadī*, *Parṇā* и др.). В объеме, значительно большем, чем у Уленбека, приводятся многочисленные названия растений (часто неиндоевропейские заимствования) и животных, названия болезней, научная терминология, заимствованная из арабского и греческого языков (например, *taravī* «квадратура» <араб. *tarbī*, *kaṅvulam* «название восьмой йоги в астрономии» <араб. *qabūl*, *āsphujit* «планета Венера» <греч. Ἀφροδίτη и др.). Кроме того, словник включает в себя также ряд санскритских слов (опущенных у Уленбека), возникших в результате переосмысления целых выражений, таких, как: *itihāsáḥ* «сказание» (<*itiha-āsa* «ведь так было»), *kiṁvadantiḥ* «слухи» (*kim-vadanti* «что говорят?») и др., а также ряд сложных слов из двух элементов. Наконец, приводятся многочисленные слова, встречающиеся только у лексикографов и не засвидетельствованные в памятниках (у Уленбека их нет).

Вполне целесообразно у М. Майрхофера построение словарной статьи. Сначала дается санскритское слово (имя в форме им. падежа ед. числа, глагол в форме 3-го лица ед. числа наст. времени), затем его немецкий и английский переводы и, наконец, объясняется его происхождение. Если слово индоевропейского происхождения, то даются выборочные индоевропейские параллели (те, которых нет у Уленбека, т. е. хеттские, тохарские, хотансакские и др., приводятся обязательно) и затем следует ссылка на один из индоевропейских этимологических словарей. Если слово возникло на индийской почве, то указывается исходная форма (непроизводное слово, элементы словосложения, предполагаемая народная этимология) или же соответствующее среднеиндийское слово, послужившее основой для гиперсанскритизма. Если речь идет о заимствовании, то указывается его источник. Иногда также приведены формы данного слова (обычно у глаголов) и указаны производные слова.

Почти в каждой статье есть библиографические ссылки, и иногда словарная статья перерастает в своего рода этимологический этюд с оценкой различных новых гипотез относительно происхождения данного слова, с указанием на обширную научную литературу (особенно это относится к 9-му, 10-му и 11-му выпускам, в которых характер словаря вообще несколько меняется). Такого рода дополнительный материал (обычно он дается мелким шрифтом) весьма полезен, так как вводит читателя в круг проблем, связанных с наиболее интересными с точки зрения этимологии словами, и знакомит с современным уровнем их разработки (см., например, статьи: *gardabháḥ* «осел», *cárvati* «разгрызать», *duṣ* «плохой», *naḍáḥ* «тростник», *nīrám* «вода», *paṇḍitáḥ* «ученый», *paraśúḥ* «топор» и др.).

Как положительную черту следует отметить то, что автор широко использует данные новоиндийских языков, полностью отсутствующие у Уленбека. Особенно часто приводятся формы из хинди, а также бенгали, непали, маратхи, гуджарати и др. Делается это в тех случаях, когда в санскрите какое-либо слово засвидетельствовано только у лексикографов, но в современных новоиндийских языках встречаются его рефлексы (например, *cukráḥ* «фруктовый спирт», *trúmpati* «ранит», *dhaṭī* «тряпка» и др.), или же слово засвидетельствовано в памятниках, но не имеет ясной этимологии (например, *jáṭā* «спутанные волосы», *tīrtham* «место для купания», *dhūlīḥ* «пыль», *pālālam* «солома» и др.). В ряде случаев этот новый материал позволяет более полно осветить историю отдельных санскритских слов.

Собственные этимологии Майрхофера немногочисленны и представляют собой обычно новые объяснения слов на индийской почве. См., например, удачное объяснение *akṣauhiṇī* «армия» как гиперсанскритизма из * *akkhohiṇī* <санскр. **a-kṣobhiṇī*; *kíṇvam* «дрожжи» < ср.-инд. **kṛṇvam* (с последним связано также собственное имя *Kāṇvaḥ*); *kuṣṭham* «проказа» — перенесение названия растения *kúṣṭhaḥ*, применяемого при лечении этой болезни; *nistriṁśaḥ* «меч» — предположительная народная этимология какого-то заимствования, исходившая из санскр. **nis-tīkṣṇa* «очень острый»; *paṇavaḥ* «вид барабана» — возможная среднеиндийская форма из санскр. *pra-ṇava* к *nāvate* с приставкой *pra* «громко звучать», «реветь»; буддийск. санскр. *pavana* «лес» <санскр. *upa-vana* с утратой начального *u-* и др.

Отличительной чертой рассматриваемого словаря является большое количество дравидийских и австронезийских (последних меньше) этимологий санскритских слов, основанных большей частью на работах Барроу и Кэйпера. В одних случаях эти этимологии весьма вероятны, например: санскр. *tóyam* «вода» — ср. тамильск. *tōy* «быть мокрым», каннада *tō*, *tōyu* — то же [1]; *dolā* «качели» — австронезийское заимствование, о чем свидетельствует префиксация *ăn-dolāyati*, *hindoláḥ* и др. В других случаях они проблематичны и представляют собой лишь один из возможных путей к выяснению этимологии данного слова. Следует отметить, что в последних выпусках словаря (9-м, 10-м и 11-м) количество неиндоевропейских этимологий санскритских слов заметно уменьшилось.

Словарь, однако, не лишен и ряда существенных недостатков, которые вызывают критические замечания. Решение автора приводить, подобно Уленбеку, имена в форме им. падежа ед. числа и глаголы в форме

[1] К. Уленбек дает ряд сомнительных индоевропейских сопоставлений с этим словом.

3-го лица ед. числа наст. времени следует признать неудачным, хотя автор и отстаивает его во введении. Ведь как раз в им. падеже совпадают окончания некоторых типов основ (например, на *-a* и *-as*; на *-ā*, *-an* и *-tar*; на *-u* и *-us*; на *-i* и *-is*; на *-ī* и *-in*), поэтому взятая отдельно форма им. падежа наименее показательна. Из-за того, что слова приводятся в сандхированной форме, автор вынужден в ряде случаев указывать в скобках исходную форму основы, например: *antáḥ* (*r*) «внутри» и *ántaḥ* (*s*) «конец». Что же касается глаголов, то тут выбор основы наст. времени в качестве исходной формы неудачен потому, что целый ряд корней имеет по нескольку таких основ. Иногда в словаре каждой глагольной основе посвящена отдельная статья (например, *karóti* и *kṛṇóti* от *kar*; *gáchati* и *gámati* от *gam*) — и тогда один глагол нужно искать в словаре несколько раз, иногда же несколько основ наст. времени объединены в одной статье (например, *tárati*, *tiráti*, *turáti*, *títarti*, *tarute* от *tar*). Помимо того, что это создает неудобства при пользовании словарем, в этимологическом словаре вообще лучше приводить глаголы в виде корней, а имена — в виде основ.

Как говорилось выше, словник этимологического словаря богат и разнообразен. Это делает особенно важным выделение хронологических пластов санскритской лексики, с тем чтобы можно было отличить древние ведийские формы от слов эпического, классического или буддийского санскрита или заимствований.

В словаре Майрхофера такая хронологическая характеристика регулярно начинает сопровождать слова только в трех последних выпусках (9-м, 10-м и 11-м) в виде кратких помет в скобках, указывающих, начиная с какого памятника встречается данное слово. Далее для краткого словаря санскрита очень желательно было бы давать не только внешнюю этимологию слов, но и их внутреннюю этимологию, т. е. историю слов в самом языке.

В этимологическом словаре слово должно рассматриваться не как изолированная форма, а в составе определенного гнезда производных слов, т. е. должны быть указаны внутренние связи данного слова. Поэтому вызывает сомнение целесообразность выделения в особые словарные статьи ряда таких производных форм одного слова, как каузативных, пассивных, интенсивных, дезидеративных глаголов от одного корня, причастия прош. времени отглагольного имени деятеля на *-tar* (см., например, глагол *jñā-*, у которого отдельные статьи посвящены формам *jānā́ti*, *jijñāsate*, *jñātáḥ*, *jñāpayati*, *jñāyáte*, *jñātā́*). Лучше было бы, вероятно, приводить все эти формы в одной статье, посвященной основному глаголу, следуя гнездовому принципу составления словаря. Соблюдение этого принципа позволило бы также объединить в одну статью некоторые первичные и производные именные формы, например *deváḥ* и *devávān*, *krátuḥ* и *krátumān*, *ghoráḥ* и *ghoratā* и др.

Следует отметить, что принцип составления словаря, принятый Майрхофером, тоже проводится не всегда последовательно, в результате чего часто бывает неясно, каков критерий отбора слов и форм для словаря и в каких пределах словарь должен отражать формообразование и словообразование. Так, например, в качестве отдельной статьи приводится причастие *gatáḥ* от *gam-*, но нет статей на *kṛtáḥ* от *kar-*, *kṣuddháḥ* от *ksudh-* и т. д.; есть статья на *coṣkuyáte* — интенсив от *sku-*, но нет на *dedīyáte* от *dā-*, *gánīganti* от *gam-* и т. д.; дана отдельная статья о пассиве *jñāyáte* от *jñā-*, но нет статей о пассивах от большинства других глаголов. Или, например, сравнительная степень *gárīyān* дается отдельно от положительной степени *gurúḥ*, а *dávīyān* вместе с *dūráḥ*. Отдельные статьи посвящены некоторым приставочным глаголам (ср. *ávabharati* или *uttárati*), в то время как от других глаголов формы с приставками не приведены.

Остается не вполне ясным принцип отбора сложных слов, встречающихся в словаре. Известная недооценка хронологического фактора сказывается в тех случаях, когда автор игнорирует некоторые сложные слова или довольно устойчивые сочетания (обычно из двух слов), находящие точные параллели в ряде других языков и, видимо, являющиеся своеобразными индоевропейскими клише. В частности, непонятно, почему отсутствуют примеры древнейших *bahuvrīhi* типа *ayuj*, сравнение которого с аналогичными образованиями, вроде греч. ἄζυξ (ср. также лат. *conjux*), позволяет реконструировать индоевропейский тип слов с **n̥-*, обладающий некоторыми архаическими особенностями. Нам кажется необходимым, чтобы в словаре нашли отражение и некоторые другие типы старых сочетаний с частицей *a-*, если только они находят параллели в других языках и являются наследием периода диалектного дробления индоевропейского праязыка. Поэтому вызывает недоумение отсутствие *ádeva-* при греч. ἄθεος и др. Кстати, игнорирование подобных образований не позволяет автору установить в полной мере значение привативного *a-*, поскольку остаются скрытыми процессы, которые в ряде случаев привели к переосмыслению старого сепаративного *a-*[1].

М. Майрхофер не пытается исследовать случаи различного контекстного окружения того или иного слова, что сейчас должно быть признано решающим условием семантической реконструкции[2]. Поэтому понятно и игнорирование индоевропейских фразео-

---

[1] См. J. Puhvel, Indo-European negative composition, «Language», vol. 29, № 1, 1953.

[2] См. E. Benveniste, Problèmes sémantiques de la reconstruction, «Word», vol. X, № 2—3, 1954; см. также целый ряд работ того же автора, в которых содержится анализ конкретных фактов в связи с новыми принципами. Среди этих работ особого внимания заслуживает его статья «Homophonies radicales en indo-européen» (BSLP, t. 51, fasc. 1, 1955), поскольку в ней анализируются случаи, взятые в предельно сложных условиях.

логизмов типа *śravaḥ akṣitąm* или *iṣiram manaḥ* и т. д. в новом словаре. Однако совсем трудно примириться с тем, что не учтены некоторые сложные слова, являющиеся древнейшим индоевропейским наследием и, как правило, представляющие первостепенный интерес для изучения культурно-религиозных представлений древних индоевропейцев. Ср. недавно указанную А. Хейбеком параллель к ведийск. *íṣu-hasta* в греческом эпитете Артемиды ἰοχέαιρα[1] или приведенное М. Шеллером сравнение древнеиндийского типа *gó-agra* (ср. RV, VI, 39, 1) с греч. βόαρχος[2]. То, что диалектные связи древнеиндийского словаря в труде М. Майрхофера остались в тени, неизбежно приводит к неопределенности в области хронологии.

В заключение сделаем некоторые частные замечания. Анализируя глагольный аугмент *a-*, автор несколько сужает изоглоссу этого явления, не упоминая о фригийском языке (ср. εδαες). Совершенно верно М. Майрхофер отбрасывает старое сопоставление др.-инд. *aṁśúḥ* со ст.-слав. *ǫsъ*, однако причина несогласия со старой точкой зрения остается не вполне ясной без упоминания ирл. *fés* «борода» (прусск. *wanso*).

Относительно связи *áṁhaḥ* «страх» и *aṁhúḥ* «узкий» ср. вышедшую позднее богатую материалом статью И. Гонды[3]. Не совсем понятно, почему ст.-слав. *хзость* сопоставлено с *áṁhaḥ*, а не с *aṁhúḥ*, сходным с ним и по значению. Кстати, наиболее близкой семантической параллелью следует признать не старославянское слово, а чешское *úzkost* «страх; узость».

Сопоставление др.-инд. *ákam* с греч. ἀπάτη, ἐπτω, принимаемое Майрхофером вслед за Кэйпером, едва ли верно, так как есть основания думать, что π в указанных греческих словах восходит к и.-е. **p*. С другой стороны, *ákam*, видимо, нужно сравнивать с арм. *ox*, алб. *keq* (*k-* исторически относится к приставке) и т. д.[4].

Автор словаря справедливо не соглашается со старым сравнением др.-инд. *aktā* (см. RV, I, 62, 8) с индоевропейскими словами со значением «ночь» (ср. лат. *nox*) и видит в нем причастие от глагола *anákti*. Нужно думать, что и для *aktú-* «последняя часть ночи; темнота перед рассветом» следовало бы отказаться от сравнения с индоевропейским корнем **ṇktú-* и связывать его с *anákti*, тем более что семантический переход от «мазать» к «темный» («слепой») и далее к «ночь» может быть подтвержден рядом примеров. Ввиду того, что прусское *anctan* «масло» не дает основания для предположения **ṇ*, а др.-инд. *añj-*, *anákti* как глагол VII класса восходит к **a-n-ég-ti*, возникает отдаленная возможность сравнения с инфигированным литовским глаголом *akti*, *anka* «терять зрение» (ср. *aklas* «слепой, темный»).

Поскольку значение *akrá-* до сих пор остается очень неопределенным, трудно говорить о его этимологии. Однако, кажется, ни один из контекстов не намекает на значение, которое могло бы противоречить связи с *ákra-* «бездействующий». Напротив, если принять интерпретацию этого слова А. Людвигом («Säule»), то его этимология во многом напоминала бы объяснение слова *naga* «гора», «дерево», поддержанное многими лингвистами от Панини и Вопадевы до Уленбека.

М. Майрхофер, отбрасывая старое сравнение с лат. *ālea*, сопоставляет др.-инд. *akṣá* «игральная кость» с *akṣi* «глаз». В качестве семантической параллели этого не сразу очевидного перехода значений можно было бы привести русск. *очко* (термин игроков в карты или кости) при *око*.

Что касается *akṣṇóti* «кастрировать», не ясного Майрхоферу, то мы в качестве гипотезы предложили бы сравнить это слово с др.-инд. *kṣṇauti* «точить, острить», а в *a* — видеть приративную частицу. В таком случае *akṣṇóti* (от соответствующего имени[5]) могло бы значить: «лишать острого»; ср. отчасти нем. *entmannen*. К др.-инд. *ajá-* после превосходной этимологии А. Янцена[6] можно теперь прибавить и слав. *jazъ*.

Едва ли нужно предполагать дравидийский образец для др.-инд. *áṭati* ввиду однозначной формы без церебрального *-ṭati*, имеющей индоевропейские связи. Сведение *ataśí-* и *átithi-* к *átati* автор должен бы был подкрепить словообразовательным анализом. Точно так же едва ли можно в статье об *apapitvám*, однажды встречающемся в Ригведе (III, 53, 24), избежать ссылки на зафиксированные в том же памятнике *abhipitvá-*, *āpitvá-*[7], *prapitvá-*. Без учета распределения корня *pitva-* вряд ли удастся установить значение ведийского ἅπαξ λεγόμενον *apapitvá-*.

Одно из интереснейших и до сих пор еще не совсем ясных ведийских слов — *apsarás* «апсары, род нимф»[8]. Легко можно

---

[1] A. Heubeck, Ἀρτεμις ἰοχέαιρα, BzNf, Bd. 7, Hf. 3, 1956.

[2] M. Scheller, τρίττοια βόαρχος, KZ, Bd. 74, Hf. 3—4, 1956.

[3] J. Gonda, The Vedic concept of *aṁhas*, «Indo-Iranian journal», vol. I, № 1, s'Gravenhage, 1957.

[4] См. B. Čop, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. I, KZ, Bd. 74, Hf. 3—4, 1956.

[5] Оно было бы родственно литов. *skujà* и соответствующему славянскому слову.

[6] См. ZfslPh, Bd. XVIII, Hf. 1, 1942.

[7] Речь идет об *āpitvá-* (RV, VIII, 4, 3), противопоставленном *prapitvá* и опущенном М. Майрхофером, а не об *āpitvá-* «дружба».

[8] Исключительное значение эпизодов, в которых участвуют апсары, для выявления следов матриархальных отношений в ведийском обществе недавно подчеркнул Э. Герольд. См. E. Herold, Group-marriage in Vedic society, AO, XXIII, 1—2, 1955, стр. 63—76 [особое внимание обращается на известный гимн об Урваши (RV, X, 95) и связанное с ним место из Шатапатхабрахманы (XI, 5, 1); ср. также D. D. Kosambi, Purūravas and Urvaśi, «Journ. of the Bombay branch of the Royal asiatic society», vol. 27, 1951].

согласиться с М. Майрхофером и рядом других ученых, по мнению которых очень важной является ассоциация с названием воды *ap*. Для известного периода дело обстояло именно так. Однако наличие таких слов, как *psárus* и *mádhu-psaras*, заставляет предполагать возможную народную этимологию и, во всяком случае, не упускать из виду старое объяснение *apsarā́s* из **a-psarā́s* (**a-bhs-ara-* при **bhas-*, ср. *bábhasti*, *psáti* и т. д.), даже не упомянутое автором рецензируемого словаря.

В статье, посвященной *abhi*, имело смысл указать на реликты старого значения этого предлога, просвечивающего кое-где в композитах (ср., например, *abhivlaṅgáḥ* и др.). Здесь же весьма неточно указаны значения слав. *обь* «an, gegen».

Не можем согласиться и со сравнением *áraṇaḥ* с др.-лат. *ollus* или ст.-слав. *лани*. Более удачным кажется нам предположение о связи *áraṇaḥ* и других относящихся сюда форм с наречным корнем **ar-*, обозначавшим некогда, видимо, что-то вроде «вне, снаружи; далеко, в стороне» и т. д. Несомненно, что такой круг значений никак не противоречит установленному П. Тиме[1] общему значению др.-инд. *arí-* «Fremdling».

Кроме того, приняв корень **ar*, можно бы было связать *áraṇa-* не только с *arí-*, *ārā́t*, *ā́rya-*, но и с *arvā́ñc*[2]. Наличие в самом древнеиндийском языке наречий *āre* «вдали», *ārā́t* «издали», а также довольно многочисленные параллели из других языков (ср. литов. *oriẽ*, *orañ*, латыш. *āran*, возможно, иероглифич. хет. *ara-* и лув. *ar (r) ai-* «длинный», тохар. *aryu-* с тем же значением, а также более отдаленные как в фонетическом, так и в семантическом отношении слова) делают особенно вероятным наше предположение.

Нельзя ли не объясненное М. Майрхофером *árpisa* «сердце» связать с *arpáyati* — каузатив от *r̥ṇóti* «двигаться, подниматься» (причастие прош. времени *arpita-*, *-sa* — известный суффикс)? В статье *ávi-* «овца» пропущено иероглифич. хет. *hauas*.

Предположение, согласно которому в названии реки *Ašvarathā* можно видеть эквивалент лат. *aqua*, кажется нам невероятным. Более целесообразно, вероятно, вспомнить о многочисленных «лошадиных» гидронимах с указанным корнем (ср. литов. *Ašva*, русск. *Осьва* и т. д.); к тому же *rátha-* «колесница» лучше, естественно, согласуется с *áśva-* «лошадь». Убедительность этимологии слова *asinvá* (ср. и.-е **sā-*: **sə-*) стала бы еще более очевидной, если бы автор привел словообразовательные параллели типа *pinvant-* при *pā-*.

Непонятно, почему, анализируя др.-инд. *ā* «близ» и т. д., автор не упоминает известного со времени Ф. Фреде и И. Шмидта сравнения с лат. *ā* «от», много дающего для уточнения семантики этого слова[3]. При объяснении др.-инд. *ādí-* «начало» напрашивается сравнение с литов. *pradžià* «начало» (из **pra-dī̥ ā*). Не указано одно из основных значений слова *indriyá-* «органы чувств».

К анализу др.-инд. *iṣirá* теперь следовало бы привлечь и соответствующее слово из текстов линеарного В, рассмотренное Л. Р. Палмером (между прочим, в связи с *iṣirá-*)[4].

Приведенное в словаре сравнение др.-инд. *ī́śe* со слав. *istъ* (вслед за Стангом) кажется, не вполне убедительно, поскольку первоначальное значение *istъ* («тот же тот самый, именно тот») отличается от того, из которого исходят Станг и Майрхофер («wahr», «echt»). Поэтому более целесообразным, видимо, нужно считать сравнение с лат. *iste*.

Мало удачно сравнение др.-инд. *r̥ghāyáti* с литов. *aržùs*. И в фонетическом, и в семантическом отношении гораздо более подходит литов. *iržùs*, *irzùs*, *irzlùs*, *ir̃žti*, *érzinti* (ср. также *ерзать* в восточнославянских языках). Естественно, что эти параллели еще более точно подходят к др.-инд. *ŕ̥jyati*, с которым М. Майрхофер сопоставляет ряд крайне неубедительных форм из разных языков.

Не вполне понятное *-v-* в др.-инд. *éva-* могло бы быть объяснено в духе Я. С. Отрембского[5].

Для слова *kātara* «растерянный, лишенный мужества» предлагается довольно проблематичное объяснение из *katará* «которое из двух» (предполагается: «должно сделать»). Может быть, более вероятным был бы анализ *kā-tara* «плохо преодолевающий, слабо активный», при котором принимается пейоративное местоименное *kā-* (ср. *kā-puruṣa* «трус, негодяй», собственно, «плохой человек»), и *-tara-* «достигающий, преодолевающий, побеждающий» (ср. образования типа *druhaṃ-tara-* «побеждающий чудовище», древность которого засвидетельствована Ригведой)[6].

---

[1] P. Thieme, Der Fremdling im R̥gveda. Eine Studie über die Bedeutung der Worte *ari*, *arya*, *aryaman* und *ārya*, Leipzig, 1938. См. также недавнее дополнение В. И. Абаева («Из истории слов. Ведийское *arí-*, осетинское *æcægælon*», ВЯ, 1958, № 2).

[2] Расширитель корня *-v-* встречается и в других, видимо, сюда относящихся словах; ср. ст.-слав. *равьнъ* из **orvьnъ* (**aru̯-in-*). Древность указанных слов подтверждалась бы и чередованием **ar-u̯-*: **ar-i̯-*.

[3] См. также E. H. Sturtevant, Sanskrit *ā* «near» is cognate with Latin *ā* «from», «Language», vol. 15, № 3, 1939.

[4] См. L. R. Palmer, A Mycenaean calendar of offerings (PY Kn 02), «Eranos», vol. LIII, fasc. 1—2, 1955.

[5] См. J. Otrębski, Les traces de l'alternance indo-européenne *i : u* en hittite, AO, vol. 18, № 1—2, 1950, стр. 366—372.

[6] Относительно значения *-tar* см. P. Thieme, Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte («Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akad. der Wissenschaften zu Leipzig», Phil.-hist. Klasse, XCVIII, 5), Berlin, 1952, стр. 5—11.

Глагол *chupáti* «трогает, касается» обычно сопоставляют с гот. *(af-)skiuban*, др.-в.-нем. *sciopan*. Из-за фонетических соображений М. Майрхофер сомневается в правильности подобного сопоставления (германские примеры предполагают старое *-bh-*); добавим, что и с точки зрения семантики германские параллели небезупречны. Более убедительным представляется сравнение с русск. *щупать* (ср. также соответствующие формы других славянских языков), поскольку и *chupáti*, и *щупать* могут быть возведены к **sk'eup-*. Сопоставление др.-инд. *carú* со слав. *kory* (*to*), предложенное К. Мошинским, видимо, осталось неизвестным М. Майрхоферу, хотя, конечно, оно не может считаться достаточно убедительным.

Непосредственное сравнение др.-инд. *táskara-* «вор, разбойник» с русск. *таскать*, *тащить* едва ли правильно ввиду чеш. *tasiti*, заставляющего предполагать некогда существовавшее отношение **ta-*: **ta-s-*: **ta-sk*. Если бы *-s-* в древнеиндийском слове оказалось расширителем более обычного корня **ta-* «таить, воровать», то было бы соблазнительно *táskara-* интерпретировать как «совершающий воровство».

Наиболее близкую параллель к др.-инд. *dávati*, вероятно, следует искать в литов. *-dava-*, употребляющемся для образования прошедшего многократного.

Обычно М. Майрхофер указывает так называемые «ритмические» дублеты, однако в некоторых случаях такие указания отсутствуют; ср. *dhvánati* — *svánati* с одним и тем же значением или *ḍiṅgara-* — *kiṅkara-* (*kim-kara*) «слуга», вовсе не помещенное в словарь.

Упущения в этимологической литературе у М. Майрхофера ничтожны. Количество опечаток также невелико (ср. *oglь* вместо *ǫglь*, *kẽras* вместо *kẽ̆ras* и т. д.). В целом же, несмотря на известные недостатки, «Краткий этимологический словарь санскрита» представляет собой весьма полезное пособие; остается надеяться на скорый выход в свет последующих тетрадей словаря М. Майрхофера.

(12-й вып. словаря вышел из печати после сдачи рецензии в набор. — *Т. Е.*)

Т. Я. Елизарёнкова, В. Н. Топоров

«Эйгогаку дзитэн», [сост.] Итикава Санки. — [Изд-во] «Кэнкюся», Токё, 1956 («The Kenkyusha dictionary of English philology», edited by Sanki Ichikawa, Tokyo, 1956). 1188 стр.

Издательство «Кэнкюся»— одно из крупнейших издательств в Японии — уже давно издает японско-английские и англо-японские словари. Таких словарей к настоящему времени издано очень много и притом всяких типов, в зависимости от размера (от полных до карманных), от характера (для общего употребления и различных учебных), от назначения (общих и специально-практических), от содержания (отраслевые словари). Изданы обширный англо-японский фразеологический словарь, англо-американо-японский литературный словарь и др. Следует отметить, что все эти словари создаются самим издательством, имеющим постоянно действующий аппарат: компетентных лексикографов, которые непрерывно работают над подготовкой дополненных и улучшенных изданий уже выпущенных словарей, а также подготавливают новые. Такая обширная деятельность объясняется тем особым местом, которое занимает в японской культуре английский язык: главным образом через этот язык японцы знакомятся с европейской и американской наукой, техникой, литературой; очень большое число английских слов вошло в лексический состав современного японского языка.

Все это побудило издательство создать фундаментальное пособие для людей, имеющих дело с английским языком. Это пособие выпущено в виде обширного «Словаря английской филологии». Редактором словаря является один из крупнейших англистов Японии — проф. Санки Итикава. Этот монументальный труд значительно шире своего названия; его правильнее было бы именовать «Энциклопедией общего языкознания и английской филологии, с включением методики преподавания иностранных языков и других аспектов прикладной лингвистики». Категории общего языкознания представлены в книге очень широко. См., например, такие термины, как *алфавит*, *международный язык*, *языковое изменение*, *лингвистическая география*, *классификация языков*, *палеография*, *части речи*, *фонема*, *фонология*, *фонометрия*, *фонетический закон*, *происхождение языка*, *классификация языков*, *язык жестов*, *грамматика*, *грамматическая категория*, *внутренняя языковая форма*, *язык и речь*, *семантика*, *семантическое изменение*, *теория субстрата*, *теория волн* и др. Подробно, в специальных статьях разъясняется устройство органов речи; например, см.: *гортань*, *альвеолы*, *легкие*, *десны*, *диафрагма*, *дыхание*, *спинка языка* и проч., а также освещаются различные методы фонетического и антропофонического исследования (ср. *авто-ларингоскопия*, *осциллограф*, *палатограмма*, *кимограф*, *искусственное нёбо* и т. п.), разные методы и понятия, связанные с изучением и преподаванием иностранных языков (например, *метод Берлица*, *метод Гуэна*, *интенсивное чтение*, *вопросы и ответы*, *подстановочные таблицы*, *адаптация текстов*, *выбор словаря* и др.), разнообразные термины из области метрики

и теории словесности, включая и мало известные термины, вроде, например: *ischiorrogic*, *bacchius*, *sapphic stanza*, *sestina*, *stichomyth*, *telestich* и проч. В книге дается подробное описание всевозможных языков, включая языки, никакого отношения к германской филологии не имеющие, такие, как языки *банту*, *бразильский* и др.

Книга включает, кроме того, обстоятельные статьи (в подавляющем большинстве случаев с *портретами*) не только об ученых — англистах и германистах, но и вообще о классиках общего языкознания, таких, как Бопп, Марти, Гримм, Пауль, Раск, Уитни, де Сосcюр, Вандриес, Гумбольдт и другие. Очень широко используются не только монографические работы, но и статьи из журналов, например из журн. «Acta linguistica», «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague» и проч. В книге даются необходимые пояснения к названиям разных лингвистических объединений и организаций, таких, как Международная фонетическая ассоциация, Международная ассоциация искусственного языка и др. Понятия и категории, разработанные в англистике, включаются как отдельные заголовочные слова даже и в тех случаях, когда они выражаются двумя, тремя и более терминами, например: *modal preterite perfect*; *compound personal pronoun*; *individualizing definite article*; *sham non-prepositional object*; *simple copulative coordination*; *relieving copulative coordination*; *sentence-modifying adverb*; *adverb denoting number or amount*; *adverb of affirmation or negation* и т. д. Заголовочные слова даны по-английски, толкования и комментарии — на японском языке.

Книга снабжена указателем, позволяющим быстро отыскивать термины и объяснения, не выделенные в отдельные заголовки или же дополнительно разъясняемые внутри других словарных статей; приложена также обширная библиография. Отметим, что, просматривая библиографию, мы не нашли там ни одного указания на работы не только советских англистов, но и советских германистов вообще, хотя в библиографии содержится особый раздел «Общее языкознание. Германские языки». Следует сказать, что другие японские лингвисты не игнорируют советскую научную лингвистическую литературу. В этом можно убедиться по недавно выпущенной тем же издательством огромной двухтомной энциклопедии «Языки мира» («Сэкай гэнго гайсэцу»), японского аналога известного французского издания под редакцией А. Мейе и М. Коэна[1]: в этом издании во всех нужных случаях учтена литература на русском языке и имеется даже специальный указатель русских работ.

В заключение мы хотим обратить внимание советских языковедов на тот факт, что до сих пор в нашей стране не имеется труда, подобного рецензируемому словарю, как в области иностранных языков, так даже в области русского языка, русской филологии. В Японии же существует и капитальнейший «Словарь отечественного языкознания», т. е. японской филологии («Кокугоґáку-дзитэ́н»)[2]. Советское языкознание имеет достаточно возможностей, чтобы создать аналогичные работы, во многом даже превосходящие такие же труды в других странах. Не следует ли нашим лингвистам обратить на этот вопрос должное внимание?

О. С. Ахманова, Н. И. Конрад

N. Chomsky. **Syntactic structures.** — 's-Gravenhage, 1957. 116 стр. («Janua linguarum», IV).

Книга Н. Хомского «Синтаксическая структура» является попыткой создания формального синтаксиса языка, т. е. синтаксиса, построенного как описание сочетаемости слов, без обращения к значениям слов или синтаксических конструкций. Попытки формализации лингвистического описания могут представлять интерес для языкознания по двум причинам: во-первых, они дают возможность применять при описании языка уже разработанный аппарат различных областей математики, способствуя, таким образом, точности лингвистической теории; во-вторых, формальное описание языка может быть полезным для некоторых практических применений лингвистического анализа, например, в машинном переводе или при построении информационных машин. В связи с этим книга Хомского несомненно заслуживает внимания.

Для характеристики исходной позиции автора существенны определения, которые он дает следующим основным понятиям. Языком называется множество предложений, которые считаются грамматически правильными (см. ниже).

Такой подход к «языку» обычен в математической логике. Под грамматикой понимается некоторый логический механизм (logical device), который производит грамматически правильные предложения. Иными словами, грамматика — это конечный набор правил, по которому из конечного числа элементов определенного типа можно получить бесконечное число предложений языка, синтезировать текст.

Грамматика «производит» предложения в их «естественной» форме, т. е. в фонологической транскрипции. Она состоит из следующих частей: правила сочетаемости слов, правила превращения слов в последовательность морфем и правила перевода морфем в сочетания фонем, с учетом мор-

---

[1] См. сб. «Les langues du monde, par un groupe de linguistes sous la direction de A. Meillet et M. Cohen», Paris, 1952.

[2] См. Н. И. Фельдман, Японский «Словарь отечественного языкознания», ВЯ, 1956, № 4, стр. 122.

фонологических закономерностей. Фонологические, морфонологические и морфологические вопросы автор считает решенными; поэтому центральное место в работе занимает синтаксис[1].

Грамматические правила составляются по определенной модели; модель обычно заимствуется из той или иной области математики. Каждая новая модель дает новую «грамматику». Лингвистическая теория есть сравнение нескольких таких грамматик одного и того же языка, которое устанавливает, какая из возможных грамматик наилучшим образом соответствует данному языку. Главными критериями, на основе которых лингвистическая теория должна сравнивать и оценивать грамматики, являются, по мнению автора, следующие: 1) «полнота» (грамматика должна производить все предложения, которые мы считаем грамматически правильными, и при этом *производить возможно меньше грамматически* неправильных предложений); 2) «объяснительная сила» (грамматическая структура предложения, установленная этой грамматикой, должна соответствовать его семантической структуре; см. об этом также ниже, раздел 2).

Лингвистическая теория в таком понимании представляет собой формальную теорию, состоящую из ряда аксиом и теорем. *Доказательства этих теорем* даны в статье того же автора «Три модели описания языка»[2]; в рецензируемой книге лингвистическая теория излагается следующим образом: последовательно формулируется ряд положений, а затем приводятся примеры, подтверждающие их справедливость.

Следует отметить, что пути построения точной лингвистической теории, намечаемые автором, существенно отличаются от того подхода к этой проблеме, которым характеризуются, например, работы З. Харриса и некоторых других американских лингвистов. Харрис стремится выработать точные методы описания языка, т. е. своего рода механические правила, позволяющие на основе данного конечного текста установить его грамматику. Хомский считает такую задачу невыполнимой. По его мнению, методы анализа текстов, т. е. методы составления грамматики, не могут быть достаточно формальными и точными. Вообще рассмотрение способов создания грамматики в задачи лингвистической теории, по мнению Хомского, не входит.

Основную часть книги составляет анализ трех различных грамматик английского языка, точнее — трех схем грамматики, так как ни одна грамматика не построена полностью.

Для первой грамматики математической моделью являются марковские процессы, для второй — формальные системы *математической логики; третья* грамматика построена на основе той же модели, что и вторая, и является по существу ее расширением и видоизменением.

В число понятий, которые автор считает исходными (неопределяемыми), входит понятие грамматически правильного предложения. После того как грамматика будет построена, грамматически правильными будут те предложения, которые производятся *этой грамматикой*. Однако предварительно необходимо дать содержательное описание этого понятия. Автор показывает, что множество грамматически правильных предложений не совпадает со множеством предложений, «действительно встретившихся в текстах», множеством «осмысленных» предложений или предложений, построенных как статическое приближение к языку. Отличительным признаком такого предложения, которое интуитивно ощущается как грамматически правильное, автор предлагает считать интонацию.

Последовательность слов *идея яростно спит* будет произнесена с нормальной интонацией повествовательного предложения, хотя это «предложение» едва ли является осмысленным и, вероятно, никогда не встретится в тексте; в то же время последовательность слов *сплю идея яростно* (не составляющая грамматически правильного предложения) скорее всего будет произнесена как перечисление отдельных бессвязных слов. Однако достаточно надежным критерием для выделения множества грамматически правильных предложений и этот признак, по мнению автора, служить не может. Таким образом, автор вынужден признать, что первоначальный отбор грамматически правильных предложений в значительной степени произволен.

Сравнение грамматик с точки зрения «полноты» в одной своей части возможно и без использования понятия грамматически правильного предложения: можно утверждать, что одна грамматика является «менее неполной», чем вторая, если она производит все те предложения некоторого действительного текста, которые производит вторая, плюс такие, которые она не способна производить. Необходимость понятия грамматически правильного предложения возникает лишь при оценке количества «лишних», т. е. грамматически неправильных, предложений, которые производит грамматика; здесь автору приходится опираться на «интуитивное» представление о грамматически правильном предложении.

---

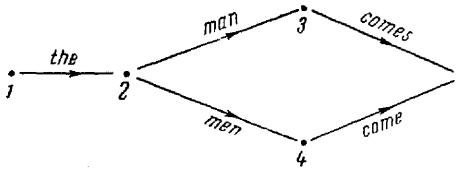
[1] Н. Хомский не считает различие между синтаксисом и морфологией принципиальным; в соответствии с этим исходной единицей описания, т. е. тем элементом, на основе которого составляются грамматические правила, могут быть как слово, так и части слова — основа и словоизменительный аффикс. Поскольку в английском языке основа часто совпадает со словом, мы будем в дальнейшем, для простоты, называть основную единицу грамматики Хомского словом.

[2] N. Chomsky, Three models for the description of language, «I. R. E. Transactions on information theory», vol. IT-2, Proceedings of the symposium on information theory, Sept., 1956.

*

Первая модель, которую рассматривает Н. Хомский,— это марковский процесс с конечным числом состояний. Построенная на основе этой модели грамматика называется «грамматикой конечного числа состояний». Марковский процесс является одним из видов вероятностных процессов. Мы говорим о марковском процессе, если имеется такая последовательность случайных событий, когда каждое данное событие полностью определяет вероятность каждого из событий, которые могут следовать непосредственно за ним; иными словами, в марковском процессе вероятность каждого события полностью зависит от того, *каким было предшествующее* событие. Число состояний в этом процессе будет конечным, если конечным является число событий, дающих отличные друг от друга распределения вероятностей для следующего события.

Автор использует лишь самую общую схему марковского процесса. Как случайное событие здесь рассматривается появление данного слова в данной точке предложения. Для слова или класса слов в любой точке предложения можно указать определенный, всегда ограниченный *набор классов слов* (или отдельных слов), которые могут следовать за данным классом или словом. После того как некоторое слово из числа возможных было выбрано, возможности выбора следующего очередного слова изменяются, так как предшествующее стало иным. Правила в такой грамматике состоят в перечислении всех слов (или классов слов), которые могут следовать после каждого данного. Ниже приводится пример «грамматики конечного числа состояний». Поскольку, по определению автора, язык есть множество предложений, любая часть этого множества также может рассматриваться как некоторый язык; поэтому имеет смысл задача составления грамматики не для языка в целом, а для его части. Так, можно построить грамматику, которая будет иметь следующий вид:



Эта грамматика соответствует языку, состоящему из двух предложений: *the man comes* и *the men come* («человек приходит» и «люди приходят»); каждое предложение получается при прохождении по цепи в направлении, указанном стрелками, от начала до конца. Здесь после каждой из точек 1, 3 и 4 может следовать лишь одно слово; в точке 2 имеется две возможности выбора.

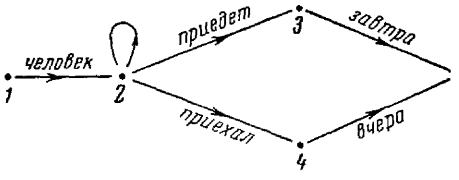
Автор доказывает, однако, что данная модель не может явиться плодотворной основой для построения грамматики, например, английского языка, так как *он не* является языком с конечным числом состояний: описание предложений по такой схеме возможно лишь в том случае, если предложение имеет конечную длину; в действительности же существуют такие процессы образования предложений, которые позволяют создавать предложения теоретически бесконечной длины. Так, если S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 — простые предложения, то предложения:

«Если S_1, то S_2» (1)

«Либо S_3, либо S_4» (2)

«Человек, который сказал, что S_5, приедет завтра» (3) —

являются грамматически правильными. Мы получим предложения также грамматически правильные, если в (1) вместо S_1 подставим (2), в (2) вместо S_3 подставим (3), а в предложении (3) заменим S_5 на (1) или (2) и т. д. При этом между элементами, стоящими сколь угодно далеко друг от друга, сохраняется зависимость: *нельзя поменять* местами *если* и *то*, опустить второе *либо*, изменить число глагола *приезжать* и т. д. Создавать предложения бесконечной длины, подобные описанным выше, модель марковского процесса может лишь в том случае, если допустить в ней «петли», т. е. такие точки, после которых могут следовать почти любые слова или классы слов в любом количестве, причем все эти слова *не оказывают* никакого влияния на распределение вероятностей для очередных слов, т.е. зависимость между элементами, стоящими по обе стороны от петли, остается неизменной:



Эта система имеет, по-прежнему, конечное число состояний, так как петля каждый раз возвращает систему в прежнее состояние. Однако если «грамматика без петель» не может произвести большого числа грамматически правильных предложений, то «грамматика с петлями», которая позволяет вставлять в точке 2 любые последовательности слов, произведет очень много лишних, грамматически неправильных предложений. Итак, автор приходит к выводу, что марковский процесс — эта простейшая модель, которая позволяет при помощи некоторого конечного числа утверждений создавать бесконечное число предложений языка,— оказывается неудовлетворительной моделью, по крайней мере для грамматического уровня языка.

Можно заметить, что, как следует из приведенных примеров, модель марков-

ского процесса является непригодной лишь для описания структуры сложного предложения. Для достаточно большого класса предложений, а именно — для простых предложений, грамматика, построенная по этой простейшей схеме, может удовлетворять критерию «полноты», и остается лишь проверить, в какой степени она обладает «объяснительной силой». Этот вопрос, однако, в работе не рассматривается.

*

Вторая из возможных грамматик — «грамматика непосредственных составляющих». Автор обнаруживает черты сходства между лингвистическим методом деления предложения на непосредственные составляющие и «правилами образования» в формальных системах, изучаемых математической логикой. Моделью для второй грамматики являются «правила образования» в формальной системе. Если в предыдущей грамматике указывались правила построения предложений непосредственно из слов языка или из классов, то в этой грамматике используются, кроме того, некоторые дополнительные символы (метаобозначения). Это обозначения для словосочетаний различной длины, начиная от двусловных и кончая целым предложением. Грамматика состоит из набора символов (сюда входят символы, обозначающие слова языка, а также вышеуказанные метаобозначения), набора начальных цепочек из этих символов (цепочка может состоять, в частности, из одного символа, обозначающего тип предложения) и правил развертывания каждого символа в цепочке, обычно в два других. Правила записываются в виде $X \to Y$, что означает: переписать X как Y; один символ может иметь несколько возможностей развертывания, которые перечисляются в правой части правила через запятую. Ниже дается пример построения такой грамматики для «части английского языка», а именно — для одного предложения: *the man took the book*.

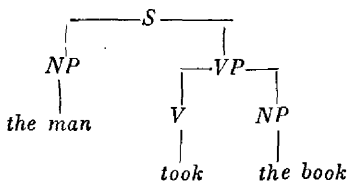
Символы:

S (предложение), VP (глагольная группа)
V (глагол), NP (именная группа)

Начальная цепочка: S

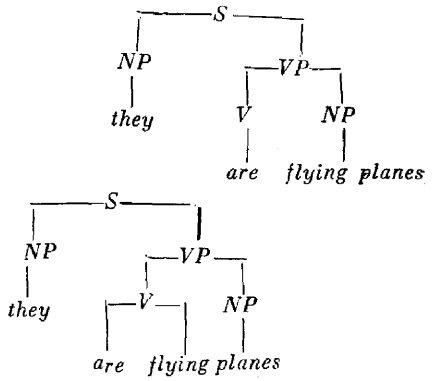
Правила: $S \to NP + VP$
$VP \to V + NP$
$V \to took$
$NP \to the\ man,\ the\ book$

Структура этого предложения может быть представлена в виде диаграммы:



Н. Хомский показывает, что введение дополнительных символов для словосочетаний дает этой грамматике расширенные возможности по сравнению с предыдущей. «Грамматика непосредственных составляющих» может производить все те предложения, что и «грамматика конечного числа состояния», и, кроме того, такие, которые эта последняя производить не может, в частности сложноподчиненные предложения, рассмотренные выше.

Автор считает возможным следующим образом определить наличие у грамматики объяснительной силы. Для того чтобы грамматика обладала объяснительной силой, необходимо, чтобы установленная ею структура предложения соответствовала его семантической структуре. Грамматическая структура предложения — это описание процесса создания предложения в той или иной грамматике. Понятия семантической структуры предложения, различия и тождества семантической структуры не являются достаточно точно определенными, и решение этого вопроса представляет существенные трудности. Автор считает, однако, что не вызывает сомнений справедливость следующего утверждения: если существует словосочетание или предложение, которое может быть понято двояко, различие значения объясняется тем, что *между тождественными словами могут* возникать различные семантические связи. Такое предложение, следовательно, имеет две различные семантические структуры. Грамматика обладает объяснительной силой, если она устанавливает для таких предложений две различные грамматические структуры. Так, предложение *they are flying planes* («они летающие самолеты» и «они запускают самолеты») можно получить при помощи грамматики такого рода двумя различными путями:



Следовательно, в «грамматике непосредственных составляющих» двум возможностям понимания этого предложения соответствует наличие двух возможных фразовых структур, и она обладает объяснительной силой в том смысле, какой придается автором этому понятию.

*

Однако рассмотренная модель грамматики, как указывает Н. Хомский, также

обладает слишком ограниченными возможностями. В разобранном примере развертывание символа по правилам грамматики каждый раз определялось только его собственной формой. Но на развертывание символа может оказывать влияние его контекст. Например, символ *V* (переходный глагол)[1] нельзя заменить на глагол в пассивной форме, если за ним стоит существительное без предлога, и, наоборот, можно развернуть только так, а не иначе, если дальше стоит предложная группа с *by*. Кроме того, правила развертывания данного символа часто не могут быть составлены лишь на основе той формы, которую он имеет в данный момент, без учета его «происхождения». Наконец, при развертывании иногда необходимо изменять порядок следования символов, что также невозможно в пределах второй грамматики.

Поэтому Н. Хомский предлагает рассмотреть третью грамматику, которая получается путем добавления ко второй правил принципиально иного типа, называемых правилами трансформации. Для полного определения каждой трансформации достаточно указать, к какой цепочке символов она применяется и какие изменения она в ней производит. Те предложения, которые представляют трудности для предыдущей грамматики, легко могут быть произведены при помощи правил трансформации; например, $T_{пас}$(пассивная трансформация) дает возможность получить из предложения *рабочие строят дом*, произведенного «грамматикой непосредственных составляющих», предложение *дом строится рабочими*, так что в новой грамматике затруднения, связанные с введением в предложение пассивной формы глагола, отпадают.

Трансформации делятся на обязательные и факультативные. Трансформация в предыдущем примере является факультативной, так как цепочка, к которой она применяется, либо уже является грамматически правильным предложением, либо может быть переведена в грамматически правильное предложение при помощи «грамматики непосредственных составляющих». Если же применение правил трансформации является необходимым для того, чтобы получить грамматически правильное предложение, трансформация является обязательной. Так, в предложении *they brought in the criminal* «они ввели преступника» можно поменять местами наречие *in* и прямое дополнение *the criminal*, и мы снова получим грамматически правильное предложение. Эта трансформация факультативная. Если же прямое дополнение выражено местоимением, трансформация является обязательной, так как предложение с наречием перед местоимением не является грамматически правильным; единственно возможная форма предложения — *they brought him in*, и ее можно получить только при помощи трансформации[2].

Н. Хомский показывает затем, что введение правил трансформации не только дает возможность получать более широкий круг предложений, но и увеличивает «объяснительную силу» грамматики. Так, словосочетание *the shooting of the hunters* может пониматься двояко: «стрельба охотников» и «стрельба по охотникам»; вторая грамматика не смогла бы отразить наличие в нем двух возможных семантических структур. Если же это словосочетание производить при помощи грамматики, включающей трансформации, то оно может быть получено двумя путями — из сочетания *the hunters shoot* «охотники стреляют» и *they shoot the hunters* «они стреляют в охотников». Для такой омонимической конструкции грамматика, включающая трансформации, установит две возможные грамматические структуры. Так, в результате сравнения трех грамматик устанавливается, что грамматика третьего типа в наибольшей степени соответствует английскому языку.

*

Как уже указывалось, в книге Н. Хомского предлагается опыт построения т о ч н о й синтаксической теории. Автор указывает, какие положения он принимает в качестве аксиом, и перечисляет понятия, которые считает неопределяемыми в пределах теории. Использование математических моделей дает ему возможность применять затем математические методы для доказательства положений, которые формулируются в ходе изложения. Основной интерес для лингвиста представляют не сами доказательства, а постановка задач исследования, выбор аксиом, полученная система определений и выводы. Автор считает, что цель описания грамматической структуры языка заключается в том, чтобы построить систему, производящую формально (т. е. грамматически) правильные предложения. Однако возможность отделения формально-грамматической структуры языка от семантической и самостоятельного ее описания отнюдь не является очевидной. Именно из-за наличия тесной связи между формальной и семантической сторонами языка нельзя дать даже описательного определения грамматически правильного предложения. «Интуиция» относительно грамматической правильности некоторых сочетаний глагола с предложной группой или наречия с прилагательным будет различной у разных людей. Проблема формализации понятия грамматически правильного предложения практически решается при составлении алгоритма синтеза текста в машинном переводе. Известно, однако, что такие алгоритмы существуют пока лишь для «языков» ограниченной отрасли науки. Несомненно, что синтез грам-

[1] Точнее говоря, имеются в виду переходные глаголы, которые не могут иметь при себе беспредложного косвенного дополнения.

[2] Примерный список трансформаций для грамматики английского языка дается в приложении в конце книги.

матически правильных предложений для языка в целом представит ряд принципиально новых трудностей именно вследствие тесной связи между формальной и семантической сторонами языка. Н. Хомский игнорирует эту сложную проблему и предлагает строить грамматику для языка в целом такими методами, которые могут дать положительные результаты только для ограниченных или искусственных языков.

Заслугой автора является большое внимание к изучению семантической структуры предложения. Создание точной основы для анализа семантической структуры языка он считает одной из целей построения формальной грамматической системы. Интересен предлагаемый автором метод проверки соответствия между семантической и грамматической структурой предложения, хотя он дает решение вопроса лишь в ограниченных случаях.

Значительный интерес представляет применяемый в книге метод получения оптимальной грамматики для данного языка. Это своего рода «моделирование» лингвистического описания: наиболее совершенная грамматика получается не сразу, на основе обобщения эмпирических данных, а путем их сравнения с некоторой схемой, заведомо упрощенной, но сохраняющей существенные признаки реального объекта и постепенного добавления новых черт к этой схеме. Такой метод широко применяется при описании физических процессов. Попытка применения его в языкознании заслуживает внимания.

Е. В. Падучева

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1959

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

БАЛТО-СЛАВЯНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

Вопросы древнейших языковых балто-славянских отношений [1] занимают индоевропеистов и славистов в течение многих десятилетий. В связи с оживлением исследовательской работы в последние годы полемика по этим вопросам разгорелась с новой силой [2]; им уделил большое внимание и прошедший IV Международный съезд славистов [3]. Различные мнения могут быть, с некоторыми упрощениями, сведены к следующим трем точкам зрения:

1. Славянские и балтийские языки не вынесли из индоевропейской общности тенденций единого развития. Общее у них качественно не отличается от общего каких-либо двух других территориально близких индоевропейских диалектов (например, праславянского и прагерманского, прагерманского и кельтского и т. п.). Этот резко отрицательный взгляд на существование балто-славянского единства, высказанный в свое время А. Мейе и развиваемый теперь А. Зенном, на съезде защищал, пожалуй, один В. Мажюлис [4]. К отрицанию промежуточных диалектных единств в духе неолингвистической школы склонялся и покойный проф. В. К. Мэтьюс [5].

2. Славянские и балтийские языки, не происходя от одного индоевропейского диалекта, позднее сблизились друг с другом. Время, причины и характер этого вторичного сближения определяются по-разному различными исследователями. Для акад. Т. Лера-Сплавинского балто-славянский период длился с конца до середины II тысячелетия до н. э., а толчок к общему развитию дал общий субстрат (праугрофинский; археологически — носители гребенчатой керамики) [6]. Ту же концепцию представляет в польской археологии В. Генсель, в антропологии — Я. Чекановский [7]. С. Б. Бернштейн относит балто-славянский контакт к более позднему периоду (1500—500 гг. до н. э.), причем возникновение общих изоглосс он объясняет явлениями «языкового союза» [8]. Б. В. Горнунг считает, что балто-славянская общность представляет продукт сближения языков не отселившихся на запад или юг индоевропейских племен и что она просуществовала до конца II тысячелетия до н. э. [9]. К. Мошинский полагает начало нашей эры временем балто-славянского контакта [10].

---

[1] Оставляем в стороне проблемы связей этнических, требующих неязыкового подхода. Они затрагивались на съезде лишь в незначительной степени.

[2] Ход полемики сжато изложен О. Семереньи (O. Szemerényi, The problem of Balto-Slav. unity. A critical survey, «Kratylos», Jg. II, Hf. 2, 1957).

[3] Упомянутой проблеме было целиком посвящено заседание подсекции «Происхождение славянских языков и народов» (3 IX 1958 г.).

[4] См. В. Мажюлис, Заметки к вопросу о древнейших отношениях балтийских и славянских языков, «IV Международный съезд славистов. Доклады», Вильнюс, 1958, стр. 20. В устном выступлении докладчик сформулировал свою позицию отчетливей, чем в печатном тексте доклада. Резко возражал В. Мажюлису акад. В. Георгиев.

[5] См. В. К. Мэтьюс, О взаимоотношении славянских и балтийских языков, «Славянская филология. Сб. статей» (IV Международный съезд славистов), I, М., 1958, стр. 41.

[6] T. Lehr-Spławiński, Podstawy indoeuropejskie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej, «Z polskich studiów slawistycznych», Warszawa, 1958. В докладе изложены результаты многолетних работ автора, сжатое обозрение которых дал В. Фалькенхан (ZfS, Bd. 1, Hf. 2, 1956).

[7] На основе докладов упомянутых трех авторов Т. Лер-Сплавинский сделал обзорный доклад 1 IX 1958 г.

[8] С. Б. Бернштейн, Балто-славянская языковая сообщность, «Славянская филология», I.

[9] Б. В. Горнунг, К дискуссии о балто-славянском языковом и этническом единстве, ВЯ, 1958, № 4.

[10] См. K. Moszyński, Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, Wrocław, 1957, стр. 208. С некоторыми оговорками тезис о вторичном сближении защищает и П. Трост (P. Trost, K otázce baltoslovanských jazykových vztahů, сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958.

3. Славянские и балтийские диалекты со времени индоевропейского диалектного членения входят в единую диалектную область, разрыв которой связан с выделением из нее праславянских диалектов. Эта точка зрения, широко распространившаяся в последнее время[1], была представлена на съезде докладчиками В. Георгиевым, Я. Отрембским, Вяч. В. Ивановым и В. Н. Топоровым, П. Н. Третьяковым[2] и многими из выступавших в прениях[3].

Основная полемика, по справедливому замечанию С. Б. Бернштейна[4], ведется в настоящее время между сторонниками второй и третьей точек зрения. Каковы же решающие аргументы полемизирующих сторон?

Сторонники «единства» приводят изоглоссы — фонетические (например, возникновение сочетаний балт. *ir*, *ur*, слав. *ьr*, *ъr*, становление интонационной системы и т. п.), морфологические (например, род. падеж ед. числа -*ŏ*- основ -*ā* [*d*]), лексические (например, балт. **galvā*, *rankā*, слав. **golvà*, *ronkà*) и синтаксические (например, распространение творительного предикативного[5]), охватывающие обе рассматриваемые области. Сторонники «схождения», не отрицая большинства этих изоглосс (указывая, впрочем, на различный объем некоторых из них: а) шире балто-славянского и б) у́же балто-славянского), обращают внимание на случаи не менее древнего различия[6] (развитие и.-е. **s*, и.-е. **ō*, морфология глагола, глубокая дифференциация лексики и т. п.). Количественным сопоставлением тех и других черт вопрос, очевидно, решен быть не может, как бы велико ни было число черт единства или различия. Относительную же «ценность» отдельных изоглосс сейчас определить не представляется возможным ввиду неразработанности проблем относительной хронологии раннего развития индоевропейских диалектов.

Все это заставляет спорящие стороны все чаще прибегать к внелингвистическому аргументу[7]. Наиболее широко привлекаются лингвистами достижения археологии (ср. доклады В. Генселя, П. Н. Третьякова, сообщение Б. А. Рыбакова) и антропологии (доклад Я. Чекановского). Однако хотя обе эти науки в своих областях добились значительных успехов (установление распространения и хронологизация материальных культур, resp. антропологических типов), вопросы о принципах сопоставления их данных с данными лингвистическими и о степени вероятности таких сопоставлений являются совершенно неразработанными[8]. Ввиду этого скептицизм в отношении подобных доказательств неоднократно проявлялся на съезде.

Недостаточная доказательность упомянутых двух аргументов, их «непродуктивность», проявившаяся в последние десятилетия (в особенности при полемике вокруг одних и тех же фактов), вызвали к жизни попытки применения новых лингвистических методов в решении балто-славянской проблемы. Из таких попыток большое внимание на съезде привлек доклад Вяч. В. Иванова и В. Н. Топорова, в котором путем внутренней реконструкции явлений славянской языковой области и балтийской языковой области факты языка приводятся к одному хронологическому уровню. По мнению авторов, на этом хронологическом уровне, более позднем, чем уровень индоевропейский, обе реконструируемые системы совпадают в своих существенных чертах. Отмечая большую перспективность такого подхода, выступавшие в прениях на съезде (Т. Лер-Сплавинский и другие) подчеркивали, однако, что и этот метод не дает гарантий против субъективных решений (от них в конечном счете зависит выбор реконструируемых черт системы). Следует добавить также, что идущая сейчас перестройка традиционной индоевропеистики не позволяет с достаточной четкостью определить, какие из реконструируемых балто-славянских черт отличались от *индоевропейского состояния*.

---

[1] Кроме обзора О. Семереньи, ср. еще: M. Leumann, Baltisch und Slavisch, «Corolla linguistica», Wiesbaden, 1955.

[2] См.: В. Георгиев, Балто-славянский, германский и индо-иранский, «Славянская филология», I; J. Otrębski, Rozwój wzajemnych stosunków między grupą językową bałtycką a słowiańską, «Z polskich studiów slawistycznych»; Вяч. В. Иванов и В. Н. Топоров, К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков, «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958; П. Н. Третьяков, Итоги археологического изучения восточнославянских племен, там же.

[3] Ср. также положительные ответы на вопрос о существовании балто-славянского единства Л. А. Булаховского, К. Яначка, В. Кипарского, И. Лекова, Э. Дикенмана в кн.: «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», М., 1959. Того же мнения придерживается и П. С. Кузнецов (см. его «Развитие индоевропейского склонения в общеславянском языке», «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958).

[4] С. Б. Бернштейн, указ. соч., стр. 45.

[5] Ср. подробнее: P. Trost, O balto-slovanských vztazích v oblasti syntaxe, «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků», Olomouc — Praha, 1957; см. также «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 66.

[6] Сделанная недавно Я. Отрембским попытка объяснить ряд таких различий поздним расхождением (ср. ВЯ, 1954, № 5, стр. 27—42; № 6, стр. 28—46) не получила на съезде сколько-нибудь значительной поддержки.

[7] Что можно объяснить вслед за Р. Якобсоном (в его выступлении на съезде 2 IX 1958) тенденцией к синтезу, начинающей — после длительного периода «специализации» — вновь проявляться в языкознании.

[8] См. K. Moszyński, указ. соч., стр. 9 и далее.

Дискуссия на съезде показала, что решение балто-славянской проблемы следует искать в комплексном применении разнообразных лингвистических методов. Прежде всего, с наибольшей степенью точности должны быть определены внешние связи балто-славянской группы (общие заимствования из нее и в нее, если таковые имеются) и — в отдельности — связи славянских и балтийских диалектов[1]. Сравнительный анализ двух этих слоев заимствований может дать чрезвычайно много для локализации и хронологизации единства или позволит отвергнуть его существование в период, для которого какие-либо слова определимы как заимствования.

Не менее важный материал должны дать исследования и этимологизация этнонимов[2] и топонимики (о чем подробно говорили на съезде М. Фасмер, положивший в свое время начало такому исследованию, и В. Сидоров). По-видимому, никогда не удастся доказать, что в с я гидронимика, например, Повисленья (Т. Лер-Сплавинский) или среднего Приднепровья (К. Мошинский) является чисто славянской (или гидронимика Подвинья — чисто балтийской), поскольку речные названия отражают наслоения самых различных эпох, вплоть до эпох доиндоевропейских. Более плодотворным кажется установление древнейших топонимических типов (рано утративших продуктивность) и установление их ареалов[3].

Продолжение ряда внутренних изоглосс славянской и балтийской областей (в особенности лексических) на смежные балтийские и славянские территории[4] позволит, вероятно, наметить области, бывшие первоначально переходными между славянскими и балтийскими. Вопрос о наличии таких диалектов оживленно дебатировался на съезде. Я. С. Отрембский, развивая свои мысли о переходном характере древнепрусского языка (правда, для более позднего периода), выдвинул идею о возможности наличия большего числа переходных черт в ятвяжских диалектах[5].

Не менее важен лингвистический анализ локализуемых в пространстве терминов ландшафта (биологических и географических), причем анализ по возможности наиболее широкий, опирающийся на данные палеоботаники, палеозоологии и палеогеографии восточноевропейских областей[6].

Разработка этих «внешнелингвистических» проблем плюс углубленное изучение явлений структурного порядка даст возможность прийти к некоторым географическим и хронологическим выводам о совместном или раздельном существовании славянских и балтийских диалектов. При этом относительные границы большей или меньшей степени конкретности (например, размещение балтов и славян относительно германцев и угро-финнов, относительно границы тиса и т. п.), пересекаясь друг с другом, дадут данные, достаточно точные для того, чтобы их можно было сопоставить с достижениями других наук, не доверяясь слепо этим достижениям.

В. М. Иллич-Свитыч

ВОПРОСЫ ФОНОЛОГИИ И ФОНЕТИКИ НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

На подсекции фонологии и фонетики IV Международного съезда славистов было заслушано и обсуждено 14 докладов, группировавшихся вокруг следующей проблематики: 1) историческая фонология, 2) построение фонологической типологии славянских языков, 3) анализ сосуществующих фонологических систем в славянских языках, 4) славянская акцентология и некоторые более частные проблемы. Если сравнить этот круг вопросов с соответствующими проблемами, обсуждавшимися на I съезде славистов (Прага, 1929 г.), то обращает на себя внимание факт расширения фонологической проблематики, а также тот факт, что фонологический анализ стал применяться не только в области синхронии, но и в области диахронии.

Проблемам исторической фонологии славянских языков были посвящены доклады Ф. М а р е ш а (Чехословакия) «Фонологическая система праславянского языка и ее развитие в отдельных славянских языках», его соотечественника А. Л а м п р е х т а «К развитию западнославян-

[1] Интересные соображения В. К и п а р с к о г о см. в «Сборнике ответов по славянскому языкознанию», стр. 171.

[2] Они дают зачастую неожиданные, но ценные показания. Ср., например, венг. *tót* «славянин вообще», рум. местные названия *Tauteşti* (укр. [Закарпатье] *товт* «купец» из румынского) <**touta*, что соответствует не дакийской, фракийской и германской (**teut-*), но балтийской форме.

[3] Так, в свете известной гипотезы А. Мартине о *k*, *g* как рефлексах индоевропейских сочетаний с ларингальными гидроним *Sluč*ь (две реки в бассейне Припяти) является древнейшим образованием от корня, представленного этнонимом *Slověne*. Подготавливаемое в Берлине (по сообщению М. Фасмера) собрание русской топонимики даст бесценный материал для подобной работы.

[4] Наличие таких изоглосс опровергает взгляд о полной недифференцированности праславянской языковой области или невозможности обнаружить эту дифференцированность [ср., например, «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 267 (ответ С. Утешеного)].

[5] Ятвяжскую речь, по мнению Я. Отрембского, отражает, например, литов. гидроним *Bilsas* (параллельно слав. **belsъ*, русск. *белесый*).

[6] Прогресс в этом отношении представляет указанная книга К. М о ш и н с к о г о (стр. 24—66). Хорошим образцом подготовительной работы к трудам такого рода является книга: J. S c h ü t z, Die Geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin, 1957.

ской фонетической системы» и С. Шаумяна (СССР) «Некоторые вопросы применения дихотомической теории фонем к исторической фонологии польского языка», в котором докладчик дал теоретическое обоснование методических принципов, применяемых им в книге «История системы дифференциальных элементов в польском языке». Кроме того, были сделаны и некоторые другие доклады по более частным проблемам исторической фонологии.

Несмотря на то, что все перечисленные доклады отражают достижения современной фонологии, между ними наблюдается некоторое расхождение в понимании задач фонологического исследования и в конкретных приемах метода анализа дифференциальных признаков. Это особо ярко ощущается при сопоставлении докладов С. Шаумяна и Ф. Мареша (методологически близок к Ф. Марешу и П. Ивич, известный читателям «Вопросов языкознания» по статье, опубликованной в № 1 за 1958 г.). Если для Ф. Мареша понятие дифференциальных признаков является вспомогательным при выяснении истории конкретных фонем, то у С. Шаумяна центр тяжести переносится на сами дифференциальные признаки, поскольку фонемы, по его мнению,— лишь «пучки дифференциальных элементов», а система фонем является лишь «производной от системы дифференциальных элементов». Если Ф. Мареш изучает, как изменяется система фонем в связи с определенными процессами, например с процессом делабиализации[1], действием так называемого закона открытых слогов, палатализацией и т. п., то С. Шаумян изучает, как изменяются дифференциальные элементы, их пересечение и объем (см., например, в докладе С. Шаумяна указание на то, что в период между XII и XVI вв. в польском языке из числа дифференциальных признаков выпал признак долготы — краткости, а объем признака назальности снизился за счет уменьшения количества носовых гласных, появились новые пучки дифференциальных элементов — фонемы *f* и *f'* и т. п.).

Далее, если Ф. Мареш, прослеживая развитие системы, сосредоточивает внимание на тех конкретных изменениях, которые претерпела эта система в связи с определенными процессами (до и после процессов делабиализации, палатализации, падения редуцированных и т. п.), то С. Шаумян историю дифференциальных элементов в польском языке рассматривает в рамках трех синхронических срезов (периоды XII в., XVI в., современный польский язык), хотя основные процессы (утрата долготы, утрата закрытости гласными и т. п.) и не укладываются в рамки этих срезов; для С. Шаумяна важно лишь выбрать такие синхронические состояния, которые резко отличаются друг от друга.

[1] Ф. Мареш считает делабиализацию гласных общеславянским древнейшим процессом (*ŭ*→*ъ*, *ŭ*→*y*, *ŏ*→*ă*, *ō*→*ā*). Эта новая точка зрения не встретила серьезных возражений в дискуссии.

Следует отметить, что работа С. Шаумяна является первым, пусть и не вполне удачным, опытом применения дихотомической теории фонем к диахроническому анализу смены фонологических систем в славянских языках (и вообще в каких-либо других): до сих пор эта теория находила довольно широкое применение лишь в трудах, посвященных синхроническому анализу различных языков. К сожалению, дискуссия о возможности применения дихотомической теории в диахроническом анализе не развернулась достаточно широко, хотя высказывалось общее одобрительное отношение к тому, что ведется работа в данном направлении.

Единодушным было мнение выступавших относительно применения фонологического метода к изучению вопросов диахронии; подчеркивалось лишь то, что не следует упрощать картину развития (как это можно отметить в докладе С. Шаумяна), т. е. нельзя видеть одну систему там, где есть и было несколько систем; надо шире изучать развитие системы во времени и в пространстве, смелее включать и диалектные данные (как это успешно делал в своем докладе П. Ивич). Отмечалось, что не следует отрывать систему гласных от системы согласных (такая тенденция обнаружилась в докладе А. Лампрехта), реляцию — от материи, от реалий (что прозвучало в докладе С. Шаумяна), ибо сама теория бинарности опирается на достижения экспериментальной фонетики. Указывалось, что необходимо учитывать явление нейтрализации противопоставлений в определенных позициях.

Другой центральной проблемой в работе подсекции была проблема построения фонологической типологии славянских языков. До недавнего времени наиболее распространенным было мнение о том, что ни фонетика, ни лексика не поддаются типологическому изучению и что типологические сопоставления возможны только лишь в аспекте грамматической техники.

Э. Станкевич (США) в докладе «О фонологической типологии славянских языков» убедительно показал возможность использования фонологических данных при типологических сопоставлениях. Широко используя диалектный материал всех славянских языков, докладчик предложил трехчленную их классификацию, которая не совпадает с географической и традиционной. В основу новой классификации легло наличие корреляции по палатализации согласных; при этом отчетливо выявились проблемы взаимоотношения между развитием системы согласных и системы гласных и различными явлениями в области просодии. Так, 1-й фонологический тип (северо-западные и восточнославянские языки, включая восточноболгарские диалекты), обладая корреляцией по палатальности, имеет два просодических подтипа: а) различительное ударение и б) различительное ударение и долготу. 2-й тип без различительной палатализации согласных допускает такие просодические типы: а) тон, б) долготу, в) ударение и долготу, г) уда-

рение. В 3-м типе нет различительной палатализации и просодических черт, здесь фонем меньше, чем в первых двух типах. 2-й и 3-й типы менее локализованы, чем 1-й.

В ходе дискуссии большинство выступавших отмечало важность фонологической типологии; было высказано пожелание о более широком использовании диалектных данных при ее построении. Говорилось о том, что в докладе Э. Станкевича допущены некоторые неточности и упущения фактического порядка (например, нет данных о четырехфонемной системе вокализма русских диалектов и др.). Высказывалось пожелание о создании типологии с учетом всех сторон языка и, кроме того, с привлечением данных соседних языков (так, например, отмечались общие тенденции в развитии консонантизма в ареале сербскохорватского, украинского, румынского и венгерского языков и тот факт, что по одним признакам в блок со славянскими вступает немецкий язык, а по другим — греческий и т. д.).

В связи с этим обсуждалась проблема о взаимовлиянии в области фонетики румынского языка со славянскими. Были заслушаны доклады А. Россети и Э. Петровича (Румыния), в которых широко рассматривалась проблема романо-славянской интерференции. Указанные доклады (особенно последний) построены также на основе анализа дифференциальных признаков.

Г. Кучера (США) в докладе «К вопросу о сосуществующих системах фонем в славянских языках» обратил внимание на наличие в фонетических системах славянских языков фактов, противоречащих системе в целом (ср., например, русск. *дэпó* — отсутствие смягчения *д* и редукции *э*): на основе этих и подобных явлений и развивалась теория о наличии сосуществующих фонологических систем в пределах одного языка. Докладчик рассказал о некоторых закономерностях и пределах этого явления и поднял проблему о взаимодействии двух подобных фонологических систем с сосуществующими морфологическими системами. Этот доклад, как и доклады С. Шаумяна и Э. Станкевича, был построен на основе последовательного применения принципов дихотомической теории. При обсуждении доклада подчеркивалась необходимость различать сосуществование систем и их взаимопроникновение. Все выступавшие отмечали продуктивность понятия «сосуществующих систем».

Проблемам славянской акцентологии было посвящено особое заседание подсекции с докладами И. Хамма (Югославия) «Оппозиция ударения в славянских языках», Л. Булаховского (СССР) «Болгарский язык как источник для реконструкции древнейшей славянской акцентологической системы» и Г. Шустера (ГДР) «К вопросу о рефлексе старинных долгот в нижнелужицком языке». Здесь проявилась тенденция перенесения центра тяжести при решении акцентологических проблем на морфологию, на отдельные, зачастую разрозненные оппозиции (им. пад. ед. числа; род. пад. мн. числа и т. п.). Более продуктивным, видимо, явится учет оппозиций целых акцентных парадигм как акцентных типов при учете и собственно фонетических данных.

Кроме перечисленных выше выступлений, было сделано также несколько докладов по другим, более частным проблемам, обсуждение которых значительно обогатило славянскую фонологию и фонетику главным образом фактическим материалом и отдельными приемами исследования. Однако обзор всех выступлений не входит в задачу данной информации.

В заключение хочется сказать, что известные методологические расхождения участников съезда не препятствовали взаимопониманию и все сообщения и выступления были выслушаны с большим интересом. К сожалению, не все существующие фонологические школы были представлены в равной мере. Особенно широко были освещены взгляды сторонников дихотомической теории. На очереди остается задача, с одной стороны, критической оценки дихотомической теории, а с другой — конкретной разработки проблем диахронической фонологии русского и славянских языков, проблем фонологической типологии и анализа сосуществующих систем на основе не только дихотомической, но и других фонологических теорий, в частности ленинградской и московской фонологических школ. Проверка старых фонологических приемов (на большом фактическом материале) и выработка новых — ближайшая задача наших фонологов.

В. К. Журавлев

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ЛЕЙПЦИГЕ В 1957/1958 г.*

1957/1958 учебный год, прошедший под знаком дальнейших социалистических преобразований, ознаменован в Институте славянской филологии при Лейпцигском университете новыми успехами. Наряду с большой педагогической работой продолжалась серьезная научная работа по славянскому языкознанию и литературоведению. Доктор Р. Ружичка, специалист по истории русского языка, исследовал проблему синтаксических заимствований в старославянском языке. Доктор Г. Кирхнер, автор монографии о русских наречиях на *-и*, образованных от прилагательных, принимал участие в разработке русской грамматики для немцев, запланированной как коллективный труд. Доктор Г. Мейер, специалист в области общего языкознания, интересующийся также вопросами славистики, закончил свою работу о проб-

* По сообщению Института славянской филологии Университета им. Карла Маркса, 15 сентября 1958 г.

леме нулевой флексии в лингвистике: критическое исследование о структуральном анализе функциональной релевантности языковой формы. Проф. доктор Р. Фишер читал курс лекций по введению в славяноведение, по истории чешской литературы и вел спецкурс по теме «Взаимоотношение немецкой классической и славянских литератур» (в котором были использованы новые архивные материалы). Канд. филол. наук Н. Кучеровский читал курс лекций о новой русской и советской литературе, доктор Г. Дудек — о русской литературе XIX в., уделяя особое внимание проблеме идейных и стилистических особенностей поэзии критического реализма. Активное участие в работе института принимал доктор Г. Юнгер, автор диссертации о творчестве *А. Н. Толстого*.

В серии «Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte», издаваемой по поручению Исторической комиссии Саксонской Академии наук Т. Фрингсом и Р. Фишером, до лета 1958 г. было опубликовано пять томов. Пять следующих томов готовы к печати.

Для публикаций по случаю IV Международного съезда славистов в Москве лейпцигские славяноведы написали 8 статей: для сборника комитета славистов ГДР 7 статей и для сборника Советского комитета славистов 1 статью. Проф. Р. Фишер, доктора Р. Ружичка, Г. Кирхнер, Г. Юнгер и др. приняли активное участие в работе IV Международного съезда славистов в Москве.

Славянская филология в Лейпциге имеет старую традицию. Теперь следует использовать достигнутые результаты на благо нового, социалистического общества.

В течение 1957/1958 учебного года были опубликованы следующие труды и книги лейпцигских славистов (кроме статей): R. Fischer, Schillers Widerhall in der russischen Literatur («Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig»); *его же*, Fahrten nach Weimar — Slawische Gäste bei Goethe (Arion Verlag, Weimar); R. Růžička, Der Verbalaspekt in der altrussischen Nestorchronik («Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik in der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», № 14); H. Schuster-Šewc, Vergleichende historische Lautlehre der Sprache des Albin Moller. Ein Beitrag zur Geschichte der niedersorbischen Sprache («Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik in der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», № 15).

На Философском факультете Университета имени Карла Маркса были представлены следующие диссертации на славянские и германо-славянские темы: P. Nowotny, Čišinskis «nationales Programm» auf der Grundlage seiner Weltanschauung; E. M. Pietsch, Thomas Mann und F. M. Dostoevskij; A. Richter, Die Ortsnamen des Saalkreises; W. Fleischer, Namen und Mundart im Raum von Dresden.

(*Ранее представленные диссертации уже отмечались в сообщении 2. X. 1957 — ВЯ, 1958, № 2.*)

Р. Фишер

СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ АССИРИОЛОГИИ, ЕГИПТОЛОГИИ И СЕМИТСКОЙ ЭПИГРАФИКЕ, В ЛЕНИНГРАДЕ

12—17 мая 1958 г. в Институте востоковедения Академии наук СССР в Ленинграде состоялась Всесоюзная сессия по ассириологии, египтологии и семитской эпиграфике, посвященная столетию расшифровки ассиро-вавилонской клинописи. В сессии приняли участие представители научных учреждений Москвы, Ленинграда, Еревана, Тбилиси, Баку, Таллина, Ростова-на-Дону, Львова и Тулы.

На сессии было прочитано 42 доклада, посвященных исследованию различных проблем ассириологии, хеттологии, урартоведения, египтологии и семитской эпиграфики.

Филологические и лингвистические вопросы были затронуты в большинстве хеттологических докладов, в докладах по семитской эпиграфике, а также в некоторых других докладах.

Вяч. В. Иванов (Москва) в докладе «Структура хеттского предложения» сообщил, что нагромождение энклитических частиц в начале хеттского предложения и хеттские слова со следующими за ними местоименными комплексами имеют параллели в кельтских языках. Можно предполагать, что в индоевропейском праязыке на первом месте в предложении могло находиться имя (позднее превращающееся в наречие). При присоединении местоименных элементов, находившихся на втором месте, могли образовываться индоевропейские глагольные формы типа форм на *-m(-mi)*. Суффигирование местоимений, наблюдающееся в случае, когда на первом месте находится глагол (а не имя), относится к более позднему времени, но имеет аналогичный характер и значение.

И. М. Дунаевская (Ленинград) в докладе «Префиксы хаттского (протохеттского) глагола» показала, что исследование двуязычных текстов позволяет установить довольно постоянную последовательность расположения префиксов хаттских глаголов по отношению к корню и друг к другу. Устанавливается семь префиксальных групп, для которых можно считать предварительно выясненными следующие значения: отрицание, наклонение (две группы префиксов), объект или субъект (две группы префиксов), локатив и залог (?). В связи с этим пересматриваются некоторые сделанные ранее толкования хаттских глагольных форм.

В докладе «Формы медиума хеттского глагола в сравнительно-историческом освещении» А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону) выдвинул положение, что хеттские окончания медиума являются наиболее близким отражением индоевропейских, а индоевропейские и греческие развились в эпоху обособления индоевропейских диалектов — предков индо-иранского и греческого. Докладчик восстанавливает следующие индоевропейские окончания медиума: ед. число, 1-е лицо *-*xa*, 2-е лицо *-*thə*, 3-е лицо *-*a*; мн. число, 1-е лицо *-*mes-dha*, 2-е лицо *-*dhum*, 3-е лицо *-*r*. Эти окончания имеют много общего с окончаниями перфекта. Таким образом, подтверждается мнение Е. Куриловича, высказанное им в 1932 г., об общем происхождении медиума и перфекта.

В своем докладе «Клинописная система аккадско-хеттской группы и вопрос о происхождении хеттской клинописи» Т. В. Гамкрелидзе (Тбилиси) на основании детального анализа палеографических и орфографических особенностей клинописных систем аккадско-хеттской группы (аккадской клинописи из Нузи, хеттской и хурритской клинописи и т. д.) пришел к заключению, что все эти виды письменности восходят к аккадской письменности, предшествовавшей старовавилонской клинописи. Наиболее вероятным источником хеттской клинописи следует считать не хурритскую письменность, развившую у себя ряд вторичных особенностей, отличных от особенностей хеттского письма, а аккадскую клинопись в том виде, как она распространилась в Северной Сирии в конце III — начале II тысячелетия до н. э. Можно, напротив, предполагать влияние хеттской клинописи на хурритскую.

В своем докладе «К пониманию хеттской формулы *parnaššea šuwaizzi*» Э. А. Менабде (Тбилиси), исходя из дословного понимания встречающейся в Хеттских законах формулы *parnaššea šuwaizzi* [«и его дому толкает (?)»], сделал предположение, что смысл этой формулы заключается в передаче возмещения непосредственно в собственность (в дом) потерпевшего.

Б. В. Казанский (Ленинград) в докладе «К толкованию иероглифической надписи из Кара-тепе» указал на новые возможности толкования некоторых хеттских иероглифических знаков и на возможность уточнения при помощи хеттской иероглифической версии некоторых мест финикийского текста билингвы.

Доклад Г. А. Тирацяна (Ереван) был посвящен «Новой надписи Арташеса I с озера Севан». Надпись новой стелы *'rthšsy mlk brzy ZrytrRwndkn ḫlq byn qrš*? не оставляет никакого сомнения в том, что эта стела, как и три, найденные ранее, представляют собой межевые камни времени Арташеса (Артаксия) I (189—160 гг. до н. э.), упоминаемые армянским историком Моисеем Хоренским.

«Современное состояние вопроса о хронологии южноарабских надписей» было темой доклада А. Г. Лундина (Ленинград). Докладчик остановился на работах Жаклин Пиренн, посвященных датировке южноарабских надписей по их связям с палеографией греческих надписей. Несмотря на ценность работ Ж. Пиренн, ее метод может быть принят лишь для более поздних надписей, начиная с III в. до н. э. Наиболее ранние монументальные памятники датируются предположительно VIII в. до н. э.

Л. А. Липин (Ленинград) посвятил свой доклад «Значению союза *ù* в Законах Хаммурапи».

С. Я. Лурье (Львов) в докладе «Микенские надписи и Древний Восток» пришел к выводу, что влияние Древнего Востока на язык и стиль микенских надписей проявляется, во-первых, в области фонетики: случаи слабой артикуляции и, соответственно, ненаписания *r* и *n*; отсутствие резкого различия между звонкими, глухими и придыхательными и др.; во-вторых, в области лексики: заимствование названий ряда предметов из семитских языков, некоторых имен — из хеттского, имен *Inapi* и *Mutiri* — из египетского; в-третьих, в формулярах документов: канцелярские формулы приношений богам, распределения одежды и т. д., списки пряностей, документы о распределении земли.

И. Д. Амусин (Ленинград) в докладе «Кумранский фрагмент „Молитвы" вавилонского царя Набонида» показал, что «Молитва» Набонида — часть того субстрата, из которого сложился канонический текст первых глав (2—5) «Книги Даниила». «Молитва» является любопытным свидетельством внутренних связей между Кумранской общиной и ассиро-вавилонской и иранской средой. К этим же связям, возможно, восходит также и дуалистическое учение Кумранской общины о борьбе двух начал — света и тьмы, добра и зла.

И. М. Дьяконов (Ленинград) в докладе «Урартские царские и другие официальные письма из Кармир-блура» отметил, что урартская скоропись имеет иное происхождение, чем урартское эпиграфическое письмо, восходящее к ассирийской клинописи X—IX вв. до н. э.: форма знаков скорописи значительно более архаична и восходит к аккадско-хеттской системе II тысячелетия до н. э. Характерно наличие словоразделителя, так же как в Угарите и в древнеперсидской клинописи.

Доклад Н. В. Арутюняна (Ереван) «Урартская клинописная таблетка из раскопок 1956 г. на Кармир-блуре» опирался на предложенные им впервые перевод и интерпретацию этой таблетки.

В основу исторических выводов Э. А. Грантовского (Москва) в его докладе «Об иранском этническом элементе на территории Наири-Урарту в IX—VIII вв. до н. э.» была положена предложенная докладчиком система определения принципов передачи иранских собственных имен, засвидетельствованных в ассирийских и урартских источниках, а также топонимических названий, относящихся к восточным областям Урартского царства (к северу и северо-востоку от озера Урмия).

Доклады, прочитанные на сессии, обсуждались в конце каждого заседания. Ряд докладов вызвал оживленную дискуссию. На заключительном заседании, состоявшемся 17 мая, было принято решение о создании Всесоюзной ассоциации историков и филологов Древнего Востока.

Сессия показала значительный рост науки о Древнем Востоке в Советском Союзе и наличие большого числа хорошо подготовленных молодых специалистов.

И. М. Дьяконова

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

В настоящее время готовлю к печати второй том монографии «История армянского языкознания» (первый том вышел в свет в августе текущего года). Работаю над монографией «Армянская диалектология», которая будет состоять из трех томов. Первый том должен содержать общее введение и историю армянских диалектов, а второй и третий тома — сравнительную грамматику. Работа будет завершена в 1961 г. Предварительные результаты моих исследований по истории армянских диалектов опубликованы в виде отдельных статей в «Известиях» АН Арм. ССР (1958, № 5) и в «Историко-филологическом журнале» (1958, № 2).

Составляю и в будущем году сдам в печать *однотомный толковый словарь* современного армянского языка, охватывающий около 70 тыс. слов. Одновременно готовлю к печати научное наследие покойного проф. Р. Ачаряна. В этом году будут сданы в печать четвертый том «Полной грамматики армянского языка» и пятый том «Словаря армянских личных имен».

Э. Б. Агаян
(Ереван)

В данное время я работаю над учебным пособием по лексике современного туркменского языка. Рассчитываю выпустить в свет эту работу в 1959 г. Как известно, вузы Туркменской ССР не обеспечены учебными пособиями по современному туркменскому языку, и первоочередная задача языковедов Туркменистана состоит в создании в ближайшие годы вузовского учебного пособия по всему курсу современного туркменского языка.

Под моей редакцией коллектив языковедов Туркменского университета выпустил в свет орфографический словарь с небольшим сводом орфографических правил. В данное время наш коллектив ведет работу по созданию большого орфографического словаря, где будут отражены, по возможности, все слова современного туркменского языка. В связи с этим я занят исследованием вопросов орфографии туркменского языка. Думаю этот труд завершить к 1961 г. Одновременно работаю над усовершенствованием ранее изданных школьных учебников по туркменскому языку (в частности, по синтаксису).

П. А. Азимов
(Ашхабад)

Недавно в Киеве, в Издательстве Академии наук УССР, вышел подготовленный в Институте языкознания им. А. Потебни АН УССР «Курс истории украинского литературного языка» (т. I — дооктябрьский период) объемом в 40 печ. листов, в котором мне, наряду с общим редактированием работы и руководством авторским коллективом, принадлежит около 15 печ. листов текста.

Научная история украинского литературного языка еще не создана. Поэтому авторскому коллективу «Курса» пришлось во многих областях провести исследовательскую работу, результаты которой теперь безусловно станут (и уже стали) достоянием учебных пособий по курсу истории *украинского литературного языка на филологических факультетах* университетов и пединститутов.

Мы ждем критических откликов и добрых советов по поводу этой книги, а тем временем продолжаем работу над вторым томом «Курса», в котором освещается советский период развития языка. Хотя этому периоду и был посвящен ряд моих работ (в частности, моя монография «Вопросы развития языка украинской советской художественной прозы», 1955) и работ моих научных товарищей и аспирантов, здесь также необходимы предварительные исследования, особенно в области развития и взаимодействия структурных стилей литературного языка (научного, публицистического, делового, эпистолярного, языка художественной литературы и др.).

В ближайшее время выйдут также другие работы, в подготовке которых я принимал участие, — сборник работ по синтаксису украинского языка, сборник работ к съезду славистов в Москве, переработанное «Украинское правописание».

В связи с обязанностями министра просвещения УССР в мою научную тематику властно вошло много новых вопросов, непосредственно не относящихся к языкознанию. Однако и в этой области имеется ряд проблем, при теоретической и практической разработке которых в Министерстве просвещения УССР весьма полезной оказалась моя научная специальность языковеда. К этой сфере относятся, например, такие темы: «Литературный язык как орудие просвещения», «Параллельное преподавание двух родственных языков — украинского и русского (научный, учебно-методический и психологический аспекты)» Недавно на межреспубликанской научно-

методической конференции-семинаре преподавателей языковедческих дисциплин пединститутов Украины, Белоруссии и Молдавии, состоявшейся в Киеве, я сделал доклад «Подготовка учителя-словесника широкого профиля», в котором были затронуты и упомянутые выше вопросы.

И. К. Белодед
(Киев)

Я работаю над лингвистической частью книги (которая будет подготовлена А. В. Арциховским и мною) «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.)» и над томом избранных трудов акад. Е. Ф. Карского по славянским языкам (подбор материала, комментирование и т. д.).

Одновременно собираю материал для исследования, которое считаю основным в моей дальнейшей научной деятельности — «Исторический синтаксис восточнославянских языков (Простое предложение)». Хотелось бы, чтобы в этой работе приняли участие и другие специалисты в области исторического синтаксиса, в первую очередь — молодые ученые.

Передо мной и П. С. Кузнецовым поставлена Учпедгизом РСФСР большая и ответственная задача — написать учебное пособие по исторической грамматике русского языка для филологических факультетов университетов и пединститутов. Для коллективного труда, который предполагает подготовить Институт языкознания АН СССР — «Языки народов Советского Союза», — я собираюсь написать главу «Белорусский язык».

В моих планах на ближайшее будущее стоит также редактирование третьей части исследования А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике». Я назвал только главное, не отмечая отдельных статей для лингвистических журналов, которые предполагаю сдать в печать в ближайшее время.

В. И. Борковский
(Москва)

К настоящему времени мною закончены две сравнительно большие работы по истории тюркских языков. Первая из них — «Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв.» — представляет собой словарь с подтвердительными цитатами из найденного в 1914 г. в г. Карши и давно привлекавшего к себе внимание тюркологов тюркского перевода корана с толкованиями. Вторая работа аналогична по своему характеру — подготовлен к изданию «чагатайско»-персидский словарь под названием «Бадай'ул-лугат», составленный в Герате, видимо, в самом конце XV в. по поэтическим произведениям Алишера Навои. Удалось установить имя составителя словаря — им был Тали' Имани из Герата. По всем данным — это один из первых словарей «чагатайского» языка, составление которых продолжалось в XVI—XIX вв.

Мне предстоит также закончить обработку тюркских глосс по известному труду Замахшари «Мукаддимат ал-адаб». В 1934 г. был издан «Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб» с монгольскими и тюркскими глоссами по Бухарской рукописи 1492 г. Мы располагаем и более древним списком «Мукаддимат ал-адаб», чем его Бухарский список и список В. Л. Вяткина. Сведéние материалов по трем спискам представляет исключительный интерес для истории тюркских языков и, в первую очередь, староузбекского (или, по старой терминологии, «чагатайского») языка. Вообще изучение истории тюркских языков XII—XIV вв. ныне выделяется как самостоятельная исследовательская задача. Хотелось бы, кроме того, завершить давно начатые грамматические очерки по карачаевскому и балкарскому языкам.

А. К. Боровков
(Ленинград)

В настоящее время я занят большой лексикографической работой. В 1940—1947 гг. выходил отдельными выпусками (всего 10) «Русско-эстонский словарь», составителями которого были П. Арумаа (гл. редактор), Б. В. Правдин и я. Этот труд, содержащий 1452 страницы большого формата, является до сих пор самым обширным изданием в области эстонской лексикографии. Поскольку данного издания давно уже нет в продаже, Эстонское гос. издательство поручило Б. В. Правдину, мне и К. В. Маннермаа составить новый русско-эстонский словарь. Задача коллектива — включить в этот словарь в возможно бóльших размерах лексику, фразеологию и наиболее распространенную научную терминологию современного русского языка, а также найти наиболее точные соответствия в эстонском языке. В связи с этим составляемый словарь по своим размерам будет значительно превышать вышеупомянутый «Русско-эстонский словарь». Материалы для нового словаря черпаются из современной русской литературы и периодической печати, а также из таких изданий нормативного характера, как «Орфографический словарь русского языка» (1956), 15-томный академический «Словарь современного русского литературного языка» (выходит с 1948 г.), 4-томный академический «Словарь русского языка» (том I вышел в 1957 г.), «Большая Советская Энциклопедия» и др. В начале следующего года будет сдана Издательству начальная часть словаря.

Принимаю участие в разработке научной грамматики эстонского языка. Я занят главой о суффиксах имен существительных. Эта работа еще не совсем закончена. Готовая в рукописи часть главы составляет приметно 3 авторских листа.

И.-В. Г. Вески
(Тарту)

В настоящее время я работаю над монографией «Значение и употребление причастий в древнегерманских языках».

Вскоре должна появиться в печати (в сборнике фак-та иностр. языков Львовск. гос. ун-та) небольшая статья, посвященная проблеме возникновения и первоначальной семантики сочетания «глагол „иметь" + причастие II». Сдана в издательство Львовск. гос. ун-та и уже два года ждет своего опубликования моя «Сравнительная фонетика и морфология готского языка» (около 25 листов). Готовлю к печати также одну из более ранних работ— «Внутренняя хронология германского передвижения согласных».

Свою монографию о германских причастиях предполагаю окончить через годполтора. После этого хочу приступить к написанию учебника по грамматике древневерхненемецкого языка. В дальнейшем думаю заняться также некоторыми вопросами общего языкознания и в первую очередь интонацией и ее местом в синтаксисе языка.

Б. М. Задорожный
(Львов

Последние годы я веду работу по следующим основным направлениям: исследование грамматического строя тюркских языков, текстологическая работа, а также изучение истории русского востоковедения — с преимущественным вниманием к истории тюркского языкознания.

Занимаясь исследованием грамматического строя тюркских языков, я изучаю, с одной стороны, их историю (мое внимание в первую очередь привлекают древнейшие тюркоязычные памятники — надписи в честь Кюль-Тегина, Тоньюкука, а также др.) и, с другой— их морфологию и синтаксис в сравнительно-историческом плане. Недавно я закончил работу над «Грамматикой современного узбекского литературного языка» (объем 30 авт. листов), в которой подведены итоги моих многолетних наблюдений над строем этого языка.

В настоящее время в содружестве с чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунским я занят подготовкой к изданию перевода известного эпического памятника «Книга деда Коркута»; перевод был выполнен В. В. Бартольдом еще в 1922 г. Другой текущей работой является участие в издании трехтомной «Истории Академии наук СССР», где мне поручено написать раздел «Востоковедение в Академии наук»; первый том этого издания уже вышел из печати. Моя исследовательская работа дополняется педагогической на восточном факультете ЛГУ.

А. Н. Кононов
(Ленинград)

---

1. Работаю над проблемой звуковых процессов и звуковых соответствий между различными группами иберийско-кавказских языков, в частности между картвельскими и абхазо-адыгскими.

2. В ближайшее время предполагаю закончить монографию «Грамматический анализ абхазского языка».

3. В 1959 г. начинается печатание седьмого тома «Толкового словаря грузинского языка», одним из редакторов которого я являюсь.

4. Как председатель редакционной коллегии веду работу над изданием последнего, III, тома «Русско-грузинского словаря», составленного Институтом языкознания АН Груз. ССР (I т. словаря вышел в свет в 1956 г., II — в 1958 г.).

К. В. Ломтатидзе
(Тбилиси)

Работаю над темой «Современный узбекский язык». Часть первая — «Фонетика» — уже сдана в производство. Во «Введении» (5 печ. листов) к этой части узбекский национальный язык рассматривается в различных аспектах: историческом, сравнительно-историческом и в аспекте взаимовлияния узбекского и таджикского языков. В основном разделе первой части (15 печ. листов) излагается фонетическая система узбекского языка, причем имеется в виду узбекский язык как таковой, т. е. изучаются не только произносительные нормы литературного узбекского языка, базирующиеся на городских говорах ташкентско-ферганского типа, но и фонетические особенности других говоров всех трех наречий узбекского языка. На ближайшие четыре года планирую части вторую («Морфология») и третью («Лексика»). Продолжаю собирать материал для Атласа узбекских народных говоров.

По заданию Министерства просвещения Узб. ССР и Учпедгиза в соавторстве с канд. филол. наук Ш. Шаабдурахмановым работаю над вузовским пособием по узбекской диалектологии, которое должно быть сдано в производство в начале 1959 г. Одновременно перерабатываю ранее изданный справочник по лингвистической терминологии.

В. В. Решетов
(Ташкент)

В настоящее время работаю над монографией «Основы азербайджанской диалектологии» (объем—40 печ. листов). Эта работа была начата еще до Великой Отечественной войны; в связи с объемом собранного материала, а также широким применением сравнительно-исторического метода после 1950 г. завершение монографии затянулось; думаю в этом году непременно ее закончить. В текущем году заканчиваю также исследование, посвященное фонетике газахского диалекта (5 печ. листов). Одновременно занят вместе с доц. Р. Рустамовым, А. Велиевым составлением однотомного диалектологического словаря, который должен быть сдан в печать в конце 1960 г. Кроме того, в настоящее время работаю над статьями «О диалектологическом атласе азербайджанского языка» и «Первые итоги диалектологической экспедиции АН Азерб.ССР по изучению западных групп диалектов и говоров азербайджанского языка».

Говоря о планах на ближайшее будущее время, могу сказать, что после моногра-

фии «Основы азербайджанской диалектологии» думаю начать работу над учебником «Турецкая диалектология», который будет предназначен для турецкого отделения восточного факультета и материалом для которого явится курс лекций, прочитанных мною в Софийском университете и на турецком отделении восточного факультета Азербайджанского университета.

М. Ш. Ширалиев
(Баку)

На основе материала, собиравшегося в течение тридцати лет, я составляю киргизско-русский словарь, примерный объем которого будет 140 авт. листов, а срок окончания — декабрь 1960 г.

В словаре будет представлена лексика современного литературного языка, фольклора, разговорной речи, диалектов и дореволюционной киргизской письменности, будет широко отражена и идиоматика. В отдельных случаях будут даны этимологии слов. В № 3 «Вопросов языкознания» за 1958 г. (стр. 138) эта работа ошибочно названа переизданием. Однако как объем, так и состав и принципы построения нового словаря оснований к тому не дают; конечно, словарь 1940 г. войдет почти полностью, но он составит только часть нового словаря.

Одновременно работаю над рядом отдельных статей, посвященных характеристике языка дореволюционной киргизской письменности. В Киргизии до сих пор еще имеют место попытки утверждать, что у киргизов до революции не было собственной письменности, так как они пользовались не своим алфавитом, а арабским. В печати высказывалось мнение, что грамотные киргизы писали не на своем родном языке, а на староузбекском (чагатайском), поскольку существовавшая орфография не отражала многих особенностей киргизского языка. Из подобных рассуждений можно сделать логический вывод, что ни один народ, пользовавшийся старым арабским алфавитом, не имел собственной письменности и не писал на своем родном языке. Такой подход к вопросам дореволюционной киргизской письменности привел к очень печальному результату: молодые киргизские филологи и историки не владеют своей старой письменностью и не могут самостоятельно пользоваться источниками, написанными арабским алфавитом.

Кроме того, я занят подготовкой к печати ранее собранных материалов по узбекским говорам Киргизии и Казахстана (часть этих материалов уже представлена в ИЯЛ АН Узб. ССР).

К. К. Юдахин
(Фрунзе)

Наряду с исполнением обязанностей ректора Киргизского гос. университета, которые отнимают у меня очень много времени и энергии, последние три года я занимаюсь редактированием краткого сводного варианта великого киргизского эпоса «Манас», повествующего о подвигах легендарного богатыря Манаса, затем — о его сыне Семетее и внуке Сейтеке (поэмы о каждом из них представляют отдельные части трилогии, которые тесно связаны между собою по сюжету и композиции). В настоящее время в фондах Академии наук Кирг. ССР имеется 15 вариантов эпоса, записанных в разные годы у различных сказителей. В результате длительного изучения этих вариантов народной поэт Аалы Токомбаев, поэт Кубанычбек Маликов и писатель Тугельбай Сыдыкбеков представили в распоряжение редколлегии сводные и сокращенные тексты трилогии. Уже сданы в набор первые три тома эпоса — «Манас» (в двух томах) и «Семетей» (в одном томе). Продолжается работа по редактированию четвертого тома, куда входят песни о Сейтеке. Первый том открывается моим предисловием (объем 2,5 печ. листа), которое посвящено истории сбора, изучения эпоса и его историко-фольклористической характеристике.

Вместе с тем за последние три года на филологическом факультете университета мною создан систематический курс киргизской диалектологии; лекции этого курса предполагается в ближайшем будущем оформить в виде учебного пособия. Курс создан на основе систематизации и теоретического обобщения диалектных фактов, собранных отчасти мною, а также другими диалектологами Киргизии.

Б. М. Юнусалиев
(Фрунзе)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 22 по 25 апреля 1958 г. в Горьком по инициативе университета и педагогического института проходило Межвузовское совещание языковедов на тему о повышении качества преподавания в вузах курса современного русского литературного языка. В конференции приняли участие 75 научных работников 8 университетов и 28 пединститутов. Вступительное слово произнес А. В. Миртов (Горький). Он подчеркнул педагогическую направленность курса современного русского языка не только в пединститутах, но и в университетах. По мнению А. В. Миртова, курс современного русского языка должен венчать собой цикл языковедческих дисциплин, предусмотренных учебными планами вузов.

В течение 4 дней работы конференции было заслушано 18 докладов и сообщений. С. А. Фессалоницкий (Владимир) в докладе «О профессионально-педагогической направленности курса „Современный русский язык“» указал, что этот курс должен ориентироваться на школу, на будущую педагогическую деятельность студентов. Профессионально-педагогическую направленность должны но-

сить консультации, зачеты, экзамены. Придать курсу современного русского языка указанную ориентацию — значит повысить его научно-теоретический уровень.

И. А. Калинин (Горький) говорил о постановке курса «Русский язык» на факультетах по подготовке учителей начальной школы. Здесь русский язык в качестве единственной лингвистической дисциплины должен включать в себя основные сведения из курсов «Введение в языкознание» и «История русского языка», а также элементы диалектологии и старославянского языка.

Ряд докладов был посвящен отдельным вопросам теории курса и методики преподавания некоторых его тем. А. В. Миртов, делясь своим опытом преподавания фонетики современного русского языка, сообщил, что при построении курса он исходит из рассмотрения звуков языка как внутренне связанной системы дифференциальных средств строения и формоизменения слов. Докладчик особо остановился на резком различении гласных и согласных по языковым функциям. Б. Н. Головин (Вологда) посвятил свой доклад проблеме омонимов в современном русском литературном языке. Он подчеркнул, что вопрос об омонимах тесно связан с вопросом о границах слова. Докладчик выделяет в русском языке омонимы лексические, словообразовательные, морфологические. Разграничение полисемии и омонимии опирается на ясное осознание наличия или отсутствия внутренней (мотивирующей, обусловливающей или иной) связи между толкуемыми значениями.

В. Н. Зиновьев (Горький) сделал доклад на тему «Фонетико-морфологическое образование существительных (при помощи смягчения конечного согласного основы)». Фонетико-морфологическим называется такой тип словообразования, при котором новое слово образуется чередованием фонем или изменением места ударения. Эти формы широко используются в живой разговорной речи, в просторечии, в народных говорах, в произведениях народного творчества, в книжно-поэтической речи; они входят как составная часть во многие устойчивые фразеологические единицы. Сведения о них в грамматическом отношении не выходят пока за рамки того, что было сказано Г. Павским. При фонетико-морфологическом образовании существительных наибольшую функциональную нагрузку имеет противопоставление переднеязычных, особенно сонорных, наименьшую — противопоставление губных.

В. М. Марков (Казань) в докладе «Переход прилагательных в существительные» отмечал, что многие из существительных, объединенных общим названием «субстантивированных прилагательных», по существу, не имеют отношения к переходу одной категории в другую, но представляют собою существительные, образованные от прилагательных. Очевидно, что разделы курса, посвященные «переходу прилагательных в существительные», должны быть пересмотрены.

Е. В. Ухмылина (Горький) сообщила об использовании в курсе современного русского языка данных диалектологии, особенно в вопросах о нормах русского литературного языка, о его происхождении, формировании и развитии.

Несколько докладов было посвящено вопросам синтаксиса: Е. А. Назиковой (Воронеж) «Слова-предложения в современном русском языке», М. Жоголевой (Ульяновск) «Бессоюзные сложные предложения с общим значением причинно-следственных отношений», В. М. Никитина (Рязань) «Принципы освещения раздела о членах предложения в вузовских лекциях по современному русскому языку».

О категории числа существительных в лекционном курсе современного русского языка сделала сообщение Е. М. Буева (Горький).

В докладе Г. М. Макарова (Куйбышев) были рекомендованы некоторые способы графического оформления грамматического разбора в вузе. А. Н. Назаров (Пенза) остановил внимание конференции на сложной теме «О возможном взаимодействии слова и наглядно-чувственных восприятий в построении предложения (Из опыта лекций в свете учения академика Павлова)». М. Н. Кожина (Пермь) охарактеризовала лексику современного русского языка с точки зрения стилистики. О методике проведения практических занятий по синтаксису рассказала В. А. Белошапкова (МГУ). О. П. Беляева (Пермь) поделилась опытом проведения практических занятий на тему «Категория залога русского глагола».

Из-за недостатка времени ряд докладов, подготовленных языковедами Пензы, Оренбурга, Свердловска, Перми и Кызыла, не был прочитан. Участники конференции имели возможность познакомиться с отпечатанными тезисами докладов Е. П. Калечиц (Свердловск) «К вопросу построения лекции по современному русскому языку», Д. Е. Горелик (Оренбург) «Местоимение», А. В. Немешайловой (Пенза) «Некоторые средства выражения эмоциональных оттенков побуждения», И. И. Постниковой (Кызыл) «Проведение практического занятия в тувинской группе на тему: „Различие омонимии и полисемии в русском языке“», Н. Я. Лойфман (Оренбург) «О некоторых вопросах изучения вопросительных предложений».

В прениях выступило около 50 участников конференции, прибывших из Москвы, Ленинграда, Одессы, Ярославля, Казани, Саранска, Орехово-Зуева, Арзамаса, Рязани, Тамбова, Шахт и многих других городов Российской Федерации.

Г. Ф. Мазилова (Ярославль) остановилась на методике проведения практических занятий по современному русскому языку, которые должны приобщать студентов к лучшим образцам националь-

ной речевой культуры. В. Ф. Иванова (Ленинград) говорила о взаимоотношениях школьной грамматики с научной, об истории и причинах временного их расхождения, высказав ряд критических замечаний о недавно вышедшем учебнике для вузов «Синтаксис русского языка», где некоторые разделы теории даны весьма упрощенно (например, раздел об именном сказуемом). По возможности, школьная грамматика не должна расходиться с научной. А. П. Попов (ЛГУ) подчеркнул, что вопрос о педагогизации курса современного русского языка поставлен своевременно. Это вопрос о сближении науки с жизнью. Г. М. Марков (Куйбышев) поддержал выступление А. В. Миртова в том, что студент должен свободно разбираться во всех фактах живого языка. Студенту нужно не только давать знания, но и развивать чутье языка. Важное значение имеет подбор хороших примеров, которых явно нехватает в академической грамматике. А. И. Моисеев (ЛГУ) остановился на вопросе о порядке перечисления грамматических явлений, категорий, форм и т. п. Плохо, когда академическая грамматика и курс лекций в Московском университете называют первое склонение вторым. Учителя и студенчество привыкли к тому, что первое склонение — это женский, а не мужской род. В морфологии глагола следует прежде всего называть залог, потом наклонение, время, лицо, род и число. А. Н. Назаров (Пенза) уделил внимание теории и методике изучения состава слова и подчеркнул, что вопрос морфемного членения оказывает серьезное влияние на грамотность учащихся. М. В. Федорова (Воронеж) обратила внимание на тот факт, что преподаватели вузов не имеют пока хорошего учебника по современному русскому языку. Она высказала пожелание, чтобы Министерство высшего образования и Министерство просвещения объявили конкурс на составление такого учебника; то же самое относится к учебникам по введению в языкознание и русской диалектологии. А. Дубровина (Арзамас) говорила о трудностях, с которыми сталкивается студент при выполнении курсовых работ по лингвистическим дисциплинам, особенно по анализу языка художественных произведений. А. Мизгунов (Арзамас) подчеркнул необходимость оформления стилистики в качестве учебной дисциплины, что помогло бы подъему речевой культуры студентов. Е. В. Королева (Рязань) говорила в своем выступлении о трудных проблемах орфографии. В. М. Никитин (Рязань) остановился на проблеме стилистической дифференциации лексики. Большое выступление Л. К. Привратухиной (Шахты) было посвящено вопросу введения в учебный план курса стилистики. М. Н. Шабалин (Орехово-Зуево) внес предложение сделать подобные конференции традицией и коснулся доклада Б. Н. Головина об омонимах. М. Н. Шабалин не согласился с таким критерием выделения омонимов, как «языковое чутье», и заметил, что выделение третьего (словообразовательного) значения, кроме лексического и грамматического, является ошибочным. Полемизируя с предыдущими ораторами, М. Н. Шабалин подчеркнул важность учета диалектных явлений в практике преподавания современного русского языка.

На конференции выступили также М. А. Генкель (Пермь), Н. С. Дмитриева (Уфа), Д. И. Арбатский (Ижевск), Б. В. Хрычиков (Новгород), Л. И. Горева (Киров). На заключительном заседании был принят проект решения, в котором подчеркивалась необходимость введения в учебный план курса стилистики, создания коллективных учебников, увеличения часов на руководство курсовыми работами студентов. В резолюции придается большое значение самостоятельной работе студентов в области русского языка. Было решено издать в 1958 г. по материалам конференции сборник «Вопросы преподавания современного русского языка в высшей школе».

А. В. Степанов

С 20 по 24 мая в Саратове состоялась вторая межобластная конференция педвузов Поволжья, посвященная обсуждению различных вопросов теории и методики преподавания языковедческих дисциплин. В значительной части докладов рассматривались проблемы вузовского преподавания, а именно вопросы профессиональной подготовки студентов, организации самостоятельной работы студентов, орфографии, изучения языка писателей в период педпрактики в школе, проведения практических занятий (по старославянскому языку и диалектологии), контрольных работ (по введению в языкознание). В некоторых докладах внимание было обращено на вопросы школьного преподавания: сопоставление школьной и научной грамматики, разработку сложного предложения в учебниках русского языка, школьный этимологический словарь, методику словообразовательного и морфологического анализа, изучение залогов русского языка и методику преподавания русского языка в национальных школах. Обсуждение свидетельствовало о глубокой заинтересованности вопросами, затронутыми в докладах. Они были весьма положительно встречены аудиторией. Некоторыми докладчиками были представлены составленные ими учебные пособия: Л. И. Баранниковой из Саратова «Контрольные работы по введению в языкознание для заочников», Л. А. Туркиной из Орска «Сборник упражнений для практических занятий по старославянскому языку» и З. А. Потиха из Сталинграда «Школьный словообразовательный словарь».

В секции современного русского языка были поставлены доклады на темы, наиболее актуальные в педагогической практике педвузов: словообразование, омонимика, буквенные аббревиатуры, фразеология,

сложноподчиненные предложения, грамматическая многозначность, согласование сказуемого с подлежащим, второстепенные члены предложения и др. Об актуальности тем свидетельствовал оживленный обмен мнениями как во время, так и после заседаний.

В секции истории языка и диалектологии был прочитан ряд докладов о языке отдельных художественных произведений, по исторической грамматике (об основах на *у*), а также по описанию некоторых говоров.

Одним из пунктов принятой резолюции было решение организовать бюро Средневолжского объединения пединститутов с меняющимся составом в зависимости от места последующих ежегодных конференций; избрать на 1958—1959 учебный год бюро в составе проф. В. А. Малаховского (председатель), проф. А. Н. Гвоздева (заместитель) и ст. преподавателя Е. П. Щепникова (секретарь). Постановлено также издать в Куйбышеве Труды второй конференции.

Л. И. Баранникова

27—31 мая 1958 г. в Киеве проходило республиканское совещание по вопросам развития общественных наук на Украине, созванное по инициативе Президиума Академии наук УССР, Министерства просвещения, Министерства высшего образования и Министерства культуры УССР. В работе Секции языкознания участвовали научные сотрудники Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР и Института общественных наук Львовского филиала АН УССР, а также члены языковедческих кафедр университетов и педагогических институтов республики.

Действительный член АН УССР И. К. Белодед во вступительном слове отметил, что за годы советской власти в результате проводимой Коммунистической партией ленинской политики в национальном вопросе украинское языкознание сформировалось как научная дисциплина во всех ее ответвлениях. Успешно развиваются украинистика, русистика, славистика. Однако темпы развития украинистики пока еще не соответствуют возросшим запросам трудящихся, значительно отстает такая важная отрасль лингвистики, как общее языкознание, утрачены прежние традиции ориенталистики. Одной из важных причин сравнительно невысокого уровня развития языкознания на Украине нужно считать отсутствие надлежащей координации в работе украинских языковедов.

В докладе директора Института языковедения АН УССР действительного члена АН УССР Л. А. Булаховского «Состояние и задачи языкознания в УССР» было отмечено, что украинские языковеды уделяют недостаточное внимание серьезным теоретическим вопросам лингвистики. До сих пор остаются слабо изученными (или совсем неизученными) многие вопросы грамматики украинского языка, медленно разворачивается издание двуязычных словарей, на недостаточном уровне находится изучение ряда индоевропейских языков, не говоря уже о языках других систем. Разрешение этих вопросов тесно связано с координацией творческих усилий научных работников во всех отраслях общественных наук. Развитие текстологии невозможно без дружеского сотрудничества языковедов и литературоведов, а изучение древних текстов, открытие новых, еще не использованных источников могло бы проводиться более успешно при объединении языковедческих и историографических сил.

Одним из ответственных участков работы, где кооперация Института языковедения АН УССР с филологическими факультетами вузов и организациями соответствующего профиля может обещать большую пользу, следует считать составление библиографии языковедческих работ. Не менее важным является создание на Украине специального языковедческого журнала, который объединил бы все лингвистические силы на Украине. Однако осуществлению такого начинания мешает прежде всего недостаточность полиграфической базы, в силу чего языковедческие труды издаются очень медленно, рукописи залеживаются в издательствах. Необходимо принять решительные меры для улучшения создавшегося положения. Докладчик затронул также вопросы о недостаточной подготовке языковедческих кадров, в частности специалистов высшей квалификации, о научных консультантах и др.

Содоклад зам. директора того же института канд. филол. наук К. К. Целуйко был посвящен проблемно-тематическим планам научной работы как Института языковедения им. А. А. Потебни, так и вузов республики.

На совещании также был заслушан доклад директора Института языкознания АН СССР доктора филол. наук В. И. Борковского о значении диалектологических данных для построения исторического синтаксиса восточнославянских языков.

В выступлениях участников совещания, отмечавших немалые успехи советской украинистики, указывалось, однако, и на значительное отставание в разработке основных теоретических проблем языкознания в свете марксистско-ленинской методологии. Многие диссертации, особенно о языке и стиле писателей, по словам Г. П. Ижакевич, оставляют желать лучшего. Докладчик, в частности, указал, что установилась трафаретная схема исследования языка художественных произведений, в которую, как в прокрустово ложе, втискиваются лексические, морфологические и синтаксические особенности слога любого писателя. Между тем игнорирование индивидуальной речевой специфики того или иного писателя затрудняет создание полноценного курса истории украинского литературного языка.

На подобные же штампы в диссертационных работах по диалектологии, исторической грамматике указывали в своих выступлениях В. И. Борковский и Ф. Т. Жилко,

отметившие, что диалекты изучаются только в статике, без тщательного анализа развивающихся и отмирающих диалектных явлений. Преимущественно описательный характер указанных работ связан и с недостатком фактического материала. Назрела потребность издать и переиздать письменные памятники украинского языка и записи диалектных материалов. Каждое издание должно быть подготовлено так, чтобы этот материал стал надежной основой для новых научных обобщений. О необходимости быстрейшего издания письменных памятников украинского языка говорили А. А. Москаленко, П. Д. Тимошенко, О. М. Маштабей, И. А. Жовтобрюх и др. И. А. Жовтобрюх остановился также на вопросе о необходимости переиздания трудов по украинистике дореволюционных лингвистов: М. А. Максимовича, П. И. Житецкого, К. П. Михальчука, А. А. Потебни и др.

Многие недостатки были отмечены в области украинской лексикографии; об этом говорили, например, Н. Ф. Наконечный и др. В ряде выступлений указывалось на медлительность в работе Отдела словарей Института языковедения АН УССР. Очень мало сделано на Украине для популяризации украинского языка в Советском Союзе. А. А. Белецкий считает, что неотложной задачей как Института языковедения УН УССР, так и языковедческих кафедр вузов является подготовка таких учебников, которые могли бы оказать помощь всем, кто имеет желание ознакомиться с украинским языком.

При обсуждении вопросов связи языковедческой науки с практикой школы и роли языковедов в поднятии уровня культуры украинской речи значительный интерес у присутствующих вызвало сообщение Я. В. Моравца о многочисленных каналах, используемых чешскими лингвистами в борьбе за чистоту родной речи. Н. И. Букатевич и А. В. Богданович остановились на специфике развития русистики на Украине, указав, что вопросы фонетики, лексикологии, морфологии и синтаксиса русского языка должны разрабатываться в сравнении с украинским языком.

Б. И. Бурбело и М. О. Онишкевич отметили ряд недостатков в развитии романского, германского и славянского языкознания на Украине. А. А. Белецкий и Б. М Задорожный подчеркнули, что изучение и развитие проблем общего языкознания тесно связано с необходимостью отличной языковой подготовки работников, между тем как изучение языков в вузах Украины до сих пор, к сожалению, ограничивается двумя-тремя. Отмечалось также, что основательная филологическая подготовка должна начинаться еще в средней школе, в связи с чем М. У. Каранской было высказано пожелание, чтобы часть школ давала классическое образование; преподавание украинского языка, по мнению М. Ф. Бойко, должно вестись не только в 5—7, но и в 8—10 классах. Во многом должна быть изменена система преподавания в университетах. В. Т. Коломиец говорила об ограниченности университетских программ, об отсутствии в них курсов по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков, семинаров по изучению древнегреческого и древнеиндийского языков. П. П. Плющ остановился на недочетах подготовки кадров через аспирантуру. Л. Л. Гумецкая, присоединяясь к основным положениям доклада Л. А. Булаховского, также подчеркивала необходимость: 1) организации периодического языковедческого журнала; 2) улучшения издательского дела; 3) создания действенных и эффективных координационных комиссий. Все эти вопросы нашли отражение в резолюции, принятой участниками совещания.

В. М. Русановский

26—27 июня 1958 г. состоялось 2-е расширенное пленарное заседание Словарной комиссии Отделения литературы и языка АН СССР. В работе совещания приняли участие члены Словарной комиссии, а также сотрудники Институтов русского языка и языкознания АН СССР, работники Издательства иностранных и национальных словарей, Комитета технической терминологии и др.

На заседании были заслушаны доклады доктора филол. наук А. П. Евгеньевой «О тематических и „идеологических" словарях», канд. филол. наук А. М. Бабкина «Принципы составления словника к художественному произведению», канд. филол. наук И. К. Зборовского «О составлении инверсионного словаря русского языка» и сообщение доц. А. П. Аверьяновой об обнаруженной ею в библиотеке АН СССР (в Ленинграде) рукописи неизвестного ранее лексикона XVIII в.

А. П. Евгеньева предпослала своему докладу критический обзор диссертационных работ по лексикологии и лексикографии за последние годы, отметив при этом очень низкий уровень этих работ как в методологическом, так и в научном отношении.

Основную часть доклада А. П. Евгеньева посвятила вопросам тематического словаря, понимая под ним «собрание и описание слов по определенной теме и употребление их в определенной области знаний». Все имеющиеся тематические словари А. П. Евгеньева делит на 5 типов: 1) терминологические; 2) тематические (в собственном смысле), в которые включается вся лексика, относящаяся к заданной теме; 3) тематические словари, описывающие лексику произведений определенного жанра; 4) словари художественных произведений XVIII и XIX вв.; 5) тематические и терминологические словари по имеющимся древнерусским словарям и азбуковникам (XIII—XVII вв.).

Выступавшие в прениях С. И. Ожегов и Ю. С. Сорокин указали, что составление такого рода словарей часто не решает никаких научных проблем, так как языковеды не в силах дать на со-

временном этапе развития науки и знаний исчерпывающе точное определение значений слов. Эти словари должны составляться специалистами при частичной помощи языковедов. Ю. С. Сорокин подчеркнул, что для того, чтобы предложенная А. П. Евгеньевой схема могла стать действительной рекомендацией для работников вузов от лица Словарной комиссии, она должна быть более конкретной, более строго дифференцированной и определенной.

С. Г. Бархударов выступил в защиту составления тематических словарей, предложив А. П. Евгеньевой дать более конкретную, инструктивного вида разработку по одному из типов тематических словарей, предложенных ею в докладе.

П. К. Сухов (Комитет технической терминологии) в своем выступлении обратился к Словарной комиссии с призывом разработать комплекс мероприятий, которые облегчили бы создание терминологических словарей.

В своем докладе «Принципы составления словника к художественному произведению» А. М. Бабкин прежде всего подробно остановился на вопросах создания, пополнения и условий существования имеющихся картотек, указав, что эта работа является непременным условием и основой лингвистических исследований по истории литературного языка, его стилистике и фразеологии. А. М. Бабкин призывал к пропаганде и популяризации подобного вида лексикографической работы. По мнению докладчика, возможны следующие виды словников: 1) словник простой — перечень мест нахождения слова в тексте с обозначением источника постранично и построчно; 2) словник классифицирующий: а) с дифференциацией по значениям — при формулировании их, при подведении под показательное употребление в цитате (ср. Словарь К. Петрова к сочинениям и переводам Д. И. Фонвизина, СПб., 1904), при характеристике средствами синонимического сближения, б) с комбинированной характеристикой семантического и морфологического аспекта (подобно Словарю языка Пушкина); 3) словник, иллюстрированный сочетаниями синтагматического типа. В заключение докладчик остановился на методике работы по составлению словника и ее этапах.

Выступавшие в прениях С. И. Ожегов, Г. П. Блок, Ю. С. Сорокин, С. Г. Бархударов и др. единодушно отметили своевременность и необходимость всяческой пропаганды этого вида работы.

В итоге обсуждения было решено поручить группе — в составе Ю. С. Сорокина, С. И. Ожегова и Г. П. Блока — подготовить рекомендательный список источников, по которым в первую очередь следует составлять словники. Комиссия поручила А. М. Бабкину подготовить для лиц, ведущих лексикографическую работу, специальное пособие.

П. К. Зборовский в своем докладе указал на то, что необходимость в инверсионных словарях в разных языках ощущалась давно, в особенности при полном исследовании словообразования, морфем и т. п. Поэтому в отдельных странах подобные словари уже составлялись раньше и составляются теперь («Dictionar invers» для румынского языка, Бухарест, 1957; «Ver-tagokra szedetett Sró—tár», т. е. «Словарь, расположенный по окончаниям», составленный К. Симаем в 1810 г. для венгерского языка, и ряд других). Инверсионный словарь призван помочь исследователям, преподавателям русского языка и др. в отборе структурных разрядов слов по их флексиям, суффиксам, морфемам, вторым компонентам сложения и сращения с рассмотрением их продуктивности и непродуктивности. Источником для такого словаря русского языка, по мнению И. К. Зборовского, должны явиться: 1) «Словарь современного русского литературного языка» в 15 томах (изданные тома и рукопись); 2) «Словарь русского языка» в 4 томах (изданные тома и рукопись); 3) «Орфографический словарь русского языка» на 110 000 слов, изданный в 1957 г.

Выступившие в прениях Р. И. Аванесов, О. С. Ахманова, А. П. Евгеньева, А. Б. Лохвиц, А. М. Бабкин, Б. В. Горнунг Г. П. Блок, С. Г. Бархударов, горячо поддержав идею создания подобного словаря, подвергли, однако, сомнению список источников, предложенный докладчиком. По общему мнению выступавших, брать в качестве источника материалы неизданные, рукописные и картотечные — нерационально: это может помешать работе над составлением толковых словарей, а также вызовет большой произвол и отсутствие четкости в составлении данного инверсионного словаря.

В результате обсуждения было принято решение о том, что основным источником инверсионного словаря должен явиться «Словарь русского языка» в 4 томах с привлечением материалов картотеки Словарного сектора лишь в случаях производных слов, отсутствующих в словаре-источнике. Инверсионный словарь не должен давать ни стилистических, ни морфологических помет, за исключением тех случаев, когда графический вид слова одинаков для слов различных морфологических категорий (ср. *пасть* — существ. и *пасть* — глагол).

В своем сообщении о вновь найденной рукописи лексикона XVIII в. А. П. Аверьянова дала подробное палеографическое описание этой рукописи, высказав при этом ряд предположений о времени ее написания, авторстве и т. д. Сообщение А. П. Аверьяновой вызвало большой интерес собравшихся. В связи с этим было выдвинуто предложение, чтобы Словарная комиссия добилась издания специальной серии материалов по русской лексикографии, где была бы в числе других напечатана и указанная выше рукопись.

Т. С. Коготкова

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ. ЛИТЕРАТУРА К IV МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

Л. Гальди. Слова романского происхождения в русском языке. —М., 1958. 81 стр.

А. Мазон. Вид в славянских языках (принципы и проблемы). — М., 1958. 30 стр. [на французском и русском языках].

Славистичен сборник. Т. I — Езикознание.— София, 1958. 262 стр.

А. Белич. Падежная система и происхождение предлогов. J.Ф., XXII.1—18.— Београд, 1958.

Р. О. Якобсон. Морфологические наблюдения над славянским склонением (Состав русских падежных форм). —'s-Gravenhage, 1958. 30 стр.

Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě.— Praha, 1958. 429 стр.

Revue des études slaves. T. 34, fasc. 1—2.— Paris, 1957. 164 стр.

Romanoslavica.— Bucureşti, 1958: I — 292 стр.; II — 287 стр.; III — 336 стр.

Sborník slavistických prací. Universitas Carlova.— [Praha], — 1958. 142 стр.

Scando-slavica. T. IV.— Copenhagen, 1958. 313 стр.

Slavia. Ročn. XXVII, seš. 2.— Praha, 1958. Стр. 153—328.

Slavistična revija. XI letn., 1—2.— Ljubljana, 1958. Стр. 57—68.

Studia slavica. T. IV, fasc. 1—2.—Budapest, 1958. 249 стр.

Wiener slavistisches Jahrbuch. Bd. VI.— Graz — Köln, 1957—1958. 236 стр.

Zeitschrift für Slawistik. Bd. III, Hf. 2—4.— Berlin, 1958. (VI + 475) стр.

Z polskich studiów slawistycznych.— Warszawa, 1958. 268 стр.

R. Auty. The linguistic revival among the Slavs of the Austrian empire, 1780—1850: The role of individuals in the codification and acceptance of new literary languages (Reprinted from «The modern language review», vol. LIII, № 3, July 1958. Стр. 392—404).

C. Backvis. Quelques remarques sur le bilinguisme latino-polonais dans la Pologne du seizième siècle.— Bruxelles, 1958. 56 стр.

H. Bräuer. Zur Frage der altrussischen Übersetzungsliteratur (Der Wert syntaktischer Beobachtungen für die Bestimmung der altrussischen Übersetzungsliteratur).— Heidelberg, 1958. 26 стр.

Three papers in Slavonic studies.— Vancouver — Canada, 1958. 49 стр.

C. L. Ebeling. Subject and predicate, especially in Russian. — 's-Gravenhage, 1958. 39 стр.

I. Ferrell. The systems of the third person pronoun with particular reference to the category of the preposition in Slavic languages.— 's-Gravenhage, 1958. 26 стр.

I. Frangeš. Stvarnost i umjetnost u krležinoj prozi.— Zagreb, 1958. Стр. 25—42.

E. Gasparini. Il rito protoslavo della «seconda sepoltura». — Roma, 1958. 40 стр.

J. Hamm. Akcenatske opozicije u slavenskim jezicima.— Zagreb, 1958. 73 стр.

A. G. van Holk. On the semantic mechanism of the Russian tenses.— 's-Gravenhage, 1958. 12 стр.

M. Hraste. Strani elementi u hrvatskom ili srpskom narodnom i književnom jeziku.— Zagreb, 1958. Стр. 43—59.

L. Jonke. Osnovni problemi jezika hrvatske književnosti u 19. stoljeću.— Zagreb, 1958. Стр. 75—91.

Z. Junković. O jeziku Vitezovićeve kronike.— Zagreb, 1958. 73 стр.

H. L. Klagstad. A phonemic analysis of some Bulgarian dialects.— 's-Gravenhage, 1958. 12 стр.

E. Koschmieder. Die Palatalitätskorrelation im Slavischen.— Heidelberg, 1958. 11 стр.

H. Kučera. Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages. — 's-Gravenhage, 1958. 21 стр.

H. G. Lunt. On Slavonic palimpsests.— 's-Gravenhage, 1958. 19 стр.

L. R. Micklesen. Russian-English MT.— 's-Gravenhage, 1958. 21 стр.

B. Meriggi. Anti-Veleti (Considerazioni su due antichi etnonimici slavi).— Roma, 1958. 12 стр.

F. I. Oinas. Russian and eastern Balto-Finnic linguistic contacts.— 's-Gravenhage, 1958. 12 стр.

C. H. van Schooneveld. The so-called «préverbes vides» and neutralization.— 's-Gravenhage, 1958. 3 стр.

E. Stankiewicz. Towards a phonemic typology of the Slavic languages.— 's-Gravenhage, 1958. 19 стр.

D. Ward. On translating «Slovo o polku Igoreve». Reprinted from «The Slavonic and East European review». vol. XXXVI, № 87, June 1958. Стр. 502—512.

U. Weinreich. Yiddish and colonial German in eastern Europe: the differential impact of Slavic.— 's-Gravenhage, 1958. 53 стр.

Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка» (в пятнадцати томах).— М.—Л., 1958. 86 стр.

Информационный бюллетень ЮНЕСКО.— 1958: №№ 27—36.

Міжреспубліканський науково-методичний семінар завідуючих кафедрами мов педагогічних інститутів Української РСР, Білоруської РСР та Молдавської РСР (16—21 червня 1958 р.). Тези доповідей.— Київ, 1958. 47 стр.

Наукові записки. Т. II, Серия історико-філологічна, вып. 2.— Слов'янськ, 1957. 182 стр.

Предложения по улучшению преподавания языковедческих дисциплин, принятые на научно-методическом семинаре заведующих кафедрами украинского, русского, белорусского и молдавского языков педагогических институтов (16—21 июня 1958 г.) — Киев, 1958. 14 стр. [стеклограф.].

Сборник трудов по языкознанию, № 2 (Военная академия Советской армии).— 1958. 188 стр.

Славянские книги кирилловской печати XV—XVIII вв. Описание книг, хранящихся в Гос. публ. биб-ке УССР.— Киев, 1958. 266 стр.

Труди філологічного факультету. Т. 6.— Харків, 1958. 213 стр.

Ученые записки Ленинградского гос. пединститута им. А. И. Герцена. Кафедра русского языка.— Л., 1958. Т. 144—307 стр.; т. 173—292 стр.

Ученые записки Таганрогского пединститута. Вып. 5. Кафедра русского языка и иностранных языков.— Таганрог, 1958. 201 стр.

А. А. Акишина. Периодическая форма речи в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт.— Львов, 1958. 20 стр.

Ф. Д. Ашнин. Указательные местоимения и их производные в азербайджанском, турецком и туркменском языках. Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 24 стр.

Т. В. Баймут. Пути возникновения, развития и становления грамматической терминологии восточных славян.— Житомир, 1958. 27 стр.

В. Ф. Баранков. Русский говор северной части Карсовайского района Удмуртской АССР. Автореф. канд. диссерт. — М., 1958. 19 стр.

Ц. Я. Галецкая. Предложно-падежные средства в функции обстоятельства образа действия в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 19 стр.

А. Б. Долгопольский. Из истории развития типов отглагольных имен деятеля от латыни к романским языкам (К проблеме развития словообразовательных типов). Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 20 стр.

Е. Н. Жанпеисов. Модальные слова в современном казахском языке. Автореф. канд. диссерт.— Алма-Ата, 1958. 18 стр.

А. В. Касьянов. Лексика и фразеология комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 20 стр.

А. А. Махмудов. Словесное ударение в узбекском языке. Автореф. канд. диссерт.— Ташкент, 1957. 16 стр.

В. Д. Объедкин. Старотурдаковский диалект эрзя-мордовского языка. Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 19 стр.

Г. А. Основина. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке (существительные с пространственным значением). Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 19 стр.

Я. Е. Пура. Говоры западной Дрогобыччины. Автореф. канд. диссерт.— Львов, 1958. 16 стр.

З. Г. Розова. Колебания в склонении личных и собственных имен мужского рода на-*о* и на-*е* в сербохорватском языке сравнительно с русским. Автореф. канд. диссерт.— Львов, 1958. 16 стр.

А. А. Скоропада. Определительные придаточные предложения в украинском языке. Автореф. канд. диссерт.— Львов, 1958. 19 стр.

А. В. Суперанская. Лингвистические основы практической транскрипции имен собственных. Автореф. канд. диссерт. — М., 1958. 19 стр.

В. Э. Сталтмане. О видах глагола в современном латышском литературном языке. Автореф. канд. диссерт.— Рига, 1958. 18 стр.

А. Тыминский. К вопросу о специфике преподавания русского языка в КПИ. Труды Каунасского политехнич. ин-та. Т. VIII, 1958. Стр. 207—214.

Д. В. Цыганкин. Шугуровский диалект эрзя-мордовского языка. Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 23 стр.

Г. В. Чернов. Вопросы перевода русской безэквивалентной лексики на английский язык (На материале переводов советской публицистики). Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 14 стр.

А. А. Щербина. О речевой характеристике сатирических персонажей русской советской комедии. Автореф. канд. диссерт.— Киев, 1958. 18 стр.

М. Москов. Борбата против чуждите думи в българския книжовен език. —София, 1958. 147 стр.

Български език. Год. VIII, кн. 4—5.— София, 1958. 488 стр.

Бюллетень издательств Чехословацкой и Словацкой АН.— Прага — Братислава, январь — март 1958. 98 стр.

Бюллетень научной информации. № 1.— Бухарест, 1958. 250 стр.

Cercetări de lingvistică. An. , 1—4. Ianuarie — decembrie.— 1956. 198 стр.

Die Welt der Slaven. Jg. III, Hf. 2.— Wiesbaden, 1958. 128 стр.

Naša věda. Ročn. V.— 1958. 7 стр.

Nyelv-és irodalomtudományi közlemények. I Évf. 1—4 sz.— 1957. 172 стр.+ 25 карт.

Referaty Sesji naukowej. 6 — 7 marca 1958 r.— Warszawa, 1958. 207 стр.

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. Ročn. VI. Řady jazykovědné (A), číslo 5.— Brno, 1957. 148 стр.

Slavia. Ročn. XXI, seš. 4.—Praha, 1952—1955. Стр. 486—668; ročn. XXIV, seš. 2—3.— 1955. Стр. 169—371; ročn. XXIV, seš. 4.— 1955. Стр. 373—610.

Studia slavica. T. IV, fasc. 3—4.— Budapest, 1958. Стр. 251—472.

Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 3.— Warszawa, 1958. 381 стр.

Universitas Carolina. Vol. 3, № I.— 1957, (XI — Philologica), 100 стр.

Xifang yuwen. № 3.— 1958. Стр. 247—352.

І. Панькевич. Закарпатський діалектний варіант української літературної мови XVII — XVIII вв. Slavia XXVII—2.— Praha, 1958. Стр. 171—181.

H. H. Bielfeldt. Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart.— Berlin, 1958. 392 стр.

Ch. F. Hockett. A course in modern linguistics.— New York, 1958. 621 стр.

R. F. Mikuš. Principi sintagmatike. Rasprava o sintagmatsko-strukturalnom jedinstvu čovječjeg govora (Principia syntagmaticae de unitate orationis structurae tractanda). 1958. 110 стр. [стеклограф].

G. Möller. Guter Stil im Alltag. Eine neuartige Satzbauschule.— Leipzig, 1958. 124 стр.

I. Němec. Genese slovanského systému vidového. — [Praha], 1958. 114 стр.

I. Pătruţ. Fonetica graiului huţul din valea sucevei.— Bucureşti, 1957. 91 стр.

E. Petrovici. Influenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii romîne.— Bucureşti, 1956. 38 стр.

E. Petrovici. Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem.— 's-Gravenhage, 1957. 44 стр.

A. Zajączkowski. Vocabulaire arabe kiptchak de l'époque de l'état Mamelouk.— Warszawa, 1958. XXIII + 63 + + 16 стр.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

ВЯ — «Вопросы языкознания»
ВИ — «Вопросы истории»
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВФ — «Вопросы философии»
ВДИ — «Вестник древней истории»
ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
«Р. яз. в шк.»—«Русский язык в школе»
«Ин. яз. в шк.»—«Иностранные языки в школе»
ФЗ — «Филологические записки»
РФВ —«Русский филологический вестник»
ЖМНП —«Журнал Министерства народного просвещения»
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук»
AO — «Archiv orientální»
AfslPh — «Archiv für slavische Philologie»
BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego»
BSLP — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris»
BCLC — «Bulletin du Cercle linguistique de Copenhague»
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
IF — «Indogermanische Forschungen»
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», hrsg. von A. Kuhn
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», hrsg. von H. Paul und B. Brugmann
REG — «Revue des études grecques»
RESl — «Revue des études slaves»
RF — «Romanische Forschungen»
SaS — «Slovo a slovesnost»
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und Allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS — «Zeitschrift für Slavistik»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть завизирована автором.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами.

Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы славянского языкознания на IV Международном съезде славистов . . 3
О. Н. Трубачев (Москва). Лингвистическая география и этимологические исследования 16

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. В. Горнунг (Москва). О характере языковой структуры 34
Ф. Микуш (Любляна). Замечания по поводу некоторых статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» 49
Л. И. Жирков (Москва). Всегда ли случайно типологическое сходство языков? 51

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Д. А. Штелинг (Москва). О неоднородности грамматических категорий 55
В. Н. Григорьев (Москва). Так называемые интернациональные сложные слова в современном русском языке 65
Г. С. Клычков (Москва). Индоевропейская фонема *s как коррелят ларингальных 79
Е. А. Реферовская (Ленинград). Латинская «медиальная» форма . . . 84
В. И. Алатырев (Ижевск). Глаголы притворного действия в удмуртском языке 90
В. И. Абаев (Москва). Из истории слов 96

КОНСУЛЬТАЦИИ

В. И. Григорьев (Москва). Что такое дистрибутивный анализ? 100

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. М. Бескровный (Ленинград). Современная лексикография хинди 104
Вяч. В. Иванов, В. Н. Топоров (Москва). Новое в литуанистике 110

Рецензии

Зд. Штибер (Варшава), С. Н. Обнорский (Москва). Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы 113
Л. Л. Гумецкая (Львов). «Труды Института языкознания». Т. VIII 118
К. Габка (Грейфсвальд). О некоторых вопросах «исторической перспективы» в «Словаре современного русского литературного языка» 123
Т. Я. Елизаренкова, В. Н. Топоров (Москва). *M. Mayrhofer.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I 126
О. С. Ахманова, Н. И. Конрад (Москва). «The Kenkyusha dictionary of English philology» 132
Е. В. Падучева (Москва). *N. Chomsky.* Syntactic structures 133

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. М. Иллич-Свитыч (Москва). Балто-славянская проблематика на IV Международном съезде славистов 139
В. К. Журавлев (Москва). Вопросы фонологии и фонетики на IV Международном съезде славистов 141
Р. Фишер (Лейпциг). Славянская филология в Лейпциге в 1957/1958 г. 143
И. М. Дунаевская (Ленинград). Сессия, посвященная ассириологии, египтологии и семитской эпиграфике, в Ленинграде 144
Над чем работают ученые 146
Хроникальные заметки 149

Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 155

SOMMAIRE

Articles: Problèmes de linguistique slave au IV Congrès international des slavistes; O. N. Troubatchev (Moscou). La géographie linguistique et les investigations étymologiques; **Discussions**: B. V. Gornoung (Moscou). Sur le caractère de la structure en linguistique; F. Mikus (Ljubljana). Remarques sur quelques articles publiés dans la revue «Problèmes de linguistique»; L. I. Jirkov (Moscou). Sont les similarités typologiques toujours casuelles?; **Communications et notices**: D. A. Chteling (Moscou). Sur le caractère hétérogène des catégories grammaticales; V. P. Grigoriev (Moscou). Les prétendus mots internationaux composés en russe moderne; G. S. Klytchkov (Moscou). Le phonème indo-européen *s comme corrélation des laryngaux; E. A. Referovskaïa (Léningrad). «La forme mediale» en latin; V. I. Alatyrev (Ijevsk). Les verbes qui exprime une action prétendu en oudmourte; V. I. Abayev (Moscou). De l'histoire des mots; **Consultations**: V. I. Grigoriev (Moscou). Qu'-est-ce que l'analyse distributive?; **Critique et bibliographie**; **Vie scientifique**: V. M. Illitch-Svititch (Moscou). Problèmes de l'unité balto-slave au IV Congrès international des slavistes; V. K. Jouravlev (Moscou). Problèmes de phonologie et de phonétique au IV Congèrs internationale des slavistes; R. Fischer (Leipzig). Le développement de la philologie slave à Leipzig de 1957 à 1958; I. M. Dounayevskaïa (Léningrad). Une session consacrée à l'assyrologie, l'égyptologie et l'épigraphhie sémitique à Léningrad; Plans de travail des savants.

CONTENTS

Articles: Problems of Slavonic linguistics at the IV International congress of slavists; O. N. Trubatchev (Moscow). Linguistic geography and etymological investigations; **Discussions**: B. V. Gornung (Moscow). On the character of language structure; F. Mikus (Ljubljana). Remarks on some articles published in «The problems of linguistics»; L. I. Zhjirkov (Moscow). Are typological similarities always casual?; **Notes and queries**: D. A. Shteling (Moscow). On the heterogeneous character of grammatical categories; V. P. Grigoriev (Moscow). The so-called international compound words in modern Russian; G. S. Klychkov (Moscow). The Indo-European phoneme *s as correlate of laryngals; E. A. Referovskaya (Leningrad). The Latin «medial form»; V. I. Alatyrev (Izhjevsk). Verbs denoting pretended action in the Udmurt language; V. I. Abayev (Moscow). From the history of words; **Consultations**: V. I. Grigoriev (Moscow). What is distributive analysis?; **Critics and bibliography**; **Scientific life**: V. M. Illich-Svitich (Moscow). Problems of Balto-Slavonic unity at the IV International congress of linguists; V. K. Zhjuravlev (Moscow). Problems of phonology and phonetics at the IV International congress of linguists; R. Fischer (Leipzig). The development of Slavonic philology in Leipzig from 1958 to 1957; I. M. Dunayevskaya (Leningrad). A session on assyrology, egyptology and Semitic epigraphics in Leningrad; Working-plans of scientists.

Технический редактор *Э. Ф. Бунова*

Т-00253 Подписано к печати 21.I. 1959 г. Тираж 6350 Зак. 1137
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 5 Печ. л. 13,7 Уч.-изд. л. 16,6

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10